

## НА СЕРДЦЕ ПАЛИ ВСЕ ПЕЧАЛИ

Судьбы крестьян в XX веке  
Воспоминания



## НА СЕРДЦЕ ПАЛИ ВСЕ ПЕЧАЛИ

Судьбы крестьян  
в XX веке  
Воспоминания







МЕЖДУНАРОДНЫЙ

# НА СЕРДЦЕ ПАЛИ ВСЕ ПЕЧАЛИ

Судьбы крестьян в XX веке  
Воспоминания

**AGEY TOMESH**

Москва  
2019

**Издательская программа  
Общества «Мемориал»**

*Редакционная коллегия*

Борис Беленкин, Александр Даниэль,  
Елена Жемкова, Алена Козлова,  
Ян Рачинский, Ирина Щербакова

*Редактор-составитель*

Александр Щербаков

*Составители*

Алена Козлова, Ирина Островская

*Подготовка текста*

Александр Ярин

*В работе над книгой принимали участие*

Татьяна Авершина, Нинель Жмудова, Нинель  
Киселева, Николай Макаров, Анна Михайлова,  
Нина Панова, Валентина Травникова, Сергей  
Швырев, Валентина Швырева, Михаил Шейко

*Особая благодарность*

директору издательства «Агей Томеш»  
Наталье Корнеевой

Благодарим Дмитрия Борисовича Зимина и Фонд  
им. Генриха Бёлля за постоянную поддержку архива  
Общества «Мемориал»

© НИПЦ «Мемориал», 2019

© Издательство Agey Tomesh, 2019

## Содержание

- 7        **От составителей**
- 9        *Евдокия Константиновна Макарова*  
**Евдокия-великомученица**  
**Автобиография**
- 170     История рукописи Евдокии Константиновны  
Макаровой
- 173     *Николай Иосифович Скрылев*  
**Родословная моим дорогим «сынкам» – Вале,  
Вере, Любе, Наде, Тане, Оле, Наташе**
- 368     Родные о Николае Иосифовиче Скрылеве
- 375     *Анфим Игнатъевич Пономарев*  
**«Меня поняли как работягу»**
- 418     Родные об Анфиме Игнатъевиче Пономареве
- 423     Сергей Красильников  
**Три судьбы – лихолетье одно**



## От составителей

Три текста, представленные в этом сборнике, хранятся в архивной коллекции созданного в 1989 году Общества «Мемориал». С самого начала главной задачей «Мемориала» было собрать и сохранить все, что связано с памятью и судьбами жертв политических репрессий. За тридцать лет в мемориальском архиве собралось около тысячи рукописей, переданных либо самими авторами, либо их потомками. Биографическая, историческая и литературно-художественная значимость их различна, но, тем не менее, эти свидетельства представляют собой большую ценность. По самой простой причине – на фоне огромного масштаба репрессий таких мемуаров сохранилось очень мало.

И совсем мало существует воспоминаний представителей социального слоя, составлявшего основную массу тех, кто стал жертвой сталинской системы, – выходцев из крестьянской среды. Это неудивительно, ведь они, как правило, были

людьми неписьменной культуры. Поэтому крестьянские мемуары – исключительная редкость. Авторы книги именно крестьяне, хотя двоих из них советская власть и вырвала из деревенской жизни.

Евдокия Макарова, Анфим Пономарев и Николай Скрылев – люди простые, малограмотные, нещадно битые жизнью, но это не помешало им написать яркие воспоминания. Взявшись за перо, они не связывали свой труд с писательством, не были вооружены литературной оптикой, но для того, чтобы заглянуть в самые глубины своего мира, зоркости им хватило.

О том, как создавались эти воспоминания, рассказано в коротких заметках, составленных родственниками авторов.

*Евдокия Константиновна Макарова*

# **Евдокия-великомученица Автобиография**



*1971 год, 25 июня*

*Я живу на даче в Пери (под Ленинградом).*

*И решила описать свою автобиографию.*

*Как прожила свою жизнь.*

*И что я запомнила за 60 лет.*

Оригинал воспоминаний крестьянки Евдокии Константиновны Макаровой (1907–1984), уроженки Костромской губернии, утрачен. Дошедший до нас текст – результат двойной переработки исходной рукописи, сделанной двумя людьми, – сначала содержимое рукописных тетрадей было переписано на машинке, затем, много лет спустя, набрано в электронном виде. В процессе обработки изначальный текст очевидным образом претерпел некоторые изменения, можно надеяться, не слишком существенные. Вмешательство публикатора свелось к синтаксической правке (признаем – быть может, слишком «осовременивающей» письмо Евдокии Константиновны), а также внесению кратких комментариев и толкованию фраз, неоднозначных по смыслу.

## 1913 год

Мой дедушка Михаил Тимофеевич Ключев проживал в Костромской области, Чухломский район, деревня Илюнино, Петровский сельсовет. Наша местность удаленная от городов, и наши мужчины ездили в заработки в Москву и в Ленинград.

Мой дедушка жил в Москве у одного хозяина всю свою жизнь, работал маляром. Хозяина звали Андрей Андреевич Бахвалов. Он был очень богатый, имел три дома: два дома в Москве и один дом в деревне. Его очень хвалили. И мой отец Константин Михайлович тоже жил у Бахвалова, и мой брат Иван Константинович жил у Бахвалова и учился в мальчиках на маляра. А мать жила в деревне крестьянкой, землю, скот держала.

Летом отец жил в Москве, а зимой все отходники приезжали домой и жили зиму дома и работали на себя. Кто дома строил, кто что. В 1910 году отец построил свой дом, дедушка его отделил. У дедушки была дочь Надежда Михайловна. Отжила в новом доме три года.

В 1913 году моя мать Елизавета Сергеевна утонула. Была осень, 13 октября, стало холодно и начали скот резать. Вот она зарезала баранов, сварила мяса и пошла кишки мыть. А нам сказала, что я сейчас вымою кишки и будем обедать. Она ушла в 9 часов утра, и мы все ждали, ждали, есть захотелось. Меня брат послал: «Иди за мамой, где она?» Я побежала на реку, пробежала только

барское гумно, барский сад (это так называлась местность, где протекала река) и не нашла. А она утонула в маленьком бочажке у огорода барского сада и недалеко от дома. Я на то место и не подумала, так и не нашла. А вот почему брат не искал? Не знаю. Ему было 10 лет, а мне было 6 лет, сестре Пане было 3 года. И так мы были не евши. В три часа вечера пошел народ за коровами в поле и нашли ее. Вороны каркали и кишки по огороду растаскивали. Когда подошли поближе, и увидели ее. Она лежала книзу лицом, а вся на берегу, только в воде были рука и нога. У нее, наверное, голова закружилась и она упала, а спасти было некому.

И вот бегут в деревню и кричат: «Елизавета Сергеевна утонула». Кричали: «Ванька, давай простынь, надо ее качать». Поехали за станковым и за урядником, когда-то они приедут. А ее стали качать, валенки с ног сняли, а она уже замерзла, было холодно, земля была замерзшая, и там ночь караулили. Домой ее привезли на второй день. Дали весть бабушке – моей матери мать. И вот я помню: везут на телеге мать раздетую и волосы ветром дуло. А навстречу идет бабушка, горькими слезами уливается. А я была очень глупа, побежала встречать бабушку и села ей в телегу. Помню, как делали гроб. Народу у нас было много. Помню, в какие платья ее нарядили. Помню, как из дома пополз домовый таракан прямо за порог. Все это видели и говорили, что хозяйство на перевод пой-

дет. Как приехал папа из Москвы, я не помню, а брат мне рассказывал, что папа очень плакал.

И в это же время стало пропадать мясо. Все ходили, все тужили. А не несли напусто, а тащили спуста. Все было не заперто, все мясо лежало не рубленное и не посоленное, ведь только зарезано.

Когда хоронили мать, нас не взяли, кладбище далеко, восемь километров.

Отец в том же месяце женился. Взял вдову с ребенком, девочке было 5 лет, а мне было 6 лет. Звали ее Верения<sup>1</sup>, и я все время забывала, как ее звать. Стала у нас семья четверо детей, отец и новая мать.

Бабушка моя говорила отцу: возьми девицу незамужнюю. Ну, папа не послушал, взял вдову, он ее знал, вместе гуляли. Тогда бабушка сказала, что берешь ты змею и со змеенышем, твоим детям не будет жизни. Она свою дочь накормит, а твои будут голодные. А папа сказал, что у меня всем будет одинаковая жизнь.

## **1914 год**

Дедушка сманил папу жить к себе. Дочь он выдал замуж, а бабушка была параличная, и дедушке стало жить тяжело. У дедушки дом был большой, больше нашего. У дедушки была мать жива, нам прабабушка, и она молилася все ночи. У дедушки было

---

<sup>1</sup> Сестру Евдокии Константиновны звали Вереня, однако она всюду называет ее Верения, иногда Вереня.



Михаил Тимофеевич Ключев (1858–1922), дедушка Евдокии; Константин Михайлович Ключев (1883–1917), отец Евдокии; Анна Сафоновна Ключева (Екимова) (1863–1923), бабушка Евдокии.  
Начало 1900-х  
*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

много икон, и у каждой иконы горели лампы. Вот, помню, по субботам все ходили в баню, и, помню, папа садится за стол, поправляет все лампы, наливает горного масла и зажигает на всю ночь. А мы спали на полатах, жарко от ламп, светло, никак не уснуть. Слезем с полатей да в кадку с водой, намоемся холодной водой и опять на полати.

Нас было четверо, а папа спал в пятистенке, им было не слышно нас. А эта прабабушка все молилась, а нам смешно было. И вот она на цыпочках тихонечко пройдет в пятистенку, да папе и нажалуется, что ребята мешают ей молиться. А мы слышим, как она пойдет, так мы все в угол заберемся, и смех пропадает. Вот папа выходит да как даст ремнем по брусу, так больше ни гу-гу, молчок.

Потом народилась еще девочка, звали Сима. Летом отец уезжал в Москву. Нас мать приучала к работе. Отцу надо было всех обушь и одеть, семья стала 10 человек. Летом стали сено загребать, жать серпом рожь и овес, скот собирать домой, за грибами ходить.

Вот я раз принесла много грибов, маслеников. У нас лес был рядом, грибов росло много. И мне мать сказала: «Иди, ангел мой, опять за грибами». Ну, я от такой радости бежала, под собой ног не чувствовала, что меня мать так назвала – ангел мой. А потом я подумала, что она ошиблась. Она называла свою дочь ангелом, а не меня. Одно время я слыхала, она рассказывала соседям, что ее дочь ничего не ест, а этим лешим хоть дров намели и все сожрут. Ну, я досыта никогда не наедалась. Мать варила похлебку жидкую. Грибов наварит, гриб гриба догоняет. Брюква тоже жидкая. А хлеба даст маленький кусок. Вот и шмыгаем воду. У нас одни брюха были большие, а всегда есть хотелось. А работу мне давала не под силу. У нас колодец далеко от дома, и вот нальет ушат воды, она сзади,

а я спереди иду. А в ушат три и четыре ведра вливается воды. Я иду, из стороны в сторону болтаюсь, плечо мне режет, я обеими руками плечо держу над коромыслом. И у меня от тяжелой работы стало часто брюхо болеть, я оборвалася.

Еще помню, жали овес, а меня мать послала ставить самовар, а они стали ставить снопы. Я пришла домой, поставила самовар, а сама так есть хочу, нет никаких сил. А у матери резаный хлеб всегда назаперти был, а целые хлебы были на залавке. Я от одного хлеба чуть-чуть отломил, с ягодину. И вот пришла мать домой и сразу проверка. Вот лешая! Хлеба отломил, нет тебе обеда! Ну, я тоже была натурная, не села за стол, а села у окошка и сижу. И вот в обед, на мое счастье, пришла бабушка Анна, моей мачехи мать. И говорит: «Что у вас Дуняшка-то не обедает?» А мать отвечает: «Ну ее к лешему, губа толще, так брюхо тоньше». А бабушка ей и говорит: «Линька, Линька, что ты делаешь, девка-то голодная, кто ее пожалеет, если ты не пожалеешь».

Вот тут меня взяла обида, и я заплакала. А так я никогда не плакала. Они обедали, а мне охлебки оставляли в каждой чашке. В деревне ели все из одной чашки. Так вот какое было мне житье.

Когда отец приезжал из Москвы домой, то, конечно, лучше было. Помню, как он привез нам всем по ботинкам, мать сшила всем новые платья, и как собирались с ним гулять. Он делал нам ледянки. На масленую катались с горы, гора была

хорошая. Помню, говорит: «У меня дочки хорошие, ни у кого соплей нет, а вот у Гаврилы все ребята сопленосые». А мы-то и давай все носы утирать, рады, что папа нас похвалил.

## **1915 год**

Помню я одно происшествие. Отец был дома, был Великий пост. Мясного не ели, а ели картофель с постным маслом. И нас собирались в воскресенье причащать в церковь. Мать наварила вечером картофеля, начистила, помазала постным маслом. А папа, наверное, пошутил, он говорит: «Ну, дочки, наедайтесь, завтра вам долго есть не дадут».

Вот мы сели и ели. И Верения, и Паня вылезли из-за стола, а я все еще ела. Да я бы и все доела. Вот мать и говорит папе: «Выведи лешую из-за стола, обожрется». Тогда папа сказал: «Ну, дочка, вылезай и иди спать».

Потом мы перешли жить опять в свой дом. Дедушка разгорячился над папой, и папа ушел, в чем, я не помню. Так жизнь продолжалась. Моей матери мать, моя родная бабушка (Анна Андреевна) жила от нашей деревни километров десять. И она нас всегда возила в гости на два месяца. Как только лето отработаем, так она за нами и приезжала. С первого октября и гостим до декабря. У бабушки было много скота: две коровы, нетель, овец всегда много. Семья большая, но питались сытно. Мясa в чашку крошит много, каши наварит масляной, лапши наварит густой. Карто-

фель в жиру плавал, и молоко с творогом. Все так было вкусно, и мы там поправлялись хорошо. А у бабушки семья была большая: дочь калекая, нога у ней была сломана (Парасковья), сын (Василий) и невестка. А у них было четверо детей, и дедушка. Всего девять человек. Да нас привезут. Вот какая семья, и все ели досыта. Когда нас бабушка привезет, то мы были тихие, скромные. А как поживем неделю да вторую, и начинаем оживляться, хотелось побегать, побаловать. А тетушка была очень строгая. Как мы забегаем, и она нас пугает: сейчас к мачехе увезу, если вы будете бегать. Вот мы и затихали, чтобы только не увезла нас домой.

## **1916 год**

Папа уезжал в Москву и увозил сына, моего братку (Ивана), с собой. Матери тоже было трудно жить в деревне, нас было четверо – я, Верения, Паня и Сима. Я старшая, с меня и спросу было больше. Матери надо печь истопить, и в поле ехать пахать, и сеять, и боронить, все одна. Стала она меня учить боронить. Пока она сеет полосу, а я бороню. Но плохо получалось, я еще не могла лошадью управлять, надо ехать краем, а она тянет дальше. Я приеду на конец поля да пока заворачиваю обратно, так сама в вожжах и запутаюсь, того и гляди – сама под борону попаду. Вот яровое поле посеем, потом навоз возить, и опять пахота. А потом сенокос подойдет. А она все одна косила, а сено загребать нас с собой забирала. Запряжет лошадь, посадит

меня и Вереню. Пока загребаем, конь стоит, сено ест. А потом накладывает воз, а я на возу стояла, не понимала, куда класть сено. Мать скажет: сюда клади, на край или на середину. Конечно, все мне было не под силу. Мне был девятый год. А когда сена навозим в гумно, то копны обдeldывали, загребали. А когда сено было готово, клали в сарай, таскали в сарай, если близко, а как подальше, то на носилках, одна сзади, другая спереди. И опять я. А Верения на год меня моложе была. Да я не знаю, моложе или нет, были ростом ровные. А я за старшую в работе отвечала. Кончится сенокос, начинается жнива, рожь надо жать, ячмень и овес, и все серпом. Спина так болела, не наклониться. Вот какая была жизнь. Мне бы только бы помереть в то время, и плакущих по мне бы не было, а только бы перекрестились, что Господь прибрал сироту, и не мается. А я никогда и не хворала, не знала, как болеют, кроме живота.

Еще помню, как меня мать послала в лес кошку убить. Не помню, сколько лет было, восемь или девять. Я взяла кошку, посадила ее в мешок и пошла в лес, там вынула ее из мешка и давай об сосну бить головой. У кошки изо рта потекла кровь. Я испугалась, положила ее под сосенку и думала, что убила, она лежала, не шевелилась. Я завалила ее лапками<sup>2</sup> и пошла домой. Подхожу к дому, а кошка сидит на крыльце. Ну, второй раз

---

<sup>2</sup> Здесь: ветки хвойных деревьев.

я не смогла ее нести, боялась. Да все равно мне ее было не убить, силы было мало.

Помню разговор, а не знаю, в каком году, папа в Москве красил церковь, и оборвалась люлька, он упал крепко, отбил в себе все и сердце. Стал очень болеть, стал полнеть от сердца и приехал домой. Дома он работал бондарем, делал кадки, ушаты. Помню его работу: навозит из леса деревьев, напилит, наколет, и в избу сушить на печке. Из сухого дерева строгал доски и делал посуду и потом покрасит. У нас в доме все было крашено. Помню, стол был красиво раскрашен, и кадки, и шайки в бане, все было крашеное. Братка и дедушка жили в Москве, когда папа жил в деревне.

## **1917 год**

1 августа 1917 года папа умер одночасно. Пошли косить на пустошь далеко от дома, где-то в лесу был покос. Пошла вся деревня, погода была плохая, шел дождь, папа взял с собой зонтик. А когда собирались косить, то поскандалили. Мать меня посылала боронить, а папа сказал: «Не надо посылать, я сам забороню, сушки-то нет, все дождь».

Мать ему ответила: «Посади ее на тебло<sup>3</sup> да богу и молись».

И папа пошел расстроенный, а ему врачи не велели расстраиваться, и тяжелого подымать было нельзя. А косить тоже нелегко. Они ушли,

---

<sup>3</sup> Слово отсутствует в словарях. Смысл фразы примерно такой: «Посади ее себе на шею и радуйся».

дождь стал переставать, и я пошла за лошадь, лошадь было не поймать, не давалась, кусалась и лягалась. Я взяла лукошко с овсом и маню: «Пцо, Любка». А она-то овса хочет, а даваться в руки не хочет. Бежит ко мне, уши приложит, думаю, сейчас голову откусит. А нет, схватит с маху овес и бежать. Я опять ее маню. Вот она и подойдет снова к овсу. Я ее за челку схвачу, да скорей узду одеваю. Ну, теперь моя; подведу, ее к пеньку высокому, залезу на пенек, а с пенька на лошадь. Я не боялась верхом ездить, даже внаскок. Привела домой лошадь, и только стали собираться боронить, и бежит тетя, папина двоюродная сестра. И говорит: «Лошадь дома?» Я сказала: «Дома». – «Запрягайте в телегу, я поеду за фельдшером, батька ваш заболел».

И уехала, не сказала, что умер. Мы с Вереней сели на стол, а ноги на лавку и рассуждаем – кому кого жаль. Вереня говорит: «Мне жаль маму», – а я не смела сказать, что мне жаль папу, я сказала: «Обоих жаль». Только проговорили, а папу-то и везут на телеге, и мать плачет. Я побежала встречать. Ну, я по папе очень плакала. Я уже была большая, был мне десятый год. А по матери я не плакала, была мала. Папу я ездила хоронить. И вот наша лошадь мать с реки везла на кладбище, а папу с покоса – и тоже на кладбище.

Приехал братка хоронить отца из Москвы, и дедушка. Начали выбирать опекуна над нами. Нас хотел дедушка взять, Михаил Тимофеевич. Ну, братка сказал: «Я с дедушкой не пойду, а пойду

с матерью». Ну, мы-то малы были, нас не спрашивали. А дедушка на братку обозлел.

Матери стало жить тяжело. Она наняла Паню, сестру, в няньки в своей деревне. Ей было семь лет, она с 1910 года. Маленькая Сима умерла вскоре после папы. Меня мать наняла в легкие работницы, по дому пол подмести, посуду помыть, скотину застать<sup>4</sup>, на дворе постлать, крапивы нарвать, воды наносить и дров. А братке сказала: «Иди в пастухи». А он сказал: «В пастухи не пойду, я три года прожил в мальчиках у хозяина, найду работу без пастухов».

1917 год был голодный, градом хлеб выбило. О том, что меня наняли в легкие работницы, узнала моя бабушка Анна Андреевна, моей матери мать, и приехала к нам. Я была в лесу, пилила дрова с тетушкой. Бабушка спросила: «Где они пилят?» Верения показала дорогу. И вот она шла по дороге и кричала: «Ау, ау!» Мы, когда пилили, то не слышно было, а когда кончили пилить, то слышали, кто-то кричит. Мы ей откликнулись. Тогда бабушка подошла и говорит: «Что вы, безбожники, не боитесь бога, хотите ребенка надсадить и совсем обезживотить. Одна кровопивка наняла, а вторая нанимала». И пошли домой. Как раз был обед. Пришли домой, и мать была дома на обеде. Бабушка сказала: «Я беру внучку в дочери, дай, Лизаветушка, чего-нибудь после матери».

---

<sup>4</sup> Здесь: загнать во двор или загон.

А мать ответила: «Одну берешь, ничего не дам, бери обоих, все отдам». Вот так меня бабушка и увезла в чем я стояла. А пальто она с собой привезла, в чем меня везти.

Когда привезла домой, то дедушка Сергей Иванович сказал, что собирается ехать в Сибирь за хлебом, привезет, и после этого возьмут другую (Паню).

Первого октября меня бабушка повела в школу, но меня не брали, сказали, что уже много отучились. Ну, бабушка стала просить, что она все буквы знает, мол. Тогда меня взяла учительница и посадила за парту с поповой дочерью и с писаревой и спросила меня почитать. А я букварь-то весь наизусть знала. Ей прочитала хорошо. Я отучилась один месяц, и вдруг революция. Я не знала и не понимала, что такое революция. А запомнилось мне то, что приходим в школу, а у самой-то школы было правление, и писарь поджег это правление, а сам скрылся.

А потом памятник сняли, царь стоял. А золотая корона долго стояла. Икону из школы вынесли, поставили елку. Ходил к нам поп, преподавал Закон Божий. И попу отказали, чтоб больше не учил. И вот я доучилась до Нового года, нас выпустили на каникулы. И бабушка меня больше в школу не отдала. Всему стала перемена. Да мне-то и не хотелось ходить, было стыдно: зимой-то хоть в валенках, а осенью меня бабушка обула в свои сапоги кожаные, а на сапоги-то лапти, чтобы

сапоги не изорвать. Меня взяли к себе жить, а семья-то была большая: бабушка, дедушка, тетя калекая (нога была сломана), невестка, сын и четверо детей у сына. Я была десятая. А хлеба мало было, всю рожь градом выбило.

Дядю Васю, сына бабушки, взяли на фронт. Дедушка поехал за хлебом в Сибирь. А время-то пошло такое мятежное. Сколь стало врагов.

Кулаков стали зорить<sup>5</sup>, а кулаки стали вредить. Что творилось!

И вот, когда дедушка уехал, то, не доезжая до станции Шарья, за Вяткой, сейчас город Киров, поезд с поездом столкнулись, очень много погибло, пятьсот человек, клали в одну могилу. И наш дедушка погиб и не привез хлеба.

## **1918 год**

Началась голодовка. Стали есть мякину, колоколец<sup>6</sup> ото льна, толкли в ступе и прибавляли в хлеба. Овсяные пелы<sup>7</sup> тоже толкли. Сушили пелы в печке, и сухая мякина хорошо толклась. Голодовка пошла повсеместная. Сколь стало нищих, начался грабеж по ночам. Ездить стало страшно, выходили из леса и обирали все, что везешь. Много стало дезертиров, скрывались, чтобы на войну не идти. В магазинах ничего не стало: соли, мыла, спичек, керосина, дегтя. За солью ездили за семьдесят

---

<sup>5</sup> Разорять.

<sup>6</sup> Шелуха, остающаяся после обмолота льна.

<sup>7</sup> Плевелы.

верст, соленой воды в кадках надо привезти. Везут, везут, да сани-то на размахе занесет, и кадка опрокинется. Без мыла-то можно было жить, щелок делали. А вместо спичек добывали камни. Камень об камень колотили, и искры летели, вата и зажигалась. А керосину нет, то рубили березу. Напилим поленьев да насушим, и щипали лучину. Сделали из железок три рожка, называли святец<sup>8</sup>. Лучину воткнем в этот святец, а рядом корыто с водой. Как лучина сгорит, так от этой лучины вторую зажигали. На посиделки ходили, все стали пряхами. Лен пряли, ситцу не стало нигде. Все носили холщевину. Я три сарафана износила холщовых. Безо всего можно было жить, но без соли никак.

У бабушки был большой запас соли, и та кончилась, дак из-под соли корыта рубили, щепки в суп клали, и суп был соленый. Много росло грибов, ну брали те, которые жарить, да сушить, а солянки не брали.

После революции Ленин-то дал людям свободу. Начали все лес рубить, который никто не смел и кола срубить. А тут стали хозяева крестьяне. Столь нарубали много. Лес вывезли, а сучья сожгли да насажали по огнищу-то пшеницы. И такая была пшеница, солома была выше человека. И хлеба стало у всех много.

Хочу описать рассказ, что слышала от своей бабушки, когда она взяла меня жить от мачехи.

---

<sup>8</sup> Правильно: светец – приспособление, подставка для горящей лучины.

Я любила ее слушать. Она рассказывала о себе, о своей матери и о бабушке. У нее был дедушка Даниил Игнатьевич. Он был краденый. Его барин привез из Польши. Было такое время, барщина. У барина работали крепостные. И вот барин поехал в Польшу. На ямщине приехал в деревню, а на поле играли дети в возрасте от 10 до 13 лет. И их барин угостил конфетами и пряниками.

И сказал, что садитесь, я вас покатаю. Ребята сели, он их закрыл в карете и повез их на ямщине. А что за слово ямщина, – это когда на большой дороге строили дома и держали много коней. Железной дороги не было от нас, где мы жили. И вот эта ямщина ездил с определенного места кордона до кордона. Проедут пятьдесят верст и обратно, а следующие поедут дальше. Вот барин привез 12 мальчиков к себе, стал кормить, учить грамоте. Из них кто на что был способный. Кто пахал поле, кто торговал в лавке, по-сейчасному, в магазине. А наш дедушка был грамотный и умный. Он работал приказчиком. У него стало много знакомств.

Шли годы, власть менялась, и вот вышел приказ – освободить крестьян от барина. И дедушка поехал в уезд (сейчас район). Охлопотал документы, чтобы его барин отпустил на волю. Ну, барину не хотелось его отпустить. Он думал, одного отпущу, а за ним и все пойдут.

Тогда дедушка ушел от барина, ну, его нашли, и барин его наказал, чем, я этого не помню. Ну,

дедушка Данил Игнатъевич опять ушел от барина и устроился за три километра от барина. А барин опять послал своих рабочих, чтобы найти его, и его нашли. И говорят: «Нам-то тебя и надо». Но там, у кого был дедушка, хозяин был богатый. Он всех пригласил за стол и стал угощать вином и водкой. Те сказали, что если Данил Игнатъевич будет пить, то и мы выпьем. А если не будет, то и мы не будем. И дедушка пил с ними наравне, ну что-то проглотит, а остальное в платок да в карман. А хозяин-то дома коней запряг и пальто вынес на повить<sup>9</sup>. Когда все стали пьяные, тогда дедушка вышел, как будто прохладиться. А сам сел в сани, да опять в уезд. А там опять барину приказ, чтобы освободить Данила Игнатъевича. И тогда барину нечего было делать, был закон об освобождении. Остальные поляки так и доживали до старости у барина. А дедушка ушел на белую улицу<sup>10</sup>, ему уже было тридцать лет. И он нашел старика. Этот старичок взял его в сыновья и подписал ему двенадцать десятин земли и сказал, что после смерти остальное. А старичок умер одночасно и не успел подписать. И дедушка Данил Игнатъевич так и стал жить. Женился, у него была одна дочь Екатерина Даниловна. Теперь – как называются деревни: барин, который украл дедушку, жил в деревне Левино, и сейчас она существует. Где жил богач,

---

<sup>9</sup> Повить (или повесть) – крытый двор, пристроенный к избе.

<sup>10</sup> Возможно, иносказательно: освободился.

откуда пришлось бежать, деревня Капустино. А старичок, к которому пристал в дом, жил в деревне Крусаново.

Опишу о дочери Катерине Даниловне. У нее было три дочери, а мужа звали Андрей Иванович. Моей бабушке было три года, когда отец пошел на войну. Андрей Иванович провоевал пятнадцать лет и дома не был. По три года не было писем. И бабушке Катерине Даниловне жилось тяжело. Земли было мало, и она нанимала своих дочерей. Одну в няньки, а другую в работницы. Потом старшую выдала за богатого. А богатые над бедными издевались. А вторую дочь так и не выдала, ее всю простудили чужие люди. Старшая дочь умерла молодая, ее звали Марья Андреевна, вторую звали Анастасия Андреевна. А моя бабушка – Анна Андреевна. Она моложе была на десять лет бабушки Настасьи.

Вот кончилась война, и дедушка Андрей вернулся с войны. И он рассказывал, что было в полку четыре тысячи солдат и четыре раза полк добавляли, и осталось восемьдесят человек. Воевал где-то у соленого моря под Севастополем. Им давали в день одну кружку воды и два фунта хлеба, и жили.

Когда к моей бабушке стали свататься женихи, то дедушка не отдавал за богатого. Он сказал, что отдам дочь за солдата, старшую загнали в могилу. Так и сделал, отдал дочку за солдата. Вот власть опять сменилась. Службу пятнадцать лет отменили, а стала пять лет, а морякам семь лет. Мой

дедушка, муж Анны Андреевны, стал Сергей Иванович Иванов, он был второй сын в семье.

Теперь мой рассказ по родству дедушки, Сергея Ивановича.

У моего дедушки был дед богатый, звали его бурмистр. А что за слово бурмистр, я и сама не знаю. Ну, он очень богат был. Четыре прихода были все его леса и покосы. К нему приходили просить лесу на дом или покоса. И ходили к нему работать за это по два дня в неделю. Звали его Милентий Иванович. У него было три сына, и он не любил одну невестку Екатерину. А почему? Она была справедливая и всегда говорила правду. А пословица старинная: «Не говори правду, не теряй дружбу, правду сказал, дружбу потерял». И вот бабушка Катерина была у свекра все под извозом. Только приедет из-под извоза, эти кони отдыхают, а она вторых запрягает. В уездный город Чухлому за тридцать верст (сейчас районный город) она возила то бочку рыбы, то бочку вина. А у них каждый день все работали чужие люди заделья<sup>11</sup>. И вот то же самое, сменился царь, назывался освободитель. И тогда поставили церковь, назвали эту церковь Троица Слободка. Сделали миряне собрание и богомоление, чтобы крестьян освободить от помещиков.

Вот пришел Милентий Иванович, сел за стол, пуговицы горят, как золотые. Зачитали закон и ска-

---

<sup>11</sup> Люди, получавшие задельную плату, то есть по выработке.



Слева направо сидят: Сергей Иванович Иванов (Власов по отцу; фамилию сменил, уйдя в солдаты), дедушка Евдокии по матери, и Александр Иванович Власов, племянник дедушки. Стоят: Николай Иванович Власов и Михаил Иванович Власов, племянники дедушки. 1890-е

*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

зали – подписывайтесь. А все боялись, как против такого богача подписаться. А наша бабушка Катерина, его невестка, пошла первая и подписалась, а за ней и все пошли. И все удивлялись, что такого богача невестка пошла против свекра. А он только глаза перекосил на невестку. А когда пришел

домой, сразу же отделил невестку и сына – Ивана Милентьевича, отца моего деда Сергея Ивановича. Дал им подызбицу<sup>12</sup>, где скот стоял: телята, овцы ягнились, поросята маленькие стояли, и отсоединил от дома. А у него было четыре избы и двое сеней, дом крашенный. И все богатство он отдал сыну Дмитрию Милентьевичу. У Милентия Ивановича была фамилия Власов, а мой дедушка, когда пошел в солдаты, то сменил фамилию и стал Иванов Сергей Иванович. И вот эта фамилия еще существует в роду. Живет на Софьи Ковалевской<sup>13</sup> внук моего дедушки Иванов Иван Васильевич. У дедушки был первый сын Василий Сергеевич, а моя мать Елизавета Сергеевна.

И что вы скажете? Столько лет прошло, а золото и сейчас живет, и зовут их Богачевы. Правнуки и праправнуки, и все в золоте одеты. А уже сколько поколений. Первый корень – Милентий. Второй – Дмитрий Милентьевич. Третий – дочь Татьяна Дмитриевна. Четвертый – у Татьяны сейчас две дочери, Елизавета и Анна. Им сейчас 82 и 83 года. Пятый – у Анны дочь тоже Анна, 63 года. У этой Анны дочь Нина, 45 лет. У Нины две дочери Люда и Таня. То есть, шестое и седьмое колено, а золото все переходит и сейчас.

Еще бабушка рассказывала: когда Милентий умер, стал хозяином сын Дмитрий Милентьевич,

---

<sup>12</sup> Нижняя нежилая часть избы.

<sup>13</sup> Улица в Санкт-Петербурге.

и он заведовал все же и пустошами и лесами, только в заделье отменили работать. Раз ехал из уезда Дмитрий Милентьевич и услышал стук в лесу, там мужики рубили лес. Он свернул с дороги и в лес. И увидел, что его лес рубят, он же хозяин. И вот тогда мужики его связали и привязали его к тарантасу (это богатая карета, была только у богачей) и спустили его в омут. Ну а конь был очень большой и сильный, и он выплыл из омута, и привез его домой, а потом и сдох. А Дмитрий Милентьевич с ума сошел и был дураком до смерти.

Продолжу 1918 год. Я опишу о своей деревне Бошкадино, где я жила у бабушки. Все стали сытые, а ситцу долго не было, с 1917 по 1923 год. Перешивали сарафаны. Раньше носили в пять полос сарафаны, а стали шить в три полосы, а из двух полос еще выходило платье или кофта. Власть часто менялась, менялись и деньги. Начали скот переписывать, налоги накладывать. Стали выбирать комитет, потом бедноту. У бабушки хозяйство было большое: два коня, две коровы, нетель, и овец много держали и кур. Вот переписали скот, и нам приказали везти овцу, и мы свезли. В школу я больше не ходила, так и осталась, как отучилась три месяца. Бабушка стала приучать меня к труду, вышивать, кружева вязать. По зимам и прясть училась. Я с пряхой на беседки<sup>14</sup> ходила. Ну, я плохо

---

<sup>14</sup> Беседа, беседка – крестьянское собрание, вечеринка.

пряла и не научилась, и желания не было на эту работу. А шить – это был задор до самой старости. Вот в конце 1918 года, только стали хлеб чистый кушать, пошла болезнь тиф, испанка.

Стало много умирать, по слыхам<sup>15</sup>. В нашей деревне не было тифа, пока никто не болел. Ну, вот бабушкина невестка ходила проведать своего больного брата в деревню Ильино за восемь километров и заболела. А тиф был заразный.

### **1919 год**

Заболела бабушкина невестка, и дочка, и внучка. Лежали влежку. Тетушка месяц болела, а невестка две недели была без сознания и умерла. Вскоре умерла девочка, внучка бабушкина. Когда умерла невестка, то бабушка пошла искать копальщика, могилу копать, а тетюшка поехала в район, еще повезла овцу – наложили<sup>16</sup> везти. А хозяйевами стала беднота. Я была одна дома. Мне был тринадцатый год. И вот пришли к нам беднота, уполномоченный, комиссар и председатель. Стучат, и слышу: «Открой дверь!» – а я не открываю. У нас всегда дом был на заперти (дом был с краю деревни). Кричит бедняк: «Открывай, а то дверь будем ломать!» А я кричу: «Вы грабители пришли, не открою!» И не открыла. Ну, в деревне знали, сколько у нас скота, и наложили еще вести корову. Как похоронила

---

<sup>15</sup> По слухам.

<sup>16</sup> Обязали по продрозверстке.

бабушка невестку, и повели корову государству. И двух овец свезли. И у кого было две коровы, все повели сдавать. А у кого было две коровы? Кто больше работал. А беднота побольше спала. А тут стали на чужую кучу глаза пучить. А мы рано вставали и хлеб добывали и виноваты стали. Все и подай. Потом слышим разговор, что беднота пойдет по амбарам и будут хлеб перемеривать и оставлять один пуд хлеба на месяц на едока. А у нас осталось пять человек семья: бабушка, тетушка, я и сыновнины сын и дочь, бабушкины внучата. Внук с 1903 года, а внучка с 1914 года.

Получила бабушка похоронку от сына – сын погиб геройски на фронте. Получилось так – в одном сорокоусте сын и невестка. Я не знаю, какого числа, а знаю: месяц март 1919 года.

И вот мы стали прятать хлеб. В сарае сено отрывали от зада, да втащили ларь большой, пудов на тридцать. И все по ночам хлеб туда сыпали и опять сеном завалили. Ну, было надежно, не отсыреет. Потом такой же ларь поставили в дрова. У нас дров было около дома, по двенадцать полениц стояло. Вот мы в середине выбрали поленицу, поставили туда ларь и насыпали хлеба и закрыли берестой три раза, чтобы дождь не пролил. И заклали опять дрова, стало незаметно. А муку только воз привезли с мельницы. Тот перетаскали в пруд, там снегу было много, сделали яму и положили мешки туда и зарыли снегом. А рядом прорубь была, где брали воду, и незаметно. Никто

и не подумал, что там хлеб лежит. Это был апрель месяц 1919 года.

Вот вскоре и пошла беднота по амбарам. Самые-то лодыри, их за людей не считали. Они сами себя в порядок не приводили, у них в голове и в рубашках вшей было полно. Мы щелок делали, да головы мыли, да белье кипятили. Ну, вшей не разводили. А мыла-то ни у кого не было. Пришли в амбар и стали отмерять, сколько на еду до нового урожая, сколько надо земли обсеять. Остальное отобрать. Не помню, сколько отобрали. Ну, к нам на два воза подогнали коней, наклали и повезли. Бабушка плакала и называла не беднотой, а еботой, тех, кто не работал. Также обрали племянницу бабушкину. У нее тоже было всего много, она тоже труженица была. У нее мужа тоже поездом зарезало вместе с моим дедушкой. И осталась она вдовой. Ей было 26 лет, и осталось четверо детей – четыре парня: Коля с 1907 года, Саша с 1910 года, Минька с 1913 года, Володя с 1919 года и бабушка, ее мать. У нее тоже отобрали корову, двух овец и хлеба, только не знаю, сколько пудов, но тоже лошади у амбара стояли. А я почему знаю? У нас одно родство, и рядом амбары стояли и сараи.

Вообще, хочу сказать, что кто был лодырь, у него никогда ничего не было. А им дали власть. Была такая песня сложена:

Раньше Митька Седунов шарил по карманам,  
А теперь стал в сельсовете главным комиссаром.

Такой был пес. Бабушка с ним еще поспорила, что ты, мол, не работаешь, а глядишь, где бы отобрать. Тогда он еще больше обозлел. Стал еще накладывать на бабушку хлеба, чтобы еще везли. Наш хлеб искали, но не нашли. Примерно было спрятано пудов шестьдесят или пятьдесят. Нам хватило дожить. Власть нам оставила по пуду. А ведь скот был, овечки ягнились, надо им посыпать мучки. С воды-то не выпустишь скот со двора, валяться будут<sup>17</sup>. И курочкам тоже надо было. Была у нас также спрятана сбруя на чердаке. Там лен лежал. Когда вырыли сбрую, а ее крысы изъели, время было голодное. Жизнь продолжалась. Стало у всех по одной корове и по две овцы. Стали подходить, жить одинаково. Как беднота говорила: «У меня взять нечего, одна корова и одна овца». Так и все стали держаться. И довели жизнь до нищеты. В 1920, 1921 и 1922 годах так и жили. Брюхо сыто, тело прикрыто. Война шла, ничего не было. Лошадей на войну взяли. У кого был хороший конь, тому на обмен давали клячу.

## **1920 год**

Я стала уже взрослая. Мне уже шел четырнадцатый год. Бабушка меня под плуг поставила. Пахать и боронить некому было. А внука она (Ивана Васильевича) проводила в Питер. Мне стало очень тяжело – и косить, и жать, и молотить, и по доро-

---

<sup>17</sup> У скотины падеж будет.

гам ездить. Вот внук пишет бабушке: «Пришли мне сухарей, очень голодно, работы нет». Мы посылали ему сухарей, а сколько раз, не помню. Вот бабушка написала письмо внуку: «Раз плохо в Питере, то приезжай домой». И он сразу же приехал. Он жил в Питере немного, не больше как полгода. Вот я с ним и работала вместе, и косила, и жала, и бабушка с нами. А Кока (тетушку так звали) дома стряпала. И опять мы всего наработали, грибов и ягод наносили.

А мой родной брат (Иван Константинович) как от мачехи уехал в Сибирь, и домой не приезжал всю войну. Взял он адрес дяди Васи и поехал к нему. Стал проситься, чтобы дядя Вася взял его с собой служить в Красную армию. Ну, дядя Вася его не взял, дал ему денег 5 рублей и сказал: «Поезжай домой. Тебе нечего здесь делать». Ну, брат мой домой не поехал. И все-таки поступил в Красную армию добровольцем и отслужил три года. Когда он записался в Красную армию, ему не было 15 лет. А когда кончилась война, он пришел домой, ему было 18 лет. А когда стали призывать его на службу по возрасту, то его уже не взяли, он отслужил досрочно.

А сестра моя, Паня, так и жила все по нянькам с 1917 по 1924 год. А потом ее взяли в дочери в деревню Агинкино. В семье детей не было, и они захотели взять дочь. Паня пошла, ей очень надоело жить по нянькам. Все было хорошо до 1927 года. А в 1927 году ее хозяина посадили в тюрьму. Он

изнасиловал девочку в Питере, ему дали три года. Хозяйка начала над Паней издеваться. Тогда мачеха наша взяла ее к себе. Мачеха свою дочь выдала замуж за хорошего парня, осталась одна и взяла Паню к себе. Жила она у мачехи до 1930 года, покуда не вышла замуж.

А брат пришел с войны, и тоже к мачехе. Привез он ей с фронта пуд муки белой и пуд соли. А соль такая была дорогая. Один фунт соли стоил тысячу рублей. Это был 1921 или 1922 год. А женился он в 1923 году и уехал в Питер, жизнь в Питере стала налаживаться.

А я так и жила и работала у бабушки. Конечно, тетушке не хотелось в дочери брать, а бабушка меня жалела. Я была ее крестница да и внучка. Она меня все лечила. Я помню, пила какой-то майский бальзам. Я была надсажена и простужена, у меня коросты были на голове. Когда меня взяли жить, то свои сарафаны бабушка на меня перешивала. У нее было очень много платков, и она мне каждый год дарила по платку на день рождения.

Помню, в 1920 году стали песни петь про советскую власть:

Сидит Ленин на воротах, держит серп и молоток,  
А товарищ его Троцкий держит старый лапоток.  
Троцкий в лес пошел за лыком, Ленин лапотки плетет,  
Красну армию обует, на позицию пошлет.

Сапоги на мне худые, это Ленин подарил,  
При царе при Николае в лакированных ходил.

При царе при Николае ели мы свинину,  
А советская власть выдает конину.

Николашка был дурак, ели ситный за пятак,  
А советская-то власть до мякины добралась.  
Говорят, что Ленин умер, я вчера его видал,  
Без порток в одной рубашке пятилетку догонял.

Вот и пасха, вот кулич, чум-чера-чура-ра,  
Вот и помер наш Ильич, ишь ты – ага.  
Комсомол купил свечу, чум-чера-чура-ра,  
И поставил Ильичу, ишь ты – ага.  
Ты гори, гори, свеча, чум-чера-чура-ра,  
На могиле Ильича, ишь ты – ага.

А когда пошли колхозы, то и песни пошли  
другие.

Так я и жила у бабушки. Много было работы,  
ели досыта. Мяса у нас было много. А вот посло-  
вица говорится: «Как волка ни корми, а он все в лес  
бежит». Так и я, жила у бабушки, а в гости к мачехе  
ходила, скучала по сестрам. Ведь прожила с маче-  
хой четыре года, а детство помнится. И мать-мачеха  
тоже ездила к бабушке. А что была плохая, стало  
все забываться. А далеко было ходить от бабушки  
до мачехи, километров десять от Илюнино до Ваш-  
кадино, и все дремучим лесом. Там водилось много  
зверей: волки, медведи, зайцы, лисицы. Бывало,  
бежишь одна таким-то лесом и кричишь: «Ау-ау!»  
А то кричала: «Дядя Вася! Догоняй, пошли скорей!»  
А никого нет, я одна бегу. Ну, на медведя не нале-

тала, а на волка два раза. Только в поле раз вышла, а там овцы ходили. А волк-то в стаде овец режет. Я бежала и кричала: «Уси-уси-уси». Этот знак люди понимали. И бежали на помощь. Ну, я была очень смелая. Другой бы парень не пошел один.

Еще хочу описать. Когда бабушка меня взяла жить, то мне не на чем было спать. Для меня не было кровати. Я спала на полу, бабушка мне связала рогожу из соломы и постилу<sup>18</sup> домотканую. А окутывалась старой шубой, одеяла не было. А когда холодно было, то я спала на печке.

Бабушка стала приучать меня драть бересту и плести лапти. Сапог-то не было, все ходили в лаптях.

Жизнь продолжалась тяжелая. Налогами задавили, и деньгами, и хлебом. У бабушки земля была большая, нам стало всю землю не обработать. А налог-то брали с земли. Тогда собралась вся деревня и пошли все к попу, чтобы написал заявление насчет земли – лишнюю землю сдать. Поп написал заявление, и с нас сняли душу, а у нас было четыре души или, сказать, четыре надела. И вот тогда все пошли косить к попу по дню, за то, что он нам помог, мне тогда было тринадцать лет. Ну а косила я хлестко. Надо мной только все удивлялись. Когда поп увидел мою бабушку и спросил: «Анна Андреевна, сколь твоей внучке лет?» – то был удивлен. Мои прокосы были одни из лучших.

---

<sup>18</sup> От «постила, постилка»; то, что стелют.

Лето работали, а зимой отдыхали. И пошла мода в карты играть, в 21 очко, все играли, и стар и мал, ребята и девчонки. И я участвовала в этой игре, и я очень выигрывала. Сперва играли – еще Николаевские деньги ходили, а потом керенские. Когда керенки лопнули, пошли орлы с двумя головами. И такие пошли дешевые – тысячи да миллионы. Я наиграла пятьдесят тысяч. Ну, все и лопнули потом. Не знаю, меняли их или нет. Когда я вышла замуж, то избу оклеила деньгами. Обоев не было и газет тоже.

Все стали жить бедно, надоело платить лишние налоги, доматывала хозяйство вся деревня, а вся беднота была в славе.

Еще вспомнила, про 21 очко. Играли в две компании. Одна – девочки, играли на рубли, а ребята на десятки, и я с ними. И ходила всегда на все, сколько бы в банке ни стояло, и все выигрывала. На меня злились. Бывало, надо было домой идти, ну всегда уходила от своего банка.

Когда в 1924 году вороны<sup>19</sup> лопнули и стали деньги очень дорогие, все стало дешево, а денег не было. Метр ситца стоил 30 копеек, а зарабатывали в день по рублю. Это я запомнила. Нас гоняли в лес сучья убирать и жечь, и помню, что нам заплатили один рубль на день. В 1926 году в день моей свадьбы меня обокрали. Украли кошелек с деньгами, что мне надарили, все украли. И полу-

---

<sup>19</sup> Видимо, миллионы. Ср. ниже: «миллионы уже лопнули».

чилося так, сяду играть на деньги, все проиграю. Стану яйца катать, тоже все прокатаю. И я бросила играть и катать. И вся жизнь прошла моя – все из руки. Только разживусь, и что-нибудь стряется, то пожары, а то и хуже.

### **1921, 1922, 1923, 1924 годы**

Ни кулаков, ни середняков не стало. Остались все бедняки. Все сарафаны за эти годы перешили и изнашивали. Когда наряжались, девочки в беседе были плохо одеты. На барахолке меняли на хлеб платья и одежду. Кому надо хлеба, а кому наряда. Деньги были ни к чему, всё было на хлеб. Помню, мне купили ситцу два метра на кофту, отдали пуд овса, и железную гребенку за десять фунтов хлеба. Гребенок костяных не было, а делали железные. Такая белая жесть, как самолеты, легкая. На хлеб шли кадки, ведра, горшки. Всё на хлеб, а не на деньги.

В 1922 году бабушка проводила внука опять в Питер. Стало в Питере налаживаться. Стала работа, а то всё была безработица. Он уехал и не приезжал домой долго, до 1929 года. Я так и работала. Ну, питались мы сытно. Бывало, пашу, а мне бабушка несет перехватку. Напечет Кока лепешек, все в масле плавают. И яичек наварит. Можно было жить.

Стали приходиться с фронта мужики, кто жив остался. А большинство погибли на фронте. В двух деревнях ни один не вернулся с фронта, все оста-

лись вдовы. Ну а у нас в деревне пришли четыре мужика. Двое скоро умерли, а два долго жили. Война кончилась, больше скот не обирали. Только денежный налог платили. Стали опять заводить скот. У нас опять стало две коровы, и овец можно было пускать сколь хочешь, только бы прокормить.

А моя бабушка была очень хорошая работница, старательная, и всегда любила делать хорошо. И меня к тому же приучала. Стала жизнь лучше. Стал появляться в магазинах ситец, сахар, мыло, спички, соль, керосин, деготь. Пошла вольная торговля. Скота стали пускать больше. У нас опять стало две коровы, нетель, лошадь, жеребенок, овец много, кур. И опять зажили хорошо, я уже стала взрослая и работать приучена. Все только дивились, как я косила и пахала. Не поддавалась никому в прокосах. Встану, никто из прокоса не выставит.

Я стала наряжаться в беседу. Купили мне два платья сатиновых, а обувь, не помню, была или нет в магазинах. Мне сшили из кожаных сапог, из голенищев, ботинки. Я в них и замуж вышла. А до этих ботинок я одевала бабушкины башмаки с резинками по бокам. Да сарафан одену под самые пазухи. А на талии поясом подпояшусь. Кофту одену, да и в беседу. Охота было потанцевать. Танцевала я очень легко. Ну, я на тетушку обижена. У нее наряда было много и хорошего. Ничего не давала, а только бабушкины сарафаны старушечьи. А у Коки была такая кофта, летняя, [самая] краси-

вая изо всего прихода. Придет, бывало, в церковь, встанет впереди да и молится. А я в бабушкиной. А кто на нее смотрел? Никто, раз калекая. Конечно, сирота есть сирота. У кого матери, так те старались свою дочь нарядить как бы получше. Я раз спросила Коку: «Отдай мне платье шерстяное». Нюша Богачева перешивала платья тоже шерстяные и цвет бордовый. Я с ней рядом сидела в беседе, и хотелось иметь одинаковое. А Кока мне ответила: «Вот те, сволочь, чего захотела! Тетка платье отдай! Выкормили, выпоили, а теперь наряду просит. Да я помру, в гроб положу, а тебе не дам». Потом еще раз было. Спросила: «Кока, дай мне пять пудов хлеба». Тетя Лиза Богачева продавала свое платье. У нее было четыре парня, ей надо было ребятам порток купить. А Кока тоже не дала. А ведь кто наработал хлеба? Вся моя была работа тяжелая. А мне уже 16 лет, хотелось одеться.

## **1925 год**

Ко мне стали свататься женихи. Бабушка отказывала до году. Во-первых, молода, да и работать некому. Во-вторых, свадьбу делать не на что. Я была, конечно, молода. Ну, от такой бы тетушки ушла.

У нас была лошадь, жеребенок два года и жеребенок год. И вот тот, которому было два года, его продали за двести рублей. Деньги уже были дорогие, миллионы уже лопнули. И вот купили мне на два платья выработки, ситцу на одеяло и колен-

кору на подкладку. И бабушка все берегла отрез шерсти на платье. Я сшила платье шерстяное на Казанскую (21 июля или 4 ноября), потом розовое. А кремовое сшила на Святки (к Новому году). И я стала сразу другая, не скрывалась ни за кого. А уж не сходила с полу, танцевала. Вот говорится пословица: «Наряди пень в красный день, и тот бывает хороший».

А я была забита одной работой. Бабушка, конечно, меня не так бы наряжала. Ну, она была уже не хозяйка, а хозяйкой была Кока. А бабушке было уже 70 лет. А тетушка все запасала хлеба. Мол, я выйду замуж, некому будет работать. Да, главное, у нее не было своих детей и поэтому она не сочувствовала. Я у нее была работница, а не племянница. В 13 лет она меня брала на мельницу. Она сидит на возу, да повозничает. А я ворота открываю, ей не слезти с воза. А у нас такое место, каждая деревня огорожена со стороны поля. И вот как деревня, то двое ворот. А до мельницы двадцать пять километров и десять деревень, пока не приедем. А мешки таскать не смогла. Я мешок за горло, а тетушка сзади помогала. Как очередь подойдет молоть, я засыпала, а она выгребала. Так обе-то за раз и справлялись.

Нас многие жалели. Ну, врагов хватало, и зависть многих брала. Что, мол, у них всегда все есть. А отчего было? Потому что много работали. Пойдем косить все вместе в три часа утра, а в восемь часов домой побежали. Роса обсохла, не

косится, а мы до одиннадцати часов дня. А когда приходили сена займы дать, бабушка говаривала, что косить-то лоб жжет, а на дворе-то конь заржет.

Много я ездила по дорогам, много я слышала новостей. А память у меня была очень хорошая. Я сразу все слова схватывала. То песню, то анекдот, то бывальщину. Когда я приеду из дороги, то ходила по вечерам на посиделку с пряжей. Все по вечерам пряли куделю, и я рассказывала девчонкам новости, или песню, или бывальщину. А когда такой зайдет разговор про чертей, сколь было смеху, а домой идти боятся. То про покойников, которые где-то когда-то чудились. И сколь было веселья. А когда меня не было на посиделках, то говорили, что только спать клонит. А сидели-то с лучиной, керосину-то не было. Бывало, ребята куделю подожгут. Тогда приходилось ругаться и смеяться. То веретено унесут, надо выкупать, то есть целовать парня, но ведь не каждой нравилось выкупать-то. Ну, я была боевая против своих девчонок. Они всегда дома сидели, а по дорогам матери<sup>20</sup>. И вот я всегда была за старшую. Надо вечер делать, надо керосин собирать. И все ждут меня, когда приду. Надо избу откупать. А по годам я была их младше. Песен я очень много знала, частушек более двухсот, и долевые тоже знала<sup>21</sup>. Голоса у меня не было хорошего. Ну, я начинала, а мне помогали петь. Нас

---

<sup>20</sup> Видимо: по дороге, вне дома, их сопровождали матери.

<sup>21</sup> По-видимому, имеются в виду «долевые» песни – жалобы на судьбу, «долю».

было подростков восемь девчонок. Бывало, летом жара, днем слепни кусают скот, и коровы весь день дома. А в ночь их выгоняли в поле, а мы коров стережем. И все песни перепоем. А нас любили слушать женщины. И дачники приезжали на лето и просили нас: «Девочки, попойте». И давали нам денег. А которую песню просили два раза спеть. Вот эту песню очень любили:

Когда мне было лет двенадцать, то я не знала ничего.  
Когда исполнилось семнадцать, то я влюбилась в одного.  
И я влюбилась, заразилась, и грудь наполнилась тоской.  
На сердце пало две печали, и стало сердце ныть со мной.  
Все говорят, что я хую, все говорят, что я больна.  
Во мне не боль, большая скука, что я в мальчишку влюблена.  
По докторам вы не возите, и я лекарства не взяла.  
Когда умру, похороните в цветочки белые меня,  
Частой решеткой обнесите во все четыре стороны.  
А ты, мой милый расхороший, высокий памятник поставь,  
А ты, подруга дорогая, золотые буквы наведи.  
Ну только тем вспомните, что от любви умерла.

Эту песню слушали молодые девочки или женщины. А вот еще песня. Эту по заказу пела для взрослых, для пап и мам:

Прощай, мой сын! В страну чужую ты уезжаешь, Бог с тобой,  
Оставил мать свою родную с ее злосчастною судьбой.  
Один ты был всегда отрадой со мной на жизненном пути,  
Бывало, думала я прежде отраду счастью найти.  
Тебя качала в колыбели бессонных несколько ночей,  
Сидела у твоей постели с надеждой будущей своей.

Ты подрастешь, как я мечтала, что юность крепкая твоя  
Под старость будет мне отрадой, надежда верная моя.  
А ты ушел в семью чужую, а я одна в краю родном.  
Страдать я буду одиноко все по тебе, мой сын родной.  
Увижу гнездышко на ветке, слеза невольно потечет,  
Скажу: «Ах, птички, у вас детки, а у меня теперь их нет».  
Услышу я раскаты грома вдали от родины моей.  
Где, спросят, сын? Его нет дома, теперь, быть может, под грозой.  
А мне недолго через силу томиться с горестью своей,  
Ты возвратишься и увидишь могилу матери своей.

Когда я спела эту песню в первый раз, то из другой комнаты выходит мужчина лет сорока пяти и говорит: «Дунюшка, спой еще раз». А сам так плакал, как женщина. И жена его тоже плакала. В тот год у них ушел сын из дома. Женили его, он пожил дома с женой три месяца и ушел к теще. А он у них был в такой чести, они на него наглядеться не могли, он был один сын, а дочек шесть. Когда их сын собирался в беседу, то сестры вокруг него вились, кто ботинки чистил, кто галстук подавал, кто рубашку гладил. А мать с отцом не наглядывались. А он так сделал. Вот эта песня им была похожа.

Любила я песни сиротские, раз сиротой росла. Вот эту песню часто пела. Когда боронили вечером, а по заре далеко раздавалось. Или жнем рожь или овес. С песней легче было работать, и горе забывалось.

По дорожке зимней, скучной конь слегка бежит,  
На разваленных дровишках черный гроб стоит.

На гробу, на черной крышке мужичок сидит,  
Двое юных малолеток рядышком сидит.  
Понукает он лошадку, на ее кричит,  
Ну, беги, беги, лошадка, сам вперед глядит.  
Вот кладбище и часовня, вот и божий храм,  
Навсегда жену родную муж оставил там.  
Горько дети плакать стали, мать с кладбища звать,  
Некому, наша родная, горьких слез унять.  
Некому, наша родная, горьких слез унять,  
А у нас уже другая появилась мать,  
Твой-то муж, тобой любимый, наш отец родной,  
Твоей дочери и сыну стал совсем чужой.

**Вот еще, тоже моя песня:**

Уродилась я, как былинка в поле,  
Моя молодость прошла в горе да в неволе.  
Лет двенадцати уже по людям ходила,  
День качала я детей, ночь коров доила.  
Хороша я, хороша, да плохо я одета,  
Никто замуж не берет девушку за это.

**Или вот такая:**

Маменька родимая, свеча неугасимая,  
Горела, да растаяла, жалела, да оставила.

**Очень много я знала частушек сиротских. Помню еще такую:**

Зачем ты, безумная, губишь того, кто завлекся тобой.  
И ежели меня ты не любишь, не любишь, так Бог же с тобой.  
У церкви стояли кареты, там пышная свадьба была,  
Все гости роскошно одеты, на лицах их радость была.

Невеста была в белом платье, букет был приколот из роз,  
Она на святое распятые взирала, глаза были полные слез.  
Горели венчальные свечи, невеста стояла бледна,  
Священнику клятвенной речи сказать не хотела она.  
Я видел, как бледный румянец покрыл ей младое лицо,  
Когда ей священник на палец надел золотое кольцо.  
Из глаз ее горькие слезы ключом по лицу потекли,  
Завянут прекрасные розы, напрасно их так берегли.  
Мне стало так тяжело и жалко, что жизни своей был не рад,  
И громко сказал я с неволью, счастлив мой соперник, богат.

### **Опишу я о своем характере**

Какая я была? Настойчивая, самолюбивая и справедливая. Ну, если кто обидит, старалась себя защитить. Ну, зла долго не помнила. И всю жизнь так.

Вот, помню, когда в школу ходила, ну дорогой не поладила с одной девочкой. Ее звали Люба. И она матери наябедничала. И мать ее меня ругала. А школа была далеко, семь километров, и мы в школе спали. И я ее сонную с нар стащила. Как она закричит! И вот учительница услышала и меня ночью в класс поставила. Ну, я прощения не просила, а просидела в углу всю ночь. На эту Любу я была злая. Потом я была дежурная, и нас заставили молиться перед сном. А меня ребята рассмешили, и я не стала больше читать, смех пробирал. Тогда меня опять учительница поставила в класс, ночью. А сама-то ушла гулять и про меня забыла. Когда пришла с гулянки и зашла в класс, время посмотреть, то я уже спала в углу на полу. Если бы

пожаловаться, то ей бы попало за это. Ну, я никому не сказала. А эта Люба опять наябедничала матери, что, мол, я в классе стояла. Тогда я ее обозвала Шемилиха. Так ее и стали звать до возраста, пока не умерла. А что такое Шемилиха? У нас недалеко в деревне была девушка очень красивая, высокая, богатая, по фамилии Шемилиха. И вот, когда мы стали наряжаться в беседы, то эта Люба была вся в шелку и золоте. Часы золотые, браслеты, кольца золотые. Мать ее из богатого дома. А ростом-то она была маленькая, мне по шею, да еще горбатенькая. Вот она и стала на смеху, Шемилиха. И танцевать ее не брали. Мать на всех девчонок злилася и старалась всех похаять.

И вот еще случай был таков. Играли зимой в снежки, валяли друг друга. И меня в такой сугроб бросили, что я полные сапоги снегу задела и едва домой дошла, все ноги исхлопала до крови. А ведь ходили-то без чулок, голые ноги-то. И я с тех пор никогда в снежки не играла. Бывало, идем стадом, и вот начинают в снежки кидать, то я старалась убежать. И я никогда не начинала, ну и меня не трогали. И драться я тоже никогда не дралась. Ну, если тронут, то я языком донимала. Всего один раз я ударила граблями свою двоюродную сестру Катю. И она тетушке все рассказала, тоже была ябеда. Ее родной брат не любил, а я с братом дружно жила. Что бы мы ни сломали, друг друга не выдавали. И вот тогда тетушка мне: «Вон уходи, иди куда хочешь, чтобы тебя не было». Тогда я собралась

и ушла. А дом-то большой у бабушки был. Я в сено и спряталась, а зимой холодно. Вот бабушка горюет, куда девка девалася, и на тетушку ругается, что, мол, ты наделала. Замерзнет девчонка, кто у нас работать будет. Я слышу, а голоса не подаю. Вот они и в новую избу, и на чердак. А как на повити ворота открыли, мои ноги и увидели. И давай снова ругать. Бабушка никогда меня не била, а тетушка с палкой ходила, бывало, и огреет. Ну, я старалась убежать.

Если меня по-хорошему попросят или заставят делать, то я гору сворочу, но сделаю. А если по-худому, то сама мучалась и им на нервы действовала. А вот еще был случай, не помню, в каком году. Я у тетушки унесла одну гребенку, а у нее было пять. И тетушка хватилась, нет гребенки. И пришла к нам, это было еще при родной матери. Я не помню, что мне мать делала, били или не били, ничего не помню. А запомнила то, когда она меня вела к тетушке с этой гребенкой, и мне было очень стыдно. Я подбежала в тот угол, где лежали гребенки, и на них ни на кого я не смотрела, сразу побежала домой. И это на всю жизнь мне запомнилось. А вот сколь мне было лет, я не знаю, четыре года или пять, не больше. Вот так я и всю жизнь. Не воровала, не дралась, и снегом ни в кого не кидала.

Когда стала ходить в беседы и была уже наряженная, то стали завидовать. Злых людей хватало. Стали от зависти хаять, даже к жениху на дом ходили и хаяли, что очень бойкая. А там, может,

бог знает чего наговаривали. Хаяли, хвалили, ругали, ну, я никогда не плакала, и слез у меня не было. Ну вот, когда, бывало, кто-то заступится да пожалеет, то у меня нерв трогался и слеза пробивала из глаз. Много ото всех потерпела.

## **1926 год**

Только начались святки, и в первый же вечер приехали сватать. Ну не те, которым было до году отказано, а новые сваты. Парня я не знала. А гостила я в ихней родне, и бабушка знала их природу. А ведь в деревне, бывало, всю родню переберут, кто и какой и как живут, природу разбирали. Мне, конечно, с первого раза жених не понравился, смиренный. А я не любила смиренных. Ну, мне советовали за него идти, что за таким-то и жить, всегда хозяйкой будешь. Уговорили.

В нашей-то деревне была его тетя родная да сестра двоюродная. Они меня уговаривали, что иди, не покаешься. А тетушке-то моей не хотелось меня отдавать, такую работницу, некому пахать. И говорит: «Не выходи замуж, я тебе еще платье справлю поднебесного цвета». Ну, я решила выйти. Дорого яичко в Христов день. Когда мне было шестнадцать и просила я у нее платье, она не дала. А как я хотела сидеть в беседе нарядной! Я была здоровая, румяная. На моем лице не было краски. Как идти в беседу, умоюсь холодной водой, да толстым полотенцем натру щеки, и весь вечер горят. А волосы-то маленько спереди завью на горячий гвоздь.

Придешь в беседу, один раз станцуем, да и все разо-  
вьется. А у нас танцуют кадрили, так все мокрые.

Ну, вот так я и ушла замуж. Была свадьба 26 января 1926 года. Когда меня просватали за алешковского жениха (с деревни Алешково) и назначили пропой, мой старый жених узнал, что я выхожу замуж, и он тоже стал жениться. И тоже пропой назначил в один день. Когда мне назначили свадьбу на 26 января, и он то же самое в этот день. С какой целью, я не знаю. Слышала я по народу, будто он сказал, чтобы не ходить на свадьбу смотреть. А ведь один километр всего от него. И вот настал день свадьбы, а ему надо было ехать мимо моего дома. Когда он подъехал к нашей деревне, ему было не проехать, вся дорога была загорожена моим полком. Ко мне приехал дружка, меня в это время благословляли и выводили из дома, посадили и повезли к венцу. Я ехала впереди, а Шиморанов (мой старый жених) ехал за мной. И ехала я с ним до самого прихода вместе. Наш полк остановился. И он венчался после меня, и как у него было на душе, не знаю. А у меня сердце разрывалось на две части. Ну, разорвать я была не в силах. Я винила его, кого он слушал. Когда меня венчали, столь было народу, ломилась церковь, было четыре венчания, а меня венчали первой. Ноги у меня подкашивались, в руках свечка тряслась, слезы высекались из глаз. Все это запомнилось на всю жизнь. Как получается.

Ну, верю судьбе. Есть судьба, и всему так надо быть.

Вошла я в новую семью четвертая. Я, муж и две золовки, одна с 1888 года, а вторая с 1896 года. Муж с 1904 года. Я у них была маленькая, с 1907 года.

Золовки были очень рады, я им очень нравилась. Когда они поехали свататься ко мне, им сказали, что не в свои сани садитесь, ее не отдадут. А получилось так, я вышла. Конечно, я бы за него не пошла. Я от жизни пошла, от тетушки. Приезжают ребята в беседу и сразу смотрят, кто и как одет. И так же женились. Богатый ехал к богатой, а бедный к бедной. А наша-то родовая всю жизнь была на славе. Прадед-то был бурмистр, его вся округа знала. А я была бедная. Только и славилась работой: «Вот девка-то, вот работница хорошая». А эта слава для стариков, а для молодежи наоборот. Как говорит пословица: «Не жала бы и не косила, а была бы на личико красива». Я не хвастаю своей красотой. Нюша Богачева была красивее меня, ну и нарядная, вся в золоте сидела. А я на втором месте по красоте.

Когда я вышла замуж, мне жизнь была хорошая. Золовки были смирные. Одна была богомолка (Елизавета, младшая), все воскресенья в церковь ходила молиться. А старшая хозяйство вела. Родители их умерли от тифа в 1919 году. А в том году очень много умирало народу. Вот у них отца и мать хоронили в одну могилу. И вскоре, в этом же году, их брат Михаил умер, он с 1901 года. Ему



Павел Васильевич Макаров (1904–1945),  
муж Евдокии Константиновны.  
Конец 1930-х  
*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

было 18 лет. Очень был хороший, его все соседи хвалили. Был грамотный, учился хорошо, первый ученик был в школе. Я помню, был его портрет, свидетельство, похвальная грамота, Евангелие и наградная книга. И ремеслу был научен, столяром работал в Питере у дяди Голикова Ивана.

Так что мы были с мужем круглыми сиротами, мой муж был неграмотный. Походил ползими и тоже больше не учился. Пошла голодовка, обуви нет. Так и остался неграмотным. Дети в деревне

все были неграмотные, даже мужчины неграмотные, не могли написать письма. И золовки тоже неграмотные. Одна, младшая, самоучкой научилась писать и читать. А вторая буквы знала, а имя свое не сложит. Они после родителей жили так, без чего нельзя. Старшая золовка была трудоспособная, ее везде гоняли по дорогам, тоже хватила горя, холода и голода. Все же была разруха. Ну, когда я вышла замуж, то хозяйство было слабое против бабушкиного: одна корова, один конь, одна овца, поросенок был большой. Мясо было. Корму до нови не хватало. Распорядка хорошего не было. А у бабушки хозяйство было: две коровы, лошадь и жеребенок, четыре матки овец и кур без счета. Золовки по-настоящему жить не умели. Земли у них было много, и земля была хорошая. Не было хозяина. Старшая золовка (потом я, муж и мои дети стали звать Кокой, ее имя Парасковья) как-то говорила: «Как женю брата, так все хозяйство отдам». А вторая золовка Елизавета (младшая, ее потом стали звать няней) говорила: «И мне ничего не надо». Соберется, да и в церковь. Хоть рабочая пора, а ей все равно.

Пришла весна, пошла работа. Я поехала пахать, а муж на завод работать. У нас был лесопильный завод, в четырех километрах. Надо было деньги зарабатывать за свадьбу, сделали на занятые деньги. А моя бабушка свадьбу сделала, ни копейки не заняли, деньги были, жеребенка продали. И свадьба была хорошая у нас в Бошкадино. Лучше,

чем в Алешково у мужа (в восьми километрах от Бошкадино). И посуда была вся своя, рюмки, вилки, тарелки, чашки, все свое. А в Алешково ничего не было. Как свадьба прошла, посуду вымыли и стали всю посуду разносить, и осталось мало.

Итак, пришла пора ехать в поле пахать. Кока показала мне полосу. Все смотрят, как пашу. Как говорится пословица: «Над молодым и голик<sup>22</sup> три года смеется». Я была приучена к любой работе. Мне не надо никого было спрашивать. Плуг налажу, так только держи за ручки. Вот раз иду, а мне и говорит одна соседка: «Ну, Авдотья, у тебя пахота да у меня изо всех полей лучшие». А ей было пятьдесят лет, она тоже хорошо работала. И хозяйство у них было хорошее. Говорили моим золовкам: «Ну у вас и молодая, ну и работница». А золовки гордились. Жили мы дружно, выноса из дома не было. Меня спрашивали: «Как живешь? Какие золовки?» Я всегда хвалила, что очень хорошие. А то им все передадут. А их спрашивали: «Ну как у вас молодая-то?» А они меня тоже расхваливали, что такой и нет.

Вот пришел сенокос, пошли косить на пустошь по человеку из дома. И косили под одну косу<sup>23</sup>. Пришли. Все стали косы точить. И я тоже. И никто не начинает. Ждут, как бы кто начал. А главное, как, мол, молодая-то косит. В деревне

---

<sup>22</sup> Метелка.

<sup>23</sup> Видимо, шли один за другим, ступенями на ширину размаха косы.

так водится со старины. Я встала, а за мной встали хорошие кошеи. Конечно, с целью. Я поднажала, вперед прокос прошла, а потом я уже за другими встала. Да тоже поднажала. И говорят: «Дуняшка, потише коси, устанешь». А я им даю жару. Я косила хорошо, и за мной было трудно гоняться. А притом я хорошо косу натачивала. Меня бабушка научила, как правильно косу натачивать. И говаривала: «Не тот косец, который шибко машет, а тот косец, который косу натачивает». Пришли домой и в тот же день увидели моих золовок и говорят: «Ну у вас и кошея-то молодая, ну и работница». Вот я с первого года и вошла в славу.

А по воскресеньям приходили богатые и просили косить, и меня посылали. Я ходила, да почему-то и многие ходили, как в заработки.

Я раз пришла к бабушке, а она обиделась, что редко хожу. А я говорю: «Да все воскресенья ходим под наемку к богачам косить». А мне бабушка и говорит: «А у вас-то есть покос?» А я говорю: «Есть, много». Тогда она меня и учит: «Как будут посылать косить, а ты им скажи, что Кока, пойдем на свой покос, накосим воз, да и положим его отдельно. А зимой его продадим. Получится не три рубля, а тридцать рублей возьмем за воз». Это она меня учила, как сказать, а мне говорит: «Вот, внученька, не зарабатывай гроши, зимой рубли потеряешь». Я в первый год ходила под наемку косить, а больше и конец, не стала. А для себя накосили и пустили две коровы и овец не одну.

Пришла осень. В октябре мужа взяли в армию. Я осталась в положении. Никуда я не ходила, ни по беседам, никуда. Больше дома по вечерам прями. Жили хорошо и в семье, и власть стала налаживаться. Всего стало много. Только бы деньги были. Ну, у нас денег не стало, хозяин в армии. А в деревне можно было жить. Все свое, не надо в магазин идти за хлебом, а сходил в подпол, наварил картофеля и сыт. Грибы, огурцы, капуста – свое. Лето потрудишься, а зимой лежи да в потолок поплеывай. Никому не должен. Себе хозяин. Когда лег, когда встал. Не на работу бежать, как в городе надо все к часам. Никуда не гоняли. Хорошее время было. Ну, мало пожили.

### **1927 год**

21 мая 1927 года я родила сына Колю. Старшая золовка села в няньки. Я работала, и вторая золовка тоже со мной работала. Хозяйство все на мне. На мне все обязанности, везде за все отвечала. Жили хорошо.

И вот, несчастье постигло, стихийное бедствие. 25 августа 1927 года случился пожар. Загорелся у соседки дом. Была жара, все было сухо, воды в прудах не было. Все побежали к ней на помощь. А как в крышу пламя выкинуло, так по ветру сразу загорелось пять домов. И у нас все сторело: дом со двором, амбар с хлебом, сарай с сеном и куры сторели. А скот был на поле. Пожар случился в пять часов вечера. Все пригорело.

Послали мужу телеграмму. Его отпустили на две недели с дорогой. Он служил в Киеве. Побыл дома одну неделю, только расстроился. Председатель сельсовета был очень хороший человек. И написал он такую бумагу прямо на Ворошилова. И муж поехал в Москву к Ворошилову. Когда он стал спрашивать, как пройти к Ворошилову, его не допустили. Он показал письмо. Тогда доложили Ворошилову, и он разрешил пройти. Когда он прочитал это письмо, то приказал секретарю написать письмо на часть. Поехал муж в часть свою, подал документы. Ему сказали: погоди маленько, послужи. Старых солдат домой отпускают, а молодых нагнали, надо их обучать, а то некому. И все на пост гоняли. Некого посылать. Он прослужил еще месяц, и нам писем все не было. И вот в октябре месяце пришел домой. Мне кричат: «Дуняшка! Иди мужа встречай!» А я в лаптях. Стыдно. Я сняла лапти – и босиком, а в шубе. Бегу, а ноги зашлись от холода. Он спрашивает: «Почему босая?» А я говорю: «Не в чем, только лапти». – «А ты бы и в лаптях шла». А я говорю: «Стыдно в лаптях-то». Ну, я и простыла. Да как у меня стали зубы болеть. Я до двадцати лет не знала, как болят зубы. Ну и помучилась.

Как пришел муж домой, получили страховку. Купили амбар у богача хороший и поставили избушку в четыре окошка. Перешли жить 20 мая 1928 года. Сельсовет нам дал леса самого лучшего, как погорельцу и красноармейцу. Вот мы зимой лес срубили, попросили три деревни помочь под-

везти к дому. И нам всё в один день перевезли. Все нас жалели в это время, и разговор на приходе только и был, что сироты сгорели.

Сельсовет дал справку, чтобы нам на мельнице выделили муки. Получили двадцать пудов, хорошо помогли нам. Когда перешли жить в избушку, сразу же взял муж человека и стал рубить срубы. Срубали, и стал двор рубить. И в сентябре 1928 года покрыли крышу и двор. Так было радостно, что корова и конь стояли под крышей. А то, бывало, дождь пойдёт, а их мочит. Крышу-то было нечем крыть. Тогда намолотили соломы и крышу-то и покрыли. И опять зажили хорошо. А в 1929 году поставили новый дом, в восемь окон, крышу покрыли дранкой. Всю зиму по вечерам муж дранку драл, а день в заводе работал. А я связывала пучки по сто штук. Семья была сильная, все молоды. Кока по дому, а мы работали.

Стало две коровы, конь, жеребенок, овец стали больше пускать. Потом жеребенка продали и купили кирпичу на печь. И купила я всем по платку и по платьям. И совсем хорошо стали жить. Муж уехал в Ленинград. Надо всех приодеть, и сам доносился, нечего стало носить. Ну, работали так все дружно, что опять стали завидовать. А мы вставали в три часа ночи, а ложились в двенадцать часов ночи. Напряли по ночам мешков и матрацев. Ничего же нет, все сгорело.

Подрастал сын Коля. Он был смирный, маленький был спокойный. Одного оставляла, уходила,

и надолго, надо ведь и воды навозить, и корму, и скотину напоить. А он сидит, играет в игрушки. Ничего не было, подам чашку, да ложку, да гороха насыплю в чашку. Вот он и пересыпает из чашки в чашку. Я за это время все и сделаю.

## **1928, 1929 годы**

Начала власть меняться. Стали гонять на работу – труд-гуж-повинности<sup>24</sup>. Наложат несколько кубометров леса на лошадь и на меня. Вот и ходила за восемь километров рубить. На всю деревню накладали, все и пойдём с утра. А зарабатывали гроши. Когда было добровольно, сами в лес ехали и все старались заработать. А тут: «Били пень, коротали день». Придём, отметимся, придет начальник, уйдет. А мы домой. Стали накладывать песок возить – дорогу чинить. На меня шесть кубометров и на лошадь. А ехать за песком четырнадцать километров. И вот я из дорог не выходила. То зимой тес возила за пятьдесят километров до станции Антропово. Лесом-то, бывало, едешь спокойно, а как выезжаешь в поле, так по обе стороны размахи. Берешь через плечо веревку да зад-то и придерживаешь. А то как замахнет, и лошадь вверх ногами опрокинет.

В 1929 году родился мальчик Минька. Но умер, когда ему было пятнадцать дней. Какая-то

---

<sup>24</sup> Трудовая повинность – обязанность гражданина выполнять общественно полезный труд, бесплатно или за ничтожную плату. Гужевая повинность – обязанность, вменяемая гражданам, владеющим упряжным скотом, при необходимости предоставлять его государству.

скарлатина захватила, мало болел, в одни сутки умер.

В 1930 году я была в положении Аней, а всю зиму возила тес. Говорю золовкам: «Не могу ехать такую даль». Кока (Парасковья) говорит: «Я не трудоспособная». А няня (Елизавета) говорит: «Я слепая» (близорукая была, плохо видела). Тогда коня стали брать на чужие руки. А как дать коня? Останешься без лошади. Придет пора, надо пахать, а мы будем руками махать. Вот такая пошла наша жизнь.

Проработали лето 1930 года, а осенью ушли в зимницы<sup>25</sup> Кока и няня. А я домохозяйка, меня не гонят. То и дело стали собрания. Стали накладывать хлеба на хозяйство, молока с коровы двести восемьдесят литров, а мяса на деревню. Если бы налог и на мясо давали на хозяйство, как молоко, тогда бы лучше жили. А то на деревню. Кто хочет везти? Никто. И вот, в первую очередь, вести тому, у кого две коровы и у кого семья маленькая. Тот повел корову, другой повел, а потом и мы повели. Когда всех коров перевозили, то не стали больше пускать в племя две коровы. Также и овец. Пустим четыре матки в зиму. А в марте месяце пойдет перепись по дворам. А записано-то две матки. А найдут лишку – отберут да штрафа дадут за укрытие. А хозяйева опять же беднота.

---

<sup>25</sup> Зимниками называли крестьян, уходящих на зиму в город на заработки.

Была у меня соседка рядом. Мы с ней обе из одной деревни были приведены замуж. У нас с ней было по трое детей. И земля одинаковая. Я стогрела и опять нажила. А она все время беднячка. А почему? Я наработаюсь досыта, а она только встает. Вот так-то и доводили опять хозяйство. Стали держать двух овец и одну корову.

Ну вот, начали создавать колхозы. Все-то ночи и все дни только собрания за собранием. Ну, в колхоз мы не шли. И хлеба наложут – свезем. Потом стали на нас льну накладывать. А я льна-то и не сеяла много. Насеем на мешки да на портянки, попрядем зимой. А я-то худо пряла.

Когда я родила Аню, то все были дома. Лето, все работали. Муж дом отделявал, а мы по хозяйству. До сенокоса рубили лес на дрова. Так много наделили леса, вот и рубили. Я так устала, едва домой дошла. А утром Коке и говорю: «Мне бы надо к акушерке съездить, у меня спина болит, не наклониться, совсем не могу». А Кока с няней и говорят: «Сходи-ка в церковь да причастись, вот и легче будет». Я пошла, такая-то усталая, едва дошла до церкви. А церковь в пяти километрах, если не больше. Постояла я, да как стали перехваты. И думаю, мне домой не дойти. Пошла я домой, одна была, из деревни никто не ходил молиться. Все так устали, а меня послали. Я едва шла, живот руками поддерживала. Схватки чаще и чаще. Все-таки дошла до дома и заплакала. Остается только умереть. Тогда Кока за бабкой послала мужа, а он стес-

няется сказать. Та сидела на беседках с народом. А он все ждал, когда она домой пойдет. Вот тоже был! Я родила с Кокой, пока его ждали. И ребенка уже вымыли. Родила ее семи месяцев, не доходила ее из-за этой принудиловки, когда всю зиму гоняли тес возить за пятьдесят километров, да еще два раза крепко упала, когда с ней ходила. Родила ее маленькой, сухая, старая. Кожа да косточки.

Все, кто приходили смотреть, говорили: «Ну, эта не жилица». Да она и на самом деле лежала на печке на подушке, и ничуть голоса. Жива или не жива. Послушаю, теплая. С ложки пропущу молока, вроде проглотит. А сама она не просила есть. И лежала на печи два месяца. А потом, как дошла до время, да как начала реветь. Никому покоя не стало. Орала день и ночь до полгода. А потом стала хорошая, спокойная. А наливалась каждый день. Стала румяная, полненькая. В одиннадцатый месяцев стала ходить и не ползала. Раз сидим мы с Кокой на полу у маленькой печки и говорим: «Нюшенька, одна-одна». Она одна стояла. Да как побежит от меня и до Коки, метр было расстояние. И она бегом, а если шагом, то валилась. Так было смешно всем. Да, диво-то какое. Такая крошка – и пошла. Нисколько не ползала.

## **1930 год**

Летом Кока водилась с ребятами, а я с няней работала. А в зиму обе уходили в няньки. Как будто нельзя было дома жить. А муж в Ленинграде. Как

хочешь живи: скотина, надо печь истопить и воды навозить, и ребенок маленький. Вот так и приходилось жить. Женщины в деревне ездили к мужьям в Ленинград, а Коку просили домовкой пожить. Вот она и жила три зимы подряд по три или четыре месяца. Так все и ухитрялись уехать к мужьям, чтобы некому было ехать в лес. Одного из дома не погонят. А уполномоченных бегало как собак. Только одни собрания. Все стали друг на друга скандалить. Кому охота ехать в лес и работать задаром. А кто-то уехал в Питер. Ну, летом не гоняли, мало ходили. До сенокоса сучья убирали, да жгли по полянам. А если бы платили деньги, то все бы пошли.

### **1931 год**

Отработали лето, и няня ушла совсем, на производство, в детский дом работать прачкой. А Кока ушла в зимницы. Стали на нас злиться, что летом все дома, а зимой все ушли. Некому в лес ехать. А мужики все из деревни уехали в Ленинград. Тогда стали колхозы объединять. Половину сельсовета в колхоз зашли, а мы с Алешково и Сазоново ни в какую не соглашаемся. С нами тоже нянчились. А налогами стали душить. Мужики только и слали деньги на налог. По три налога платили.

Потом вышло новое постановление. Стали мясо накладывать не на деревню, а на каждое хозяйство. Вот тогда нам стало лучше. Я свезу двух овец – и сразу за год. А беднота-то зачесалась. То бывало как у них: «У меня, мол, одна овца и одна корова, с меня, мол,

и взять нечего». А теперь отдай сколь положено. И бедноты не стало. Все стали одинаковы. Постановили так. Огород, усадьба есть – плати. Мяса пятьдесят килограмм, молока триста литров, яиц тридцать штук, шерсти с овцы четыреста грамм, с ягненка двести грамм, картофеля тридцать пудов, налогу с надела четыреста рублей, самообложения четыреста рублей и облигаций на четыреста рублей. А хлеба, не знаю и норму, по три раза в год платили. А нет хлеба – покупали и платили.

Ну, все же лучше стало, чем так – кто больше пустит овец, и все вези. Каждый год везли двух, да трех баранов. А тут свезешь или деньгами вложишь двести рублей. И живешь спокойно год.

Ну, молодежь наряжалась, делали беседы. Наряды стали хорошие. Всего стало много, всякой мануфактуры. И шелка, и маркизет, и шерсть. Хотя шерсть не совсем хорошая, как сейчас. Ну, все же не простое платье. Бархат появился. Девочки были нарядные. Вспоминалась наша молодость, что ничего не было. Так же святки были и женились. Все было в Ленинграде. И нам присылали и обувь, и одежду, всего было. Стала и я копить нешитого. Помню, муж прислал мне за год шесть жакетов, да свитер шерстяной. Я стала нарядная ходить. Хотя жакеты не шерстяные, а бумажные, но в деревне было очень хорошо. Дети подрастали. Помню, бывало, приду на собрание с Аней, так ее с рук не спускали. Из рук в руки передавали. Такая была затейница. И говорить рано начала. Но одна дома не

оставалась. Как я за дверь, а она реветь. Может, она привыкла с Колей вдвоем играть. И поэтому одна ни на шаг. Приходилось наказывать прутом. Ну, все равно одна не оставалась. Ей было два года и шесть месяцев, она пела песни и много их знала. Вот ее:

Встань-ка, маменька, поланте и потлутай на зале,  
Как я буду голько плакать на тудой на столоне.

**Вторая песня:**

Папинька и маминька, потавьте домик маленький,  
Потавьте домик во таду, вовечи дамуж не пойду.

**Еще песню помню:**

Аклой, маминька, окотытько, головутка болит.  
Полно, дитетко, оманывать, тальянотька манит.  
Отклой, маминька, окотко на дви половинотьки,  
Лекинглацкий поист едит, нет ли ягодинотьки.

## **1932 год**

И опять нас несчастье постигло. Опять сгорели. Первого января нас подожгли из-за Коки. Такой-то дом выстроили. Только все и говорили: «Какой Павлуха дом поставил, какой старательный». Только печку не сложили, а то все уже было сделано. А вот говорится пословица: «Видел – не видел. Слышал – не слышал». А вот Кока сунулась в чужие дела. А зачем?

Рядом жил сосед, Калачев его фамилия. Он овдовел, осталась дочь лет девяти. Это было до меня, в 1925 году. Он женился, девочка жила с мачехой. И один раз мачеха девочку избивала. Народ

видел и вызвал милиционера. Составили протокол и в суд подали. А суд-то был уже в 1926 году. Я это помню. Когда на суд пошли, двое свидетелей отказалось. А Кока наша пошла.

Когда Кока пришла на суд, то Калачев ей сказал: «Ну, Парасковья, не в год, не в два, но я тебе отплачу». Ну, Кока все заявила перед судом, все записали. А что толку-то. Суд присудил его жене три года тюрьмы. Тогда Калачев подал на пересуд. Он просудил двух поросят<sup>26</sup>. Адвокату было, конечно, неприятно. Второй суд вызвали, а жена Калачева была в положении. Суд отменили. А потом амнистия была. Так все и заглохло.

Ну, была некрасивая история. И вот, когда мы строились, а Калачев мужу и говорит: «Напрасно, крестник, ты так убиваешься, пожалей силу». Он был крестным мужу. Ну, Коку помнил, он был злодебный<sup>27</sup>.

А Кока была в каждую бочку затычка. Я ли, не я ли, всех умней. Вот умерла тетя Надежда Голикова в Башкадино, а была очень богата, осталась девочка лет шесть или семь, не помню. И надо опекуна. И два сына в Ленинграде. И вот Коку поставили опекуном. И она привезла все имущество, скот продала. Девочку в Ленинград увезли. А Кока и развешала по огороду все пальто. А какие пальто-то: одно на лисьем меху, самый дорогой ворот-

---

<sup>26</sup> С него взыскали двух поросят.

<sup>27</sup> Злопамятный.

ник. Я, конечно, не знаю, как назывался. Второе на кенгуровом меху, мужское. Третье на черном меху, тоже мужское. Четвертое на беличьем меху, женское. И всякого шелку и шерсти очень много. Она не подумала, что Калачу навредила, а он помнил.

И вот он знал, что я одна спала. Как раз я шла домой с его женой из беседы, с ребятами. Ане был второй год, а Коле пять лет. Меня Вера Калачева спросила: «Ты что, одна?» А я говорю, что Кока ночует там на хуторе. И вот они знали, что я одна. Я в пять часов встала утром, затопила печь и говорю Коле: «Покачай Ньюшу, я схожу скотину оделю». Подхожу я к двери, а на коридоре шум. Крыша загорелась. Я открыла дверь на улицу, а Калача жена стоит у дома своего и мне ни слова. Я кричу: «Помогите, крестный, горим!» И он не пришел. А увидел второй сосед и прибежал. И стал дверь ломать на двор, а запоры-то очень крепкие. Едва сломал. А у нас была лошадь, две коровы и овцы. Скот спасли. А я только и успела сундук стащить с повити Кокин. А мое все было в избе. Ничего не успела взять, только ребят. А свидетелей нет, Калачев это знал. Вот так и пострадали мы с мужем из-за людей.

Нам стало тяжело снова строиться. Мы купили хутор недалеко, в пятистах метрах. Я с семьей поехала на хутор, а золовки нет. Нам в колхозе совсем не давали жить. Были хорошей рабочей силой. Везде гоняли, в каждую дорогу, куда бы ни была дорога. Я из дорог не выходила. Вот тогда одна из золовок (няня) и ушла на производство. А Кока захо-

тела поставить себе избушку на той же дворине, где дом стоял у нас. У нас было две коровы, обе молодые. Одна один раз телилась, а вторая два раза, и пущена нетель<sup>28</sup>.

Ну, мы сделали раздел. У нас стало по одной корове и по две овцы. А жили-то вместе. Нам соседи не поверили, что мы разделились. И вот Кока и няня вместе пай взяли. И одну корову продали и купили срубы. И поставили Коке домик. Лошадь была пополам. Кока перешла в свою избу, няня на производство. Я осталась одна с детьми, Колей и Аней. Я наняла в дом няньку, мальчишку. Хороший парень был. Все сделает, пол подметет и посуду помоеет, и гулял с моими ребятами по улице. Аню переодевал раза три в день. Как платье грязное, так опять переоденет. Пошлю, бывало: «Минька, иди за дядей Павлом». И он – одна нога на пороге, а вторая на другом. Только его и видели. Когда он отжил лето, то я ему подарила подарок, сверх зарплаты купила штаны и рубаху белую. И он, и мать его очень были рады. Сколь было спасибо-то. А он был сирота, у него отца не было. У матери трое ребят осталось.

## **1933 год**

У меня родился сын Петя 28 января 1933 года.

Муж приезжал домой только в отпуск на один месяц. Долго жить было нельзя. Как месяц отжил, так и в лес назначат. Так все мужчины уехали

---

<sup>28</sup> Пущена нетель – годовалая телка, которую не продали и не зарезали, а оставили. То есть к моменту раздела в семье было две коровы и телка.

в Питер и присылали нам деньги, чтобы платить налоги. Ну, в колхоз не шли.

А старые женщины нам все говорят: «Не ходите в колхоз, антихрист сойдет с небес. И будут ремни вырезать и печати ставить на груди». А мы-то, дураки неграмотные, не смели идти против старых, они же умнее. Что мне было, 25 лет, когда Петю родила. И вот наложили на меня льну, и на всех на деревню по пять пудов трепаного, чистого. А где его взять? Надо бы в колхоз вступить, и все бы сняли. Нет, в колхоз не пойдём, как быки уперлись. Нас еще хлебом обложили. Увезли весь хлеб, который был в амбарах. Я поехала в Матвеево, это в другом районе. Взяла я сорок катушек ниток, да мануфактуры не знаю сколь. Как раз когда сторели, муж привез семьдесят метров после пожара. И вот лен я купила и с государством рассчиталась.

Живем дальше.

И вот как нас решили в колхоз загнать. Приходит весна – нам приказ из сельсовета, чтобы скот не спускать. Все<sup>29</sup> отходит под колхоз. Вот тут-то нас и прижали. И вошли в колхоз. И надо было свою землю обсеять, чем хочешь, что найдешь. Овес, ячмень, пшеница, горох. Ну, было бы обсеяно. И рожь обобществили в колхоз. И все мужики приехали в деревню колхозный двор строить. Ну, трое не приехали: мой муж, да брат двоюродный Скворцов Павел Александрович и Никифоров.

---

<sup>29</sup> Все пастбища.

Тогда мужики зарабатывали по три трудодня в день. А мы, бабенки, по одному трудодню. Весь мой хлеб пошел на людей. Что я сдала хлеба-то, пять лет работала, а своего не заработала.

Когда родился сын Петя, то он был тоже очень спокойный. Плакал он, когда у него грызла грыжа. А как прошло, так опять стал спокойным. Я наняла няньку, девочку 14-ти лет. Ну, была такая тихоня, лодырь. С маткой по миру ходила. А делать ни к чему не приучена. Мне было очень трудно.

А Кока в колхоз не пошла, живет себе хозяйкой. А осенью на нее налог единоличный шестьсот рублей. А где она может взять? Ей было около пятидесяти лет. И она ушла в няньки, землей она не пользовалась. Незаконно на нее наложили налог. Человек неграмотный, просто по злу, что в колхоз не идет.

Ну, мужики двор поставили. Коней повели на колхозный двор. Отработали мужики лето, а в зиму-то все в Питер. А корму-то, накопили сена мало. Не хватит. Вот стали браковать коней и продавать. Продали больше десяти коней. Когда в колхоз-то зашли, приказали больше льну сеять. А у нас лен-то не растет. Вот насажали на хорошую землю лен, а хлеб по горам. У нас не стало ни льну, ни хлеба. Вот все и уехали. Остались два старика, которые никогда в Питер не ездили. Один косы бил, другой лемехи вострил. И бригадира у нас не стало. А председатель был мужчина неграмотный. Он был портной, шил одежду. И жил он хорошо.

Детей у него не было, только с женой. Он не мог написать свое имя и фамилию, а ставил «00». А счет он знал в уме, хорошо высчитывал. Стали бригадира выбирать. А кого? Все неграмотные. Бригадиру необходимо было знать таблицу умножения. Я таблицу знала. Ну, высчитывать я не понимала. Что такое сотка и какой гектар, мне рассказали. И я взялась работать бригадиром. Умножала я хорошо, а делить не знала. Вот председатель меня научил, как надо делить в уме. Сперва тысячи, а потом сотни, а потом десятки и единицы. Я скоро поняла и стала делить в уме. Тут надо хорошую память, а у меня память была хорошая. За все их издевательство не надо бы садиться в бригадиры. А я, такая дура, не злодебная. Стали просить. Уполномоченный приехал, председатель сельсовета. И все колхозники стали просить, все стали ангелами, только садись.

А первый год что делали? Муж не в колхозе, а мне давали работу хуже, дали мне коня самого плохого. А моего коня другим прикрепили. Да и загнали беднягу, кто ее пожалеет. Как кончится рабочий день, одна поехала на ней за соломой. Только приедет, вторая: «Кума, не выпрягай, я сейчас за дровами съезжу». Только дров привезет, третья ждет: «Не выпрягай, я сейчас копну сена привезу». И каждая старалась поскорей, кнутом ее стегали, а она, бедная, так устала, что едва ноги переставляла. А у меня сердце кровью обливалось. И сказать нельзя – колхозная, а не моя. Ну

и загоняли за лето. У меня она была, даже прута не видела. Только скажешь: «Ну, Звездка, пошла!» Когда ее продали, и мои глаза не стали видеть, мне стало легче. Красивый конь, грива черная, голова кверху, складная, а сама гнедая, умница была.

### **1934 год**

Стала я работать бригадиром. Работала я честно. Каждому старалась записать работу правильно. И я проработала бригадиром до 1936 года. Всего было: кто ругал, а кто хвалил. Ну, кто старался работать, того куда ни пошлешь, он везде заработает. А кто не хотел, у того и дней нет. Бывало, дашь наряд на работу. Она ответит: «Сегодня я буду стирать». Завтра то же: «Я пойду на почту». А послезавтра в гости. А когда получают трудовую книжку, то смотрят: «А что у меня дней-то мало, а у той много?» А я записывала все отдельно и представляю ей, сколь дней она не работала. А ведь и хлеб, и сено, и солому, все по трудодням давали. Тогда стали получше работать. Так и жили.

Все привыкли к колхозной жизни. Налогу стали платить меньше. А молоко и мясо, шерсть, яички, это так и платили. Жили небогато. Конечно, у кого мужья не пьяницы, те присылали из Ленинграда. А у кого совсем ничего нет, то тяжело жилось. Да вот, я забыла написать. В 1934 году хутора на снос постановили. И нас опять трести. Тогда я купила в деревне дом в нашем колхозе, только в другой деревне – Игнатово, шесть дворов всего. Муж так

и в отпуск не приезжал два года, дом оплачивал. За хутор не получили страховки. Надо было с хутора снести все столбы, вырыть их, чтобы трактор пошел и плуг не сломал. Да где же их убрать. Если бы одна изба, а то дом пятистенный да веранда, да два сарая, двор. Как все это снести? Легче купить готовый. Так и сделали.

### **1935 год**

Стало мне полегче. Стали сознавать мои труды. Кто был хороший, середняк, он везде шел, на любую работу. А кто был беднота, когда было все единолично (а в колхозе их звали не беднота, а ебота – их так звали, потому что они работали так). Вот, бывало, все уже на работу собрались, а беднота только печку затопила. Вот и жди с них работы. Где попашет, там и плуг оставит. Где поборонит, там и борону оставит. А я пойду мерить и вижу – борона уже травой заросла. Бывало, таскала на себе борону. Ну, потом на правлении стали так постановлять: если оставила, то сама и привези, ну, без платы, этот час в трудовень не записывать. Стали меньше оставлять. В 1935 году дали нам трактор, тоже одно горе. Так плохо пахал, так нарежит, что лошади валились. Нельзя совсем было боронить. А потом и совсем отказались боронить: «Бороните сами, раз напортили». И вот, бывало, напашут тракторами, и надо мерить, сколь напахали. Я тоже мерила для себя, сколь надо семян отпустить на посев. И вот раз намерила я столь гек-

тар, а трактористы тоже намерили. И у всех получилось по-разному. У одного примерно восемь гектар, у второго десять, у меня двенадцать, а у кого пятнадцать. Вот сели на лужок и давай пересчитывать. А я сижу, слушаю. У кого сколь, а у меня правильно. А трактористы были все грамотные. У кого пять классов, у кого и семь классов, а у кого четыре класса. А я была грамотея. И вот, сколь ни считали, получилось столь, сколь я намерила. Они снова ходили мерить. И тогда бригадир тракторной бригады стал верить мне. И не стал больше мерить для себя. Я тогда взошла в доверие и трактористам и колхозникам.

Подруг я не заводила, все были для меня одинаковы. Кто что заработал, тот то и получи. Заведи сегодня подругу, а завтра она тебя продаст. Все стали ангелы. А я помню 1933 год, хватит, потерпела. Я стала греметь и в сельсовете. И премию стали начислять. Ну, я премии никогда не брала, просила: отдайте тому-то, кто хорошо работал, безотказно. У них нет отходника, а у меня муж есть. Стали колхозные праздники справлять – 7 ноября и 1 мая. Стали резать баранов или теленка. Стали стряпать. А на водку продадим хлеба и водки купим. Выбирали хороших стряпух. Кто обеды, кто с пирогами. Я горазда была пироги печь, хорошо получалось. Стали давать лошадей, по беседам ездить. Ну, с условием, прикрепляли ответственного человека, чтобы коня не испортить. Беречь, как своего, – и берегли. А то было так – не наш конь, колхозный.

И леший с ним, пускай сдыхает. Вот так все это и было, и промотали. Многое потеряли. А все себе убытки-то. С государством рассчитайся.

Стали мужички приезжать зимой в отпуск. И смотрят на жен – каждый день надо идти в колхоз лен трепать да мять. А ведь мы лен-то сеяли – только мешков наткать. Ведь лен-то у нас не растет. Мужьям это не нравилось, что только месяц поживешь и опять уезжай. А в колхоз-то их не заманишь, нет. Теперь единоличного поля не посеяно. Стали некоторые своих жен увозить с собой в Ленинград. Тут стали запрещать давать справки из колхоза. Ну, семейные-то жили в колхозе, привыкли. Не надо было просить уже, что поработайте, пожалуйста, а сами шли. И бедноты не стало. А лодыри были. Вот опять дашь наряд. Она заболела. А раз заболела, давай справку от врача. А нет, то прогул. А к концу месяца увидят, что трудодней-то нет, кричат: «Меня бригадир обманул!» – и на весь колхоз. А я уже научилась с такими людьми, лодырями. Стала все записывать в отдельную тетрадь. И когда, бывало, прибежит кто-нибудь в правление и жалуеться счетоводу, меня вызывают. И я подам все сведения: где была, какого числа, что делала. Вот так и терпела. Надо было и свою усадьбу пахать. В первую очередь шла навстречу тем, кто хорошо работал.

Стало полегче работать, да и привыкла ко всему. Была уже хозяйкой всего колхоза. А предсе-

датель сел на меня и ноги свесил. Он знал, что дело у меня идет. Сидит да шьет.

Да в то время и в Ленинграде не было ситцев. Там была очередь. Если где дают, то с ночи занимали очередь. И давали ситцу по десять метров в одни руки. Тогда мой муж, как выходной день, вставал в три часа ночи, занимал очередь в двух или трех магазинах, и получал по десять метров. Ну не того, какого хотел, а какой достанется. Вот и присылал посылки по пятьдесят или шестьдесят метров всякого – и фланели, и коленкора, и шерсти, и шелку, и батиста, и всякой ткани. Чего давали, то и брал. Так и все наши мужички стали присылать посылками.

А с керосином тоже плохо было. Присылали из Питера тарами. По сорок литров бутылки. Малой скоростью шло до Антропово, а там на лошадях ездили до дома. Мне муж прислал две бутылки по сорок литров. Ну, когда трактористы стали работать, то у них можно было купить. Ну, кое-кому они тоже не давали. Боялись, что докажут. Надо было язык крепко держать.

## **1936 год**

Помню, когда я была бригадиром, в 1936 году попал медведь в капкан. Сколь было страха, удивления, беготни. Это раз пошел старичок, лет восемьдесят ему было, за грибами. И с ним пошел мальчик лет четырнадцати, и по дороге в лесу их увидел медведь. Да как рывкнет! А старичок как

напугался, и даже авария получилась. Он пришел домой и заболел. И вскоре умер с испуга. А мальчик ничего, не так испугался. Прибежал в деревню, сказал, что медведь на Ивановском в капкан попал. Вот все забегали, как бы его посмотреть живого. Ведь живого не каждый видел. Все меня спрашивали отпустить. Я тогда пошла к председателю, объяснила. Он разрешил, пусть мол идут. А время-то было – горячая пора, август, лен таскали. Все и побежали, старые и малые. Как увидел их медведь, да как рявкнет, и все обратно. А как он затихнет, то опять к нему. И я тут же была. А у медведя нога в капкане, всю ногу-то сдавил. Только на жилах был капкан-то. Если бы жилы оторвал, то он бы ушел. Но ему было тяжело, капкан был тяжел. Мужики его убили, связали ноги, пихнули жердь и понесли в деревню. И дали весть охотнику. Когда охотник увез домой медведя, сварил часть мяса, привез мужикам медвежатины и самогона, а женщинам ведро меда. Моя дочь Аня была маленькая, ну, помнит, сколь из медведя вынули меда. Ей так казалось.

Пропустила, какие гулянья были. Бывало, в святки нарядаются наряженки, да по беседам и поедем, кто удалые-то были плясать да песни петь. Ну и почудили. Я была не плясунья. Зато я была за сваху. Мне шло. Одеть было что, пальто и шаль были хорошие. Вот всю неделю по беседам, все приходы объедем. И не лень было все ночи гулять по тридцать километров за вечер. А потом

по домам. А ребят-то своих в одну избу снесем к бабе Лизе нашей. Она всех на пол уложит спать повалкой. Да и вообще в деревне жить было веселее, чем в городе. В городе, куда ни пойдешь, везде деньги надо. А в деревне только не ленись. Всю зиму вечера, куда захочешь, туда и иди.

Ну, жизнь деревенскую сломали колхозы. Если бы не колхозы, то я никуда бы не уехала с родины. Как говорится пословица: «Живешь дома, береги честь рода. А на чужой стороне береги родину». В город или в чужую сторону уезжали те, кто-то чем-то обесславился. А кто живет по-человечески, он всех знает, и его все знают. И поэтому ему всегда ото всех хвала и уважение. Возьми сейчас пример. Вот и на заводе, кто все время работает на одном месте, ему тоже почет. А кто труженик, ему везде уважение. А лодырей никто не любит.

## **1937 год**

Вот стали колхозники к мужьям ездить на зиму в гости. Приедут да рассказывают, как хорошо-то в Ленинграде, какой Невский. Вот мы и думаем – неужели мы никогда не увидим, что такое за Невский. Все почти переездили, а мне все нельзя. И некому меня заменить.

В 1937 году я родила двойню, сына Александра и дочь Тоню. Ну, они мало жили, девять дней, и умерли оба в один день. Я была замучена работой. Весь колхоз на мне и дома все хозяйство. Я их месяц не доносила. Работы было очень много.

Была дурковатая. Надо было дать наряд рабочим, да и отдыхай. А я думала, все одна схвачу, и все мне надо было. А вот сейчас-то и вспоминаю, какая же я дура была, зачем так работала. Кого я удивила? А все на похвальбе была зато. Сейчас и сломалася, вот и села безо время. Кто работали через ножку, понемножку, тот и сейчас здоров.

Ребята мои еще малы. Коле десять лет, Ане семь лет, а Пете четыре года. Опишу о Пете. В четыре года он ходил один на повить писать, и в теми. Бывало, спросишь: «Ты куда?» И он скажет: «Писать», – и один в теми идет. Был такой не боязливый, молодец. А тоже рос смирный. Его все ребята забирали. Он никого и никогда не обижал.

Придешь, бывало, с работы, а они все меня ждут ужинать, да все и уснут. Ноги грязные, все переколоты до крови. А мне все некогда. И когда иду, ждут, как мама раздевается, то-то они радовались. Все на столе – хлеб, ложки, чашки. И кринки все по лавке расставлены, только корову дои. Корова была хорошая, много доила.

В 1937 году муж приехал в отпуск. Как раз я при нем и родила двойню. Он и хоронил их. Когда я родила, муж пошел к председателю, нет ли водки, надо угостить бабку-повитуху. И такой был стеснительный, что ему было стыдно сказать, что, мол, двое родились. А сказал, что жена сына родила. А жена председателя спросила, кого Дуняшка родила. Он сказал, что дочку. И шла конюх на конюшню, и спросила: кого бог дал?



Евдокия Константиновна.  
Ленинград, конец 1930-х  
*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

А он ответил: «Всего надавал». Ну не дурак ли был? Вот и гадали на деревне. Один говорит сына, вторая – дочку, а третья – всего бог надавал. И стесняются ко мне прийти, узнать, в чем дело. Ну, вся деревня всё узнала. Пошел муж в сельсовет и записал одного сына. А потом пошел к попу, окрестить надо, и говорит: «Батюшка, жена родила, приди окрестить, да двоих, хотя я записал одного в сельсовете. Можно будет?» – «Можно, можно», – говорит поп, и пришел поп на дом и окрестил. Попа угостили. Они тоже любили выпить. Так что этих ребят нет в живых. А то бы и сейчас вспоминали этот анекдот. Вот какой был у меня муж. А ведь не дурак. А какой стеснительный, хуже дурака.

И вот мне дали отпуск месяц. Пока нашли заместителя мне как бригадиру, осенью я стала проситься в Ленинград на 7 ноября. В колхозе все сработали, с полей убрали, и меня отпустили.

Поехала я к мужу в гости 4 ноября, приехала 5 на праздник. Мужу послала телеграмму. Ой, что было, не описать всего. Надела я зимнее пальто, у меня было на белом меху пальто. И мужу взяла зимнее пальто. Вот поезд-то подошел, да как свистнет, еще в Антропово. А я так назад и попятилась от страха подальше. Полезла я в вагон, а сумки-то тяжелые. Я на коленку-то встала на ступеньку-то, и никак не встать. И народ-то задерживаю. Кричат: «Полезай в вагон!» А я ни с места, не встать. Вот мне подали руку и подняли меня в вагон. А кто меня провожал, я не попрощалась, поезд уже пошел. Иду в вагоне и жду, где же сесть, смотрю, где свободное место, везде узко. Ну ладно, еду сутки. Вот говорят, скоро Ленинград. Да как я заволновалась, если муж не встретит, куда я пойду, не знаю. В одном вагоне столь народу, даже ума не хватило спросить. Ну вот одна старушка меня спросила: «А какой адрес, куда едешь?» Я сказала: «Апраксин переулок». Тогда она меня и успокоила. Говорит: «Не волнуйся, я тебя провожу».

Вот приехали, вышла из вагона. Всех встречают. А мой непутевый меня и не встретил. Вот так, спасибо этой старушке. Пошли мы с ней, она помогла, сдала я вещи в камеру хранения. И пошли пешком. Она жила на Фонтанке. Я ей помогла нести вещи.

А потом пошли к нам. Пришли к нашей комнате. Только стали стучать, вот муж-то и бежит, весь перепотел. А меня не встретил. Он был на вокзале. Сказали, что поезд опаздывает на столько-то часов. Он и пошел домой. А что бы посидеть на вокзале. А когда он пришел во второй раз, то поезд пришел раньше. И вот так получилось нескладно. Я уже на него рассердилась: «К лешему и с Питером». Настроение сломалось. Ну, поехали с ним за багажом. Я привезла большое ведро грибов, рыжиков да груздей. Да целого барана. Вот стали варить суп на плите. Пережгла я все руки, суп из кастрюли бежит, весь взвар сбежал. В деревне-то нет плит, а русская печка. Не надо тряпку прихватывать, а ухватом.

Ладно, пришел праздник. Пошла к брату в гости (Ивану Константиновичу). Брат жил на площади Труда. И прошли по набережной Невы. Пароходы стоят, все наряжены лампочками. Горит везде: 20 лет, 20 лет. Красота! Вот я и думаю: «Вот где рай-то да царствие небесное!» Не наглядеться. Как все хорошо!

Пришли к брату в гости. Поставили на стол селедочку, колбаски, картофеля немного. Пирога испекли, а пирог-то тоненький. Я взяла пирога кусок, когда выпили и закусили. А мне мало. Я второй взяла, мне тоже мало. А третий-то брать стыдно. И пошла я домой голодная. В деревне-то поставишь чашку студня, да мяса с картошкой, огурцов полную тарелку, грибов груздь к груздю

маленькие, да крупник<sup>30</sup> весь в масле. Накормишь хоть двадцать человек, а хлеба-то нарезали тоненько, раз кусил, и нет.

Пошли мы к другому брату. Там еще чище, совсем есть нечего, только выпить да закусить. Ну, мы из еды ничего не брали, а без пол-литра не ходили. Вот я опять голодная. Домой пришла и говорю: «Иди, купи булки, я есть хочу». А он говорит: «Ты же в гостях была?»

Потом пошли к соседке в гости. Она недавно приехала жить из деревни. Вот та ставит тарелку супа, картошки сковороду, огурцов и селедку, колбасы много и сыра. И хлеба нарезала не так, как блинчики. А нарезала сукроем<sup>31</sup>, по-деревенскому. Выпили, и она мне говорит: «Дуняшка, ешь, ты не стесняйся, а то ведь голодная будешь. Я, – говорит, – приехала первый раз и везде была голодная. Здесь мало едят, не как в деревне». А я тогда ей и говорю всю правду, что я была в трех гостях и везде не наедалась.

К нам стали приходиться соседи, ведь к Макарову женка приехала. Я ставила картофеля и тарелку грибов. Вот выпьют да прихваливают: «Вот грибки-то хороши». Да за неделю ведро-то и опиздячили, то есть съели. А когда барана варила, то придут, бывало, на кухню и говорят: «Да, мяско-то деревенское». И не один раз говорили. А я мужа

---

<sup>30</sup> Похлебка с крупой, каша.

<sup>31</sup> Большим ломтем во всю ковригу.

спросила: «А почему они знают, что мяско-то деревенское?» А муж сказал: «Поживешь и узнаешь, поймешь». Живу, варю. И когда мясо стало все, то я пошла в магазин за мясом. Плохого взять, подешевле, брезговаю, оно дохлое. А хорошее мясо – дорогое, денег жаль. Вот я и поняла, что такое мясо-то деревенское.

Мясо купи, картофеля, капусты, хлеба, все надо купить. А дома-то не надо покупать хлеб, картофель, мясо, грибы, огурцы, капусту, лук, да все свое, кроме сахара. Есть дак есть, а нет – и не надо. Мы привыкли к холодной воде и без сахара.

Поехали мы с мужем к сестре в гости, в Ивановское (к Пανε, она с мужем приехала из Костромской сюда жить под Ленинград). Муж взял меня под руку, а я: «Что ты? Зачем, мы ведь не молодые. На нас глядеть будут». И пошли так. И вот подошли к Московскому вокзалу, и гляжу, мужа нет, куда делся, не знаю. Спросила я одного, который на вид самостоятельный: «Как мне пройти на Московский вокзал?» Он мне сказал: «Зайдите слева». Я ему не поверила. Спрашиваю другого. То же самое отвечает: «Зайдите с Лиговки слева». И думаю, как бы обратно уехать в Апраксин двор. Где остановка, не знаю. И пошла я к милиционеру. А он мне машет рукой, не смей сюда ходить. А на площади Восстания ходили трамваи, по Лиговке и по Невскому, крест-накрест. И он махал, кому куда ехать. Вот я встала к столбу, где фонари-то горели да где я потерялась, и стою в сторонке от

народа. Вот муж и бежит, весь мокрый, пот с него градом льет. «Где ты была? Я весь вокзал обегал, все кассы, нигде тебя нет, сейчас поезд пойдет», – это он мне. А я ему: «Пошел ты к лешему! Я никуда не поеду, дай мне денег на трамвай». А он меня тащит, как пьяную, а я нейду. Ну, он был сильный, меня смог и утащил. Вот сели в вагон, я ни слова, молчу, и он молчит. Приехали к Пане в гости, выпили, и вот мой муж начал рассказывать, как мы ехали. Смеху было полно.

Я долго не понимала, как трамвай ходит. Мне все казалось, что в одну сторону. Вот я поехала одна на Красную улицу. Муж посадил меня на трамвай и сказал остановку, «Площадь Труда», и рассказал, как дальше идти до дома братки. Я приехала до этого места, слезла и пошла. Прихожу, а братова жена и спрашивает: «Ты одна?» Я ответила: «Одна». – «А как же ты нашла?» А я сказала: «Сестриченька, я по колоде». Когда я с мужем была, то мы стояли от ветра у той колоды, ждали трамвая. И она смеется: «Где же там колода? Я десять лет живу, а колоды не видела». А я ее уверяю, что колода крашеная, голубого цвета. Ну, я у их ночевала, а утром меня невестка пошла провожать. Подходим к остановке, и смотрю: «Ой! Сестриченька, это ж ларек, а там армяшка торгует шнурками, гуталином». Вот тебе и колода. Насмешила я всех.

Надоел мне Ленинград. Меня отпустили на три месяца, а я нажилась в один месяц. Как бы скорее домой. Дочь Аня ходила в школу и Коля. Как там

с ними Кока справляется. Провожай меня домой, говорю. И вот я пожила ноябрь и декабрь и больше не стала. Ходила я за капустой и облила рассолом пальто. Провались все, как мне было жаль его. И я собралась домой, написала письмо, что я еду. А ребята пишут: «Мама, тебя все ждут, хотят тебя в кладовщики сажать». Я спросила мужа: «Что же мне делать? Браться или нет?» И он сказал: «Сумеешь, берись, а не сумеешь, не берись. Ты сама больше знаешь». Вот так и думай сама. В Ленинграде меня ничего уже не интересовало, ни Невский, ничего. Да, раз пошли с мужем в кино, Чапаева смотрели. Как конница-то бежала прямо на нас, я как вцепилась в соседа. А муж сидел как-то слева, а я справа. Да как крикну. Ну и было тоже смеху досыта.

Я собралась домой 5 января 1938 года и приехала домой в самое Рождество, 7 января. И говорю себе, что я так соскучилась по ребятам, и нагости-лася, и насмешила, и хватит. И больше я никогда не поеду. У меня голова болела все время, пока я жила два месяца. Сплю и все спать хочу, и не высыпалась. И сказала мужу: «Вот вырастут ребята, бери их с собой и устраивай на работу, а ко мне будешь в отпуск ездить».

## **1938 год**

Где дети, там и материнское сердце. Приехала я домой, а снегу-то много. А в Питере снегу я не видела, жила в центре города, да на улице темно.

Приехала, радости полно. А рассказов, кто что рассказывает. Кока на ребят жалуется, что не слушались. А ребята на Коку, что она нас не кормила. Вот и разбери.

Как я прислала телеграмму, чтобы встречали, и сразу же назначили собрание к моему приезду. Я повела коня на конюшню, а мне уже сообщили, что тебя хотят выбирать в кладовщики. Я иду с конюшни, а меня уже караулят: зайди на собрание. Спросили, как погостила. Я не шла на собрание, говорю, что озябла с дороги. Ну, говорят, мы тебя не задержим. Только вопрос таков, хотим тебя выбрать в кладовщики. Я: «Нет, нет, я неграмотная, насижу себе тюрьму». А за столом сидят уполномоченный с района, агроном, председатель сельсовета и наш председатель колхоза. Ну, на меня не поглядели, что неграмотная, а выбрали на голосование. Все подняли руки, а которые обе руки. Я ни в какую, что я насижу беды. А мне в ответ: не пойдешь в тюрьму, мы тебе все доверяем, ты домой не понесешь, выбираем Макарову. Вот я иду домой, а соседка, рядом жили (тетя Паня, она сейчас на Невском живет), кричит Коке в окно: «Поздравляй свою невестку, в кладовщики выбрали». Кока заругалась: «Ты никогда дома не живешь».

А чтоб ей жить со мной, – нет, не хочу в колхозе. Конечно, я жила хорошо, муж присылал много, и я взялась в кладовой работать. Вот, с меня бригадирство сняли. А кладовые принимала, будто

кладовщик хлеба унес, и клеть была не заперта. Вот по этой причине и сняли, пока я в Ленинграде была. Начала я работать, боялась, как бы все было правильно и все точно. А потом вошла в такое доверие, вези хоть воз хлеба. Ну, я не брала. Я была и так сыта и одета. Работала честно. Ну, колхозников не обижала, кому есть за что. И кладовщиком мне лучше нравилось, много спокойнее. Только переживала, чтоб мышей не впустить, да сырой хлеб не загорелся бы. А бригадир – это собачья должность.

Все стали лучше жить. И беседы справляла молодежь. И праздники делали хорошие. У нас праздник был Введенъев день, 4 декабря, и Спас Преображенья 19 августа. И за ягодами ходили, и песен много пели. Вот, помню, такую пели, когда пошли колхозы:

В колхоз пошла, юбка новая.  
Из колхоза пошла, жопа голая.

Всё колхозы, всё колхозы, записались все в колхоз,  
А осталось от колхоза не пришей собаке хвост.

Я иду мимо колхоза, а колхозники сидят,  
Они острыми зубами кобылятину едят.

Шла корова из колхоза, задери Арина нос.  
Отрубите хвост по жопу, не пойду больше в колхоз.

Бога нет, царя не надо, всех угодников в кабак,  
Приезжала Божья мать дезертиров забирать.

И вот пришло лето. Нового бригадира выбрали. Она считать умела, но лодырь страшная. Спала, уже когда колхозники разбудят. Все стали недовольные. Когда яровую отсеялись, и меня опять в бригадиры стали просить до осени, до нового урожая.

Вот куда мне было, трудно трудодни девать. Тридцать трудодней кладовщик, да тридцать трудодней бригадир. Если бы были золовки дома, только бы пришли да ушли<sup>32</sup>. Я же перерабатывала. Все косят, и я косила. Я взяла и бригадирство. Еще надо было кого-то выбирать заведующим фермы. А у нас еще мало было скота, овцы, коровы, нетеля. И опять меня выбирают. И вот как-то пришла повестка в сельсовет явиться на собрание председателю колхоза, бригадиру, кладовщику и заведующей фермы. И я пошла с председателем колхоза Осокиным. Пришли, сели, нас записывают: колхоз Жданов, председатель здесь? Да, здесь, Осокин. Бригадир здесь? Здесь. Фамилия? Макарова. Кладовщик здесь? Здесь. Фамилия? Макарова. Заведующий фермой здесь? Здесь. Фамилия? Макарова. А секретарем собрания был Михаил Антипанов, он и говорит: «Так что же ты, Осокин, весь колхоз на Макарову взвалил?» А он: «Да, я бы и печать отдал, да не берет!» Вот так все и было.

Сколь надо было пережить. Я ходила нарядная, муж прислал мне очень много кофт да свитер шерстяной. Я на каждое собрание одевала новое.

---

<sup>32</sup> Фраза не вполне понятная.



Колхозники колхоза им. Жданова. Послевоенный снимок  
Из архива Петровской библиотеки, село Введенское  
Костромской области

Ну, было зло и ненависть. Кто-то жалел меня, что сирота. Бог счастья дал, муж хороший. А кто-то другое творил. Раз я развешала белье на мороз зимой, и много белья перерезали. И у тети Пани тоже (которая сейчас живет на Невском). Ну, у нее-то разрезали, что не нужно ей было. А я так думаю и сейчас, это она сделала. Она такая завидующая, только бы было у нее.

В 1938 году я родила дочь, Тоней звали. Очень была девочка хорошая, лучше всех. А почему лучше? Дак вот почему – она была у меня седьмая дочь. И такая была ненаглядная и умная. И как на ту участь росла, что мало проживет. И мне старухи говаривали – будет ли жить, больно у нее ум не по возрасту. Она умерла по третьему году. Она простыла. У нее было воспаление легких. Я ее сво-

зила в больницу, ничего не признали. А на завтра в сутки она умерла.

Да, по правде сказать, я была большая дура. Не умела ценить мужа, не умела беречь детей и не сумела сберечь свое здоровье. А сейчас и хорошая жизнь, да все поздно. Всегда было некогда, все бегом. Зачем надо было весь колхоз держать? Лучше бы было лишний час дома уделить с ребятами. Шила все по ночам. Днем в обед скрою, а ночью сошью. Не только себе, и людям шила. Тоже Христом богом просили сшить.

### **1939 год**

Наш председатель задумал уехать в Ленинград. Документы выправил, все в порядке. А из колхоза никого не отпускали. Ну, тут все было сделано. И вот сделали собрание. И что же? Опять меня выбрали в председатели, опять все на голосование, единогласно прошла. Назначили другого кладовщика. Завтра делать ревизию.

Подали мне печать и чековую книжку.

Я иду домой, а Коке уже сообщили, вот, мол, еще повысили должность. Я пришла домой, а Кока говорит: «Что ты делаешь? Такие дети малые, ты насидишь тюрьму и ребят оставишь». Правда, сажали в тюрьму, но за какую-то причину, а я ведь честно работала. И вот, я ночь ночевала председателем колхоза. Пришла утром в правление, там меня уже ждали. Я и говорю: «Вот вам печать и чековая книжка. Я работать не буду, у меня четверо детей

и золовка уходит от меня. Я не могу ездить в район». А председателя часто вызывали в район. Вот так и не стала председателем и работала кладовщиком.

Бригадира нашли и заведующую фермой тоже нашли. У меня стала одна должность. Да ведь и незаконно – кладовщик и бригадир вместе. Этого не должно быть.

Ребята подрастали. Коля ходил в школу и Аня. А Петю с Тонюшкой оставляла. Няньку я не нанимала. Скотина была – корова, и овец было много. Налоги также платили: молоко, мясо, яички, картофель, шерсть с овцы и ягнят, и облигации навешивали. Придут с района, и сидим день на собрании. Никто не подписывается, денег нет. Налог самообложения, страховка да еще облигации. Очень трудно было. Ну, как налог на молоко, так всех тяжелее. От малых детей отдай все молоко, а чем ребят кормить? Ведь надо было отдать триста литров, да на жирность еще сотню. Очень тяжело жилось тем, у кого не было промышленника<sup>33</sup> в доме.

В колхозе стало хуже. Поставили председателем другую, но ненадежную. Она была рада, что ее выбрали. У нее тоже было двое детей. Она их оставляла одних и ехала, куда ей было надо, где по делу, где не по делу. Где питерщиков<sup>34</sup> привезет, все копейку заработает. Лентяйка хорошая была. Не годилась она на эту работу. Немного она

---

<sup>33</sup> В устаревшем значении: человек, занимающийся каким-либо ремеслом, промыслом.

<sup>34</sup> Здесь: людей, занимающихся отхожим промыслом.

и посидела, ее сняли. Поставили вторую женщину. А мужики все до выгреба<sup>35</sup> уехали в Ленинград. И колхоз стал рухнуть, рабочая сила разъехалась.

## 1940 год

Вот новое постановление прислали. У кого маленькая деревня, то идет на снос. Чтобы было не менее пятнадцати домов. Не знали, что и придумать. И вот наша деревня Игнатово пошла на снос, у нас всего было шесть дворов, да и деревня в стороне. И вот одна уехала к племяннице жить, вторая к дочери, третья к сестре, а двое в Ленинград, у них было по одному ребенку. А я сама пятая. Куда поедешь? Я лето прожила дома. Одна в деревне жила.

Ко мне тогда воры лезли. Ну, запоры были очень крепкие. Лезли во двор. Я услышала шорох ненормальный и думала, корова, может, рогами в яслях засела. Зажгла фонарь – и на двор. Корова лежит, все тихо. Только снова легла, слышу опять шорох. Тогда я опять пошла в горницу на повить. Взяла два чемодана хорошего и поставила на полаты. Я чувствую – кто-то лезет, у меня и сон пропал. Время было двенадцать ночи. А топор был в избе. Если полезут в окно, думаю, буду топором по рукам рубить. Опять легла, а уже не уснуть, сон пропал. В окошко боюсь глядеть. И вот они во двор не попали, и пришли к избе за лестницей и стали лестницу брать. А муж мой лестницу-то

---

<sup>35</sup> До последнего человека.

прибил гвоздями к крыше, чтобы ребята не уронили. Вот они как дернули лестницу-то, так простенок и затрясся. Тогда я встала, огонь зажгла во весь свет, и сама от окошка подальше. Кто знает, может, с ружьем. Так и ушли, не влезли. А ведь слыхом земля полнится, что, мол, хорошо живет, да и кладовщик, мол, всего есть.

На другой день утром ко мне заходит наша колхозница и говорит: «Дуняшка, ты жива? Ведь Шурку-то мою обокрали». А ее Шурка жила от меня в одном километре от деревни. И дом ее был с краю. И у ей открыли двор и увели корову. И она с печки увидела, как они фонариком осветили. И она из окошка выскочила, да в деревню. А погода-то была, немножко снежку напорошило. Ну, корову нашли.

Напугали меня очень. После этого я не спала две ночи, а на третью ночь так уснула, хоть по бревну разбери весь дом. Мне стало боязно, ребята малы были. Я стала переезжать в деревню, в пустой дом, хозяева уехали в Ленинград. А переехали опять в Алешково. Дом был неустроенный. Тогда я стала мужу писать – надо еще покупать дом в деревне. А он мне пишет, что все надоело, сколь можно строиться. Приеду и увезу в Ленинград. А в Ленинграде с жильем было плохо, и он устроился под Ленинградом в колхоз, где жила моя сестра Паня. Как Тонюшку похоронила, у меня осталось трое детей, и все уже большие, четырнадцать лет, одиннадцать лет и семь лет.

## 1941 год

Вот я и отжила. Приехал муж домой и говорит: «Поедем в Ивановское (под Ленинград) к сестре Пανε». Как у меня сердце заболело, чего с собой-то брать. Всего-то ведь не взять. Продали корову и овец. Свезла я два воза к тетушке, воз хлеба и воз добра на сохранение, а домашнюю посуду соседу пока. С собой взяла чемодан нешитого. Подошла я к сундуку и стою и говорю: «Не знаю, что делать. От одного берега отстану, а как к другому пристану. Сердце так болит. Ведь я дома-то всему хозяйка, и в колхозе. А как я там буду? Я дома-то умею жить, а там я не умею». А муж и говорит: «Ну чего бояться? На деле покажет, научишься и там».

Вот поехали в феврале месяце 1941 года. Ну, у сестры было две комнаты маленькие. И думали так, что возьмем лесу и поставим дом вместе, и строить на два хода. А жизнь-то по-другому. Взошла я в колхоз, меня сразу взяли, документы у меня хорошие.

Отработала я три месяца – и война. Вот и вся моя жизнь кончилась. Надо бы сразу домой ехать, а я думаю, пособиру урожай-то и уеду. Мне в Ивановском не нравилось. Все куплено, хлеб и картофель. А коровы-то не было. Деньги шли как вода, а нас пять человек. А в колхоз пришла я новенькая. Куда хуже, где тяжелее, там меня и посылали. Я была очень здоровая, мне было тридцать

четыре года. Я была в силе, и никакое дело из рук не валилось.

Как посеяли яровую, все посадили огурцы, и 15 июня поехали гулять в Ленинград. Хороших работников отобрали и всем премию дали. Вот пошли сразу в кино, потом в ресторан. А вечером в театр, в Пушкинский. Я гуляла одна без мужа. Ему тоже дали билет, а потом отобрали. Один партийный был, а ему не дали билета. Так что правды не было и нет, и никогда не будет. Так и я приехала новенькая. Колхоз был овощной, расценки я не знаю, работала на благо святых. Вот, 15 июня отгуляли, а 22 июня война. Очень глупо я сделала. Надо бы сразу ехать домой. И сын был бы жив. А я сразу не поехала, а потом ребята заболели, Петя и у сестры дети. Какой-то черной оспой. И всех их увезли в Боткинские бараки, в заразное. За день до прихода немцев Петю и Миньку (сестрин сын с 1929 года) домой привезли. А Лиду и Тамару (младшие сестрины дочери) оставили на два дня, и так их и не привезли.

Пока не было немца, то пригнали к нам солдат урожай собирать. Все начальство сбежалось: копайте картофель и морковь, снабжайте Ленинград. Я была бригадиром. Как бригадира взяли на фронт, так меня и поставили. 27 августа очень много тонн сдали и погрузили на баржи. А нас хотели увезти на барже 30 августа.

А 28 августа немец захватил наше село. И остались мы в плену, никуда нам не уехать. Пришла

беда – мужа ранили. Он был на оборонных работах. Снаряд разорвался на поле. Их стояло девять человек, кого насмерть, кого ранило. Вот его ранило в ногу и в лицо.

Когда немец пришел, мы все в подпол забрались. И боимся вылезать, что сейчас всех перестреляют. А потом один из ребят вылез и поглядел в окно. А там наши колхозники стоят и с немцем разговаривают. Им переводчик рассказывает: «Идите в лес на три дня. Через три дня Ленинград возьмем, и все домой придете. И будете жить по-новому. Мясо, молоко, яйца не будете платить Сталину, все будет хорошо».

А мы в лес не пошли, а на Неву. На Неве стояли штабеля с тесом. Мы там сидели двое суток. Сидим под тесом и глядим, как горели катера. И подошел пассажирский пароход. Кто шел в Ивановское, того не били. А кто поплыл через Неву, тех стали убивать. Четыре катера сожгли. А потом в пороги зашел большой пароход и не дошел до пристани, завернул обратно. Не знаем, его расстреляли или нет.

И вот, после двух суток мы пришли домой. А к нашему дому подъехала машина. Да как из-за Невы наши стали стрелять из пушек, мы опять все под пол. А нас было десять человек, я пятая, и сестра тоже пятая. Как дал снаряд в простенок, так и пробил его. А нас всех пылью засыпало, не вздохнуть. А как еще дал снаряд, да прямо в сарай. Панину корову убило, так на части и разлетелась. А мой

сарай цел остался, и корова цела. Вот как бой затих, мы сразу пошли в лес. А ведь так напуганы, все стали как ненормальные. Всего боимся, вот сейчас убьют. Взяли корову на веревку и повели в лес. Еще взяли ведро, кастрюлю, чашку и всем по ложке, топор и одеяло. И на всех надела новую одежду и новые сапоги. Пошли в лес 1 сентября 1941 года. Еще взяла мешок нешитого и стали его менять на жмых, на картофель. В лесу сидели и ждали, когда Ленинград возьмут.

А когда пошли мы в лес, то нас из-за Невы заметили да по нам стали бить. Как снаряд разорвался, так меня и корову прямо в канаву отбросило, и корова на меня упала, и все лежим. А второй снаряд не упал на это место, а вперед на несколько метров. Примерно метра четыре или пять, не больше. И вот пять снарядов подряд разорвались, и больше не стали бить. Мы встали и пошли. В лесу там столь наделано окопов, весь лес изрыт. Да все строевым лесом, да два ряда накат, чтобы снарядом не пробило. И мы стали копать окоп. Сидим в окопе и ждем у моря погоды. Тоже дураков было много. Кто умный-то, сразу ехали дальше в тыл от фронта. А мы сидим. Утром бою нет, мы бежим на поле за картофелем. Накопаем, сколь унести, да опять в лес. А вещи мы все спустили в подпол и закрыли. А шкаф я повернула зеркалом к стене. Так и сестра сделала. Все вещи, и обувь, и посуду, и кровати – все спустили в яму. Яма-то большая, картофель хранили по зимам. И вот наше поле все

прокопали за неделю. И капусту и морковь. Все выкопали.

А сколь было населения, что осталось за немцем... Отрадное, поселок, было десять тысяч население, да Пелла, да и Ивановское. И все на наше поле. Многие-то работали в Ленинграде, а жили здесь и кормились городом. Когда я пошла в лес, поросенка оставила дома. Дала ему корму, думаю, посидит дня два, а потом зарежем. Да и соли-то нет, тепло. Вот иду утром, он кричит. И опять надавала ему корму, и опять в лес. И говорю мужу: надо завтра резать. А куда мясо-то девать? Ничего нет, ни соли, ни кадки. Вот идем домой, а уж поросенок не кричит и сарай открыт. Немцы его зарезали. Мне и говорят, что живым его тащили по большаку.

А когда собирались мы в лес, то я закопала картофеля в яму восемь мешков со своей усадьбы. И ту нашли и вырыли. И мы остались безо всего. Живем в лесу день, неделю, месяц, а Ленинград все еще не взяли. А наше село каждый день все горит и горит. И за месяц все село сгорело. Прожили в лесу два месяца, сентябрь и октябрь. Окопы были хорошие, ну, стало холодно.

А наши солдаты остались в лесу, в плен не сдавались, а к нашим им не попасть. Придут к нашим окопам, дадим картофеля и говорим: ребята, только у окопов не находитесь, а то нас всех убьют. Вот они стали убивать немцев. А немец обозлел. И нас всех из леса выгнал, чтобы за два часа очистить лес.

И приказали нам всем на торфоразработки в бараки уходить. Мужиков забрали на работу, а я осталася с ребятами. Мужа взяли, хотя и ранен был. И вот я и домучилася перевозить вещи. Да сын Коля помогал. И оставить жаль, и нести силы нет. Я отнесу сто метров да вернуся за другими вещами. У одних узлов Аня сидит, а у других Петя. Вот так и таскала, и весь день с утра до ночи. Кто раньше пришли на поселок, тот занял место получше. А нам что осталося? Не было ни одного стекла. Стали торфом все стекла закладывать. А плита-то была. Стали топить и варить картофель, все есть хотим. А хлеба два месяца не видели куска. Да вот и картофеля не стало. Осталася на поле хряпа из капусты, и ту стали собирать. И той не стало. Стала я ходить менять вещи на картофель, километров за двадцать. Шапки да Нечерпит<sup>36</sup>, Жожжино<sup>37</sup>, Кирсино – вот эти деревни были сытые. Они урожай сами собрали и себе. А нас с Ивановского много, и все пошли менять. И там не стали нам менять.

Узнали мы бойню немецкую, где лошади были убиты, где и сдохли. Вот мы конину стали есть. А в тыл ехать – закрыли проезд, нас не пропускали. Немец нам ничего не помогал, а все отбирал. У многих отобрал коров, еще в лесу жили. А я как на поселок пришла, так у всех отобрал коров. И у

---

<sup>36</sup> Ныне не существующая деревня Нечеперьть.

<sup>37</sup> Видимо, Жоржино.

меня отобрали. Ну, был староста, ему доверили резать. Вообще не знаю, может, сам староста и взял корову. Мы ее увели в лес, и он ее зарезал. И мне дал немного мяса. Вот тут-то, без коровы, стало голодно.

А моя сестра Паня все жила в Ивановском. Там сделали окопы, и много семей жили. Ну, когда все село сожгли, то она стала проситься к нам на поселок. Я приехала к ней на саночках, снегу уже накутило. Положили ее вещи и повезли. У нее было при себе трое детей, сыну одиннадцатый год, да сыну два года и девочке два месяца. А две девочки остались в Ленинграде, семь лет и три года. Когда ее везли, мы свои саночки довели до дома. А муж ее, Михаил, не смог везти. Оставил все на дороге и пошел напорожняк. У него признавали язву, и он на фронт был не взят, у него был белый билет.

Когда все были дома, Паня говорит: «Надо завтра сходить за остальными вещами, что на дороге оставлены». Ну, договорились все помочь. Нас в комнате жили двенадцать человек, а комната была пятнадцать метров. Утром встали. Я проснулась первая и говорю Пани: «Я очень плохой сон видела, всё к покойнику, а мне слезы. Сегодня пятница и праздник, Михайлов день». Это было 21 ноября 1941 года. Я боялась бомбежки. От снаряда можно спастись, ну от бомбы не спасешься. И сердце так и ныло. Даже так, как будто сейчас что-то случится. И за полчаса до расстрела сестра и говорит мне: «Расскажи мне сон еще раз». Я рас-

сказала, она мне и говорит: «Твой сон такой: меня убьют, а ты будешь плакать. У меня, – она говорила, – так сердце болит, мне войну не пережить». Вот ее слова последние. Перед самым расстрелом она сказала.

А я такой видела сон. Стою я под горой у худой ржи. И летят немецкие самолеты, и с таким визгом. Я испугалась и упала в эту рожь. И лежала до тех пор, когда они пролетят. Когда самолеты пролетели, тогда я встала и пошла в эту гору. Взошла я на гору и гляжу, как наехало народу на наше колхозное поле. Пашут, сеют и боронят, и так быстро заборонили. И подходят ко мне два немца. А я им и говорю: «Ах, батюшки, что это делают, все наше поле запахали. Куда же наши колхозники поедут». А немец мне и говорит: «Куда хотят, туда и едут, раз не подчинились закону». А я им говорю: «Возьмите меня в колхоз». А немец сказал: «Иди». Потом меня немец и спрашивает: «Который час?» Тогда я вижу, у меня на груди золотые часы. Я открыла часы и говорю: «Одиннадцать часов». Потом я вижу – у меня на правой руке золотой браслет, и я проснулась. И сразу же рассказываю сон. А сон был на пятницу и в Михайлов день. А праздничный сон сбывается до обеда. Я и говорю: «Идешь в гору – к горю. Рожь – это ложь. Пашут, сеют и боронят – это к покойнику. Золото – к слезам». А одна говорит, Стешей звали женщину: «Я снам не верю никаким, наедемся конины, мол, всего наспится, пойдемте».

Ну, раз чужая идет, а как же я не пойду помочь родной сестре, и пошли. Ну, сердце разрывалось. А я сказала Коле: «Не ходи ты, я одна пойду». А он мне сказал: «Нет, мама, я когда с тобой, то у меня и сердце спокойнее. А когда я один, то нигде места не нахожу». Вот и пошли пять человек из комнаты: я, Коля, Паня и Стеша с племянницей. И на улицу вышли еще пять человек, они пошли с нами. Пришли мы в деревню Захожье, на улице ни души нет. Одна женщина говорит нам с крыльца: «Куда вы идете, нельзя ходить. Немцы злые, партизаны убили двух немцев ночью». А приказ был таков, за каждого убитого немца расстрелять десять человек русских. Ну, расстреливали до этого мужчин, а женщин и детей не стреляли. Ну, мы пошли. И тут как тут немцы. И они стали по нам стрелять. Паню, сестру, первую убили, она впереди шла. Только сказала: «Дунюшка, прости, я убита, милые мои деточки, остались вы несчастные». И больше я ее не слышала. Сразу все упали. Второго Колю: «Мама, я убит. Мама, спасайся ты, у тебя Нюшка с Петей есть!» А я обняла его да и говорю: «Коленька, поползем в канаву, я тебе рану-то перевяжу». И как еще пуля в него попала и мне в руку (а нас били разрывными пулями), он повернулся вверх лицом, а у него и губы посинели. И говорит: «Мама, мне пять минут осталось жить, ты-то спасайся». А пули летели без остановки. Одна говорит: «Дуня, я убита». Вторая тоже: «Дуня, я убита». Как будто все со мной прощались, что я останусь жива. И потом в меня

еще пуля, прямо в живот, – пчик! И я сразу же схватилась, тру рукой. А ничего не больно и крови нет, а стукнуло. И я поползла в канаву. Перекрестилась и говорю: «Михаил Архангел, должна я по сну жива остаться». И лежу. Потом подняла голову и гляжу, одна раненая женщина сидит, а к ней идут два немца. И она их просит: «Убейте меня и моих детей». У ней была девочка грудная, три месяца. А вторая пять лет. Эта девочка подбежала ко мне. Ее ранили в руку, все пальто разорвало в плече, и из рукава-то кровь льется. А у матери пуля в спине. Потом немцы подходят ко мне, а у меня тоже из руки кровь льет. И немец не стал эту женщину убивать и меня. И погнали нас в лес по дороге: «Идите, мама». А я прошу: «Пустите меня, там сын». Не пускают меня. Я опять прошу: «Сын, сестра, пустите». А они: «Нихс понимаем, капут». Так меня и не пустили. И повернул меня немец назад, да как даст под зад коленкой, да и выстрелил вверх, если ты, мол, не понимаешь его слов. И подходит ко мне эта раненая женщина, вся черная. Я и говорю: «Шура, ты вся черная». И она мне тоже говорит: «И ты вся черная». Я завязала руку и взяла ее ребенка. А она едва шла, и девочка шла.

Пришли мы в Ивановское двое, остальных всех убило. Я повела ее в больницу, на Пеллу, и говорим: «Нас немцы стреляли и нас выгнали». Потом стоим на улице, подходят к нам русские. Глядят на нас: в чем дело? Мы рассказали. И нам они и посоветовали: вы идите во вторую больницу, указали куда,

да не говорите, что немцы вас били, а говорите – партизаны вас били. Мы так и сделали. Пришли, сказали, что нас партизаны били. Ее взяли, а я пошла. А что бы спросить, с какого она года и где жила? Ничего не спросила, и ума не было. И сама жить не думала. Жива ли она, ничего я о ней не знаю. Муж у нее был на фронте, и у нее была рация, которая все слышит. Это попало к немцам.

Я пришла в Ивановское, там жили в окопах. Я была голодная. Как говорится пословица, что горе горюй, а хлеба не минуй. Дали мне кусок жмыха да картофину. Я легла спать. Только глаза закрою, и мне уже снится – идут Паня и Коля. Я сразу же вскакивала и пугала хозяев, где я спала. Только опять засну и опять вижу: Коля ко мне подходит и говорит: «Мама, не плачь, меня врач хорошо лечит, все раны заживают». И так очень мне часто снился: «Мама, не плачь, мне хорошо». А я по ним три года глаз не осушивала.

Пошла я искать переводчика. Где-то живет в окопе, сказали. Иду я по селу, а дома-то все сожжены, одна Нева. И меня через Неву-то видят наши. Да как начали в меня стрелять, по обе стороны пули летят. А я иду. Вот мне и кричат: «Куда идешь? Нельзя туда идти». Ну, я все же нашла переводчика. Он мне сказал, что скоро будут выселять из Ивановского всех, поживи. И вот через день приходит староста, немец и переводчик, и говорят: «Послезавтра в девять утра всем быть на станции Пелла». Это как раз пятница. Вот я жду. Когда была

голодная и в таком горе, и никто ничего не давал. А как сказали, что всех выселять будут, то у всех и всего много оказалось. Они награбили вещей и продуктов и на зиму обеспечились. Говорят: «Возьми у нас чего надо». А мне ничего не надо, только картофину, голод заморить. Мясо предлагали, я ничего не взяла. Да я правильно и сделала. Шла так, пустая. Рука у меня болела.

Когда все повезли на санках до станции Пелла, то столь мешков грузили, да еще верты-вались. Думали, их повезут на поезде, а их пешком, да лесом. Саночки ломаются. Вот одна женщина положила на санки четыре мешка добра, а саночки сломались. И она взяла на плечи один мешок и пошла, а это оставила. А сзади шла немецкая лошадь, и немец подбирал вещи. Как там дальше, отдадут ли или нет, я уже не знаю. Я дошла до той деревни, где нас расстреливали немцы. Сделали перекур. А шли так: десять человек и один немец. И вот, когда остановились посередь деревни, и я сразу же отошла в сторону, как будто дорогу перешла. Меня и не заметили, никто не крикнул. Так я сразу в сторону. Тут стояли женщины, я заплакала, спросила, как там лежат тела, хоть бы захоронить. А мне и говорят, в тот же день всех зарыли в одну яму, но могилу не сделали, так разровняли. Ну, я боялась сходить, надо бы посмотреть, где и как зарыты. Пристрелят и меня. Я пошла домой к ребятам. Прихожу, ровно неделя прошла, в пятницу расстреляли, и в

пятницу я пришла. Ребята мои грязные, неумытые, и полная голова вшей.

Как они плакали от радости. А им сказали, что кто-то жив остался, а кто, не знают. Вот старухи гадали на картах. На меня закинут карты, все дорога да слезы. А как на Паню забросят, то все красная масть. И сказали мужу, что жену и сына расстреляли. И он рехнулся умом и здоровьем. Когда я пришла к нему, он смотрит и не может в себя взойти. Да как заплачет: «Как, ты пришла? Как, ты осталась жива! Мне сказали, что тебя убили». Я плачу по Коле, и он плачет, рад, что я жива. Меня уговаривает, что у нас Нюша есть да Петя. Что же поделаешь, нам бы их спасти. Если бы ты не пришла, то мы бы все погибли. И так он похудал, одни кости у него были, и волосы из головы все вылезли.

А моим ребятам предложили соседи, которые там на поселке жили. Мы их не знали и они нас, чужие. Они и говорят им: «Мы вас будем кормить и менять ваши вещи». А Аня не согласилась, все ждала, может, мама приедет. И вот я поехала на саночках менять вещи на картофель. У меня мешок был нешитого. Я меняла и кормилась с детьми. И мужу носила передачу. Их плохо кормили. А потом взяла я костюм мужа и понесла к коменданту, чтобы отпустили мужа домой. А он: «Не гут, не гут». Тогда я взяла десять метров фланели, говорят, что немцы любят теплое, и пошла, подаю. И он говорит: «Гут, гут». А потом переводчик

сказал, что скоро будет комиссия, здоровым пайка прибавят, а слабых будут отпускать домой.

И вот я иду через день, подхожу к тому дому, где они жили, а его и ведут два товарища. Он не мог идти. Я его едва довела. Он был в галошах, а валенки не влезали, все ноги распухли. А идти четыре километра, где я жила. Привела его домой, накормила, вымыла. А у него все тело в коростах. В войну у многих была чесотка, а у нас пока не было. Я ко врачу, а врач был старостой на поселке. Я ему снесла десять метров коленкору, чтобы чего бы дал полечить мужа. Он взял и дал растирание. Ну и сидел муж дома, а я все ездила на саночках менять вещи на конину. Картофеля не стало, а конины можно было достать. Была немецкая бойня в Нечеперти, деревня. Там и дохлые лошади, и раненые. Один раз поехала я со старостой, и он хорошо по-немецки говорил. И нам дали целую лошадь дохлую. Лежала она в какой-то избе. Вот я со старостой давай шкуру снимать и рубить. Он-то взял мягкое место, задние ляжки. А мне сказал: «Забирай все». Ну, я и нагрузила санки, едва довезла. Голову и ноги и шкуру оставила, не довезти. И вот, когда привезла я столь конины, все завидовали на поселке, как она достала столь много.

И стал народ умирать от голода. Каждый день хоронили. И мой зять, Панин муж Михаил, тоже похоронил, девочке три месяца было. Ну, эта-то была мала. А Борису три года, здоровый был

парень. Он мог бы его спасти. А Минька остался, ему было одиннадцать лет. Вот он забрал хорошие вещи, что мог везти на саночках, и поехал в тыл. А я осталась на поселке. У меня муж был болен, не могла я ехать. А зять Михаил голода не видел. Он жил в Ивановском, и у него яма с картофелем была целая. И они досыта ели картофель и вещи не меняли. А у Пани было два пальто хороших, и у него тоже два пальто и другие вещи.

### **1942 год**

Я уже все-все вещи променяла, осталось барахло. И конины не стало. Стали шкуры из снега выгребать и резать их кусками. И потом палили и варили. Такая студень крепкая получалась, хоть в стену бей и не разлетится. И горячую ели. Я достала шесть лошадиных шкур. За одну шкуру отдала сапоги с галошами. Не давали нам даром-то шкур. Мы выгребли из снега их, а староста пришел и говорит: не смейте даром брать (этому старосте в преисподнюю попасть), и мы брали шкуры за вещи. За вторую шкуру я отдала кофту ватную, а за третью – шесть метров ситца. За четвертую четыре метра сатину, а за пятую кольцо золотое. Хоть оно тоненькое было, ну не за шкуру бы его отдать. А одна шкура даром досталась.

Приходит и мне конец. Сколь я была ни сильная, и то сдалась. Стали ноги пухнуть. А в тыл никого не пропускали. Вот и стали умирать семьями. Вещи все проели. А немец никаких мер не

принимает, либо вывез бы из поселка, или бы дал работы да паек хлеба.

И вот 1 марта 1942 года разрешили выезжать, а на станцию Саблино не пускали, там патрули стояли. И вот 10 марта разрешили, мы тронулись в тыл. Сколотил муж саночки, положили ведро, кастрюлю, чашку, топор, одеяло, немного белья и пошли в путь. Прошли в первый день двенадцать километров, а во второй день четыре. И мой муж умирает, больше идти не может. Он тоже стал пухнуть. Я стала проситься к людям ночевать, что мой муж не может идти. А меня не пускают. Говорит женщина: «Нет, я не пушу, он помрет, что я буду делать, идите дальше». Пришлось проситься в другой дом. Купила я ему молока литр – отдала комбине<sup>38</sup>. А за деньги купить молоко, то стоило тридцать рублей литр. А где, у нас таких денег нет. Вот и шли мы каждый день по десять километров да по восемь. Прошли мы от поселка семь дней, и спрашиваю, далеко ли мы отошли от Ленинграда. А нам говорят, шестьдесят километров. Оказывается, мы шли кругом Ленинграда. Наша деревня с Московского вокзала. А мы вышли, где идет дорога с Варшавского вокзала. А ведь не знаем, куда идем. И вот станция, помню, Гатчина, помню, Сиверская, Дивинская, Луга. Это все пешком шли.

А потом нас с большака прогнали немцы. Очень много лежало мертвых, то парень молодой, то мать

---

<sup>38</sup> Видимо, комбинация.

с двоими детьми сидит и обоих обняла и замерзла. Так нам и не разрешили идти по большаку. И вот прошли мы Лугу, и нас влево погнали, идем влево. У нас стали подорожники к концу. Это я в дорогу напекла котлет из жмыха да конины. Кости-то дома оглодали. А из мяса-то котлет наделала. Было полное ведро и кастрюля. Спрашивают нас: куда едете? А мы не знаем, куда глаза глядят. Только бы до деревни доехать на ночлег. Деревни стали друг от друга рядом. Большаком когда шли, то деревень не было близко. А по проселочным дорогам деревни стали чаще. Харчи наши все вышли. Пошли мы по миру. Я везу саночки, а Аня с Петей по одной стороне деревни, а муж по другой стороне. Вот как проедем деревню, а за деревней отдыхаем.

Кому чего-нибудь дадут. Муж был очень плох, ему подавали. У него была палка с него ростом. Он без палки не мог идти. Его палка поддерживала. Я раз обозлела на него: «Хоть бы ты пошибче шел, видишь, как мы голодуем». А все говорили, что за Дно уедете, там лучше будет. А нам до Дна-то не добраться, совсем голод. На ночлеге я продала его свитер шерстяной за кастрюлю картофеля. И тут же съели. Вот он мне и говорит: «Если бы ты такая была, я бы тебя положил на санки и повез. И тебя бы я не оскорбил. А ты меня оскорбила. Оставь меня и поезжай. Мне только надо два метра». А я сказала: «Как я тебя оставлю живого на дороге. Сына на дороге оставила и тебя тоже? Пока жив, пойдем».

И вот как деревню пройдем, отдыхаем. Вшей в голове у всех полно. Погода-то хорошая, март. Дни длинные стали. Как отдыхать, так и вшей искать. Сначала у Ани, потом у Пети и у мужа. А что подадут, собираем, то и съедим. Соли подадут с картофелем, и хорошо. И вот как мы колесили от Луги, угадали на Дно. Потом Порхов, Ошево<sup>39</sup>, Дедовичи, станция Сушево<sup>40</sup>. И приехали в Великолукскую область. Там мы были сыты. А вот когда мы подъехали к станции Дно, в двенадцати километрах, где мы ночевали, вот налетели самолеты да и стали бомбить. А хозяева-то все встали и говорят: «Вставайте, бомбят». И они все ушли на улицу. А мы так устали, как легли на пол, так ребята и уснули. Я сказала хозяевам: «Мы не встанем. Что будет, убьют, то пускай убивают всех вместе». И они надо мной дивились: «Ну и спокойная женщина, таких мы не встречали». А не знают того, сколь я уже пережила и всего видела страху. Вот доехали мы до хлеба и стали искать работы и где бы нам остановиться. Пока в дороге ехали, ведро прогорело и кастрюля прогорела, и топор украли. Осталась одна чашка. И на себя ничего нет. Берегла я три метра ситцу в дорогу, что если муж помрет, положить не во что будет. Я не думала, что он выживет такую дорогу.

Вот десятого апреля как раз мы дошли до хлеба. А в деревне не прописывают. Как ночуем, так

---

<sup>39</sup> Этот населенный пункт не удалось идентифицировать. Возможно, деревня Вольшево, которая лежит на полпути от Порхова до Дедовичей.

<sup>40</sup> Скорее всего, Сущёво.

староста бежит и выгоняет – поезжайте дальше. А куда ехать, не знаем. Вот я дала старосте эти три метра и попросилась пожить неделю.

Вот Пасха, праздник. Все бани натопили. Где мы ночевали, хозяйка и говорит: «Идите в баню, много зною». Ну, по-нашему, жарко. Вот мы и пошли. А там такие бани: на полу лед замерз, а моются на полках. Я налила воды, Аню помыла, потом Петю. А сама стою на полу на льду. А вверху жарко. Пока я их мыла, все и стояла на льду. Пришла домой, ночевала. А утром хозяйка нам по яйцу сварила и ватрушкой угостила. Хорошая женщина, пожелаю ей успеха во всех делах.

Поехали дальше. И вот меня так схватило, сперва знобило, а потом жар, температура. А я ведь никогда и не болела. И мы стали проситься ночевать. Время было мало, нас не пускают. Идите, мол, дальше. Ну, я не могла. Переночевали ночь. Староста бежит и гонит, уезжайте. А я сказала: «Я не могу идти, заболела». Тогда он запряг лошадь, да скорей меня на сани, да в другую деревню. И говорит: «Вас, чертей, я устал хоронить, каждый день сдыхают, много вас».

Ну, у меня так окинуло губу, страсть глядеть, нельзя было открыть лица. И так долго болело, наверное, месяц. А мы в бане не были с августа месяца 1941 года, девять месяцев. И вот на мое счастье повстречала я соседку по окопам. Вместе жили в окопах в лесу. У нее трое детей и мать. А муж на фронте. Ей лет мало, не больше 26 лет.

И она из леса ушла сразу в тыл и устроилась шить, портничихой заделалася. А мать с ребятами, где по миру походит, а где она заработает. И детей не бросила, мать есть мать. У нее были мальчики: год, три года, пять лет. Такие все маленькие. Я, когда жила в окопе, у меня была корова, и я им каждый день давала молока. Корова только отелилася перед приходом немца. Таких коров я не спривидывала. Чтоб так много доила. Я пять раз ее доила, и все полное ведро. А девать-то некуда. Я и отдавала молоко. Вот я ее и повстречала. Она мне сказала: «Ступайте в эту деревню, там моя мама живет». Вот я туда и уехала. Правда, деревня бедная и небольшая. Вот я пошла искать работу или в поле пастись.

Я пришла в деревню Перхова, большая деревня. Пришла я к старосте: «Может, что поработать, семья у меня четверо, муж, двое детей». А он и говорит: «Давай в поле коров паси, а муж у меня поработает. И дочку я к себе в няньки возьму».

Вот мы ушли из той деревни, где жила знакомая. И только пришли в первый дом, а женщина и говорит: отдайте девочку мне в няньки. У нее был мальчик. И вот я в этой деревне и пасла скот с Петей. А муж пока не мог работать, и его староста стал кормить. А он с голодовки-то ел много. Да и стал пухнуть. Я и говорю: «Как ты хорошо поправляешься, такой стал молодой». А потом гляжу – он едва дышит. Я тогда ему не давала много есть. Говорю, что ты умрешь, нельзя много есть. А он на меня еще обиделся: тебе, мол, чужого

хлеба жаль. Ну и прошло, стал худеть, и стало ему легче. А потом и поправился. А то он и говорить не смог. Старый стал, 60 лет вполне дашь или 70, борода длинная, рыжая, редкая, неузнаваемый стал. А мне давали 50 лет, а мне 35-й год. И я тоже чуть-чуть не умерла. Купила четыре килограмма жмыха хорошего и продала Анины платья последние за два литра молока. Так наелись хорошо, досыта. Я и пошла работу-то искать. Пришла я в один дом, а меня старушка спросила: откуда вы беженцы-то? Я сказала, что от Ленинграда. Она заплакала и говорит: у меня две дочери в Ленинграде, будут ли живы. Пообедай, мне предложила. Я села, она мне щей жирных налила чашку, потом каши масляной чашку, потом каши с молоком чашку. Я все съела и пошла домой, а деревня была недалеко, с горы да в гору. Вот я с горы сошла, а в гору-то не могу. А со мной был Петя. Я сказала: Петенька, иди за папой, я умираю. Петя побежал, и отец идет ко мне. А у меня был пуд картофеля, я на что-то выменяла. В той деревне всего много было и дешево. Если бы пораньше туда уехали, то бы мы не были голодны и голые. Кто ушел сразу-то, дак так обжилися и хлеба себе заработали. А мы такую голодовку перенесли.

Вот я домой-то пришла, легла, а мне нечем дышать. Я встану, хожу, а как опять лягу и опять умираю. Встала, да все живот-то отглаживаю книзу изо всей-то силы. У меня от жмыха-то разбухло, да и супа-то жирного поела. Вот пришла смерть,

я прощалася с детьми: «Милые детушки, я умираю». А муж мне и говорит: «Меня ругала, не давала мне есть, а сама наперлася. Вот и ходи». А я уж не могу с ним разговаривать. И все глажу живот, мну его, чтобы легче было, и я всю ночь не ложилася спать, все мяла живот что есть силы. И у меня стали газы выходить. Уйду в коридор, выпущу, и опять хожу по избе. И опять все глажу вниз. Вот так и от смерти ушла. Ну я почему так мяла живот? У меня было на факте. В 1931 году у нас было две коровы. Одна отелилася, а вторая нет. Вот у второй коровы вымя стало такое большое, соски стояли. Надо было ее доить, а как доить? Еще не отелилася. Ну, стали мы ее доить. И первое-то молоко клейкое. И мы его отдали теленку. Вот его с этого-то молока и вздуло. Лежит, едва дышит, сдыхает. Вот мы взяли пучок соломы, да и давай его растирать книзу что есть силы. Пока он не оправился, все его терли. Так получилось и у меня. Жмыха, да суп жирный. Вот также я сама себя и лечила. Ну, дети были малы. Аня и Петя спали. Они этого не помнят, наверное.

Вот лето отпаслася. Нас кормили хорошо, мы поправилися, ели досыта. Ну, слёз у меня река прошла. Во-первых, я плакала по сыну, без поры безо времени погиб невинный ребенок. А во-вторых, посмотрела бы моя бабушка, что я в поле пасусь. У нас и в роду-то не было никого, кто бы в поле пасся. Помню, когда я жила в пастухах, а жила я там, где моя дочь Аня жила в няньках, и вот

она идет ко мне и горько-горько плачет. Я спросила: «Что ты, доченька, плачешь?» А она слов не выговаривает: «Мама, моя хозяйка сказала: Нюра, носи пастушке есть. А пастушка-то моя мама». А я ей говорю: «Доченька, не плачь, только бы нам живыми остаться. Мы всех здесь оставим, и побирах, и беженцев, и пастушек». И вот моя дочь и пошла домой, успокоила я ее.

И вот так летом я паслась в поле с Петей, Аня жила в няньках, а муж стал работать из-за хлеба. Где работал, там и жил. А мы стояли по три дня у одного хозяина, у другого. Кормили нас очень хорошо, деревня сытая. Очень там много вишни, яблоней. Как весной расцвело, не видать-то домов. И жили там – войны не видели. Деревня от большака побольше километра. Немец проехал ходом на Москву. Колхозы все разделили по едокам, хлеб и скот. Ну, мужиков всех забрали на фронт. Сегодня отправили, а назавтра немец пришел. А староста был – 60 лет ему и сыновья у него: два сына на фронте и два сына с ним, 17 лет и 13 лет. Староста был вор и двор<sup>41</sup>, очень умный, немцу платил и партизан не выдавал.

Лето мы отпаслися в поле, собрали хлеб и картофель. Нам дали один пуд хлеба с коровы и одну меру картофеля. А было двадцать две коровы. И заработали мы хлеба около 30 пудов и картофеля 30 мер. Осенью дали нам пустую избу. Мы с мужем

---

<sup>41</sup> То есть хитрый и предприимчивый человек.

наделали кирпичу, сложили печь и стали жить. Народ там очень добрый. Как придешь к кому, то уж без обеда не отпустят. Муж заработал шерсти. Я стала зиму прясть и вязать. Стала я Аню приучать вязать. Связала я мужу свитер черный, а себе платок шерстяной. Купили за пуд хлеба матрац, набили соломой. Потом и второй матрац купила. Еще купила простынь, да пополам разрешила и связала два подзорника. И устроила постель. Какая была радость, мягко на матрасе спать стало. Муж сделал кровать деревянную, совсем хорошо.

Война идет. Мне стали говорить, что приходили партизаны, и они говорят, что немца от Ленинграда отогнали и северную дорогу освободили. Я еще больше плакать, куда мы заехали, на край белого света. Вот начинается тревога, где партизаны убьют немца, то немцы эту деревню сжигают. А то вешают. Виноват ли, не виноват, а попался – и на виселицу. Много стали расстреливать. Стало как и под Ленинградом, а до этого там жили спокойно.

Наступает 1943 год. Слышим, у немцев траур, в селе Хряпьево, там был немецкий штаб, и говорят, что много немцев взяли в плен. Они повесили черные плакаты, три дня висели. Говорят в народе, что Сталинград наши взяли. Потом сколь немцев<sup>42</sup> нагнали, а потом пленных нагнали дорогу чинить. И вот как они работали. Четверо пленных в телегу

---

<sup>42</sup> Немецких войск.

впряжены, а трое сзади помогают. А как они все были оборваны. У кого одна нога в ботинке, другая в калоше. А кто в сапогах и пальцы голые. Кто во рваной фуфайке. А у кого полшинели оторвано. Грязные, голодные. И вот насмотрелись мы и пошли к пленным поесть дать. Соседи напекли лепешек, кто гороховых, а кто ржаных. А я наварила ведро картофеля, всю очистила, посолила солью, и пошли. Вот идем по дороге и по сторонам кидаем. А они так и хватают. Кто ловчее, тот больше схватит. Останавливаться нельзя было, а то немец плетью оденет по голове. Вот я ходила два раза и носила картофеля. А потом не стали разрешать.

Я повстречала одного пленного из нашего Чухломского района. Ну, сельсовет разный, а рядом. Спросила я его, где попал в плен. Он сказал, под Москвой. Я спросила, какая семья. Он сказал, мать, жена и дочь. А вот жив ли он уже, не знаю. Ну, пленных 43-го года стали лучше кормить. А кто попал в плен в 41 году, то тех нет в живых, их уморили голодом. В Саблино был лагерь пленных, 1000 человек, а осталось 100. В скорое время один сбежал и рассказывал, что там очень издевались. Смогаешь – иди, а упал – тут же пристреливали. Ну, мне много пришлось видеть пленных в лагере, когда я ходила менять конину под Ленинградом, насмотрелася. Раз иду, а пленные поили лошадей. Они не смогли ведро воды поднять, а двое одно ведро несли – и то болтались из стороны в сторону. А немец кричит: раус, раус. Это значит, быстрее идите.

А потом немцы поймали партизан. Один лейтенант был. Его выдала женщина, его забрали и расстреливали. Опять, как нас. Потом пришел приказ, чтобы всех беженцев отправить в глубокий тыл. И вот староста всех отправил. А нас, три семьи, не хотел отправлять, хорошие были люди. Две семьи были с Вырицы. Ну, его потом предупредили – если не отправишь, то штрафу получишь. И вот в апреле месяце нас отправил староста на станцию Сущево. А как нам не хотелось трогаться. Привыкли, да и сыты стали и оделись. Купили холста, да по рубашке сшила, да шерсти муж заработал, ему свитер связала. И вот напекла шесть хлебов в дорогу. И у меня всего богатства – два мешка сухарей и ничего было больше не надо, только бы хлеб.

И вот погрузили нас в товарные вагоны, а куда повезут, не знаем. Кто говорит – в Латвию, кто – в Эстонию. А кто говорит – в Германию. Кто куда, а нам было безразлично. Все так напуганы, не могу сейчас представить. Ну, умирать не хотелось, охота дожить, когда война кончится. Привезли нас во Псков, и там мы стояли всю ночь. Нас заперли в вагонах, сказали, ссыте и срите, вас не выпустим, пока не придет время. Оказывается, бомбили наши аэродром. И мы стояли до света. А рассвело, мы поехали дальше. А за нами шел состав с орудиями. Мы-то проехали, а орудия-то взорвали. Вот была тряска, дома тряслися. Нас привезли в город Остров и высадили. Никуда больше не повезли.

Везде нас было много беженцев. Хороших не было, а все старые да малые. А в Германию увозили молодежь. А куда нас? И вот всех погнали нас в баню, а вещи оставили на платформе. Господи! Подумаю сейчас, прямо не могу. Я оставила дочь Аню в мешках, а нас в баню погнали всех. А баня-то большая, военная. Нас всех, как скотину, в одну баню, мужчин и женщин, и детей, и девушек лет по 18, всех вместе. Девчонки стесняются, а немец ходит с резиновой плетью. Как даст по спине, так и завьешься, вот все и были вместе. А вещи все жарить повезли, будто вшей много. А [в] вещах-то Аня. И как ее только немцы не убили. А сейчас, как вспомню, прямо сердце разрывается.

И вот немец включил душ, а дети-то как испугались, да как рывкнут. А немец держит уши и говорит, капут, капут, от шума. Потом все оделись, погнали нас опять на эту же платформу. А евреев всех отдельно, их было пятнадцать семей. Забрали ихние вещи – и на расстрел. А нас всех в большое здание в барак. Полный набили, сесть некуда. Вот на второй день нам дали хлеба по триста граммов и пол-литра бритки<sup>43</sup>. Это мы в первый раз получили немецкий паек. А вещей-то у меня было всего – два мешка сухарей, да мешок хлеба испекла, и два матраца домотканых. Для меня главное был хлеб, и ничего больше не надо. И зачем только я заставила Аню вещи стеречь. И вот три

---

<sup>43</sup> Бритка, «бритое молоко» – так в северных говорах называли снятое кислое молоко, молочную сыворотку.

дня мы сидели на своих мешках и спали тоже, кто как сумел.

И вот воскресенье, месяц апрель, а какое число, мы никто не знали. Численника нет, газет тоже нет. А месяц, сказали, апрель. Приехали за нами подводы и повезли нас в заставу, на границу с Латвией. Нас было триста человек. Привезли, стали давать паек, хлеб с бриткой да свои сухари, можно жить. Нас поселили семнадцать человек в одну комнату, а комната восемнадцать метров. Спали мы ноги к ногам, а головы у стены. Постель не постелешь. Кто в чем ходил, в том и спал, не раздевались. И прожили там семь недель от Пасхи до Троицы. А какого числа была Троица, не знаю. Только помню: нас везли, а народ-то все шли на кладбище и сказали, сегодня Троица. Да, а я вспомнила Троицу – как я к бабушке в гости ездила. Да как я наплакалась. Лучше бы было умереть, чем так жить. Поглядела бы на меня бабушка.

Когда мы жили в заставе, приехал волостной к нам и говорит коменданту и завхозу, что хороших людей отбери в нашу волость, а вшивых в Пустошинскую волость. А вшивые-то были от Старой Русы. А нас, ленинградцев, всех в Пальцовскую волость. И нас, три семьи, в деревню Тупицыно направили, а там кого куда. Пожили мы в Тупицыно три месяца и переехали в Пупорево. Муж там работал и попросил волостного, чтобы дал нам отдельный угол. А я осталась в положении, поправились от голода и сотворили беду.

В Великолукском районе народ очень добрый, а когда нас привезли в Остров, то народ совсем не такой, что звери, такие несознательные, просто идиоты. Это в той деревне, куда мы вначале попали и где прожили все лето 43 года. А когда переехали в другую деревню, то там народ добрее, в Пупорево. Ну, все равно, мы были чужие, беженцы. Я в этой деревне косила, жала, картофель копала. На работу я была хлесткая.

И вот в сентябре месяце мы переехали жить в Пупорево в школу. В Пупореве была капитальная школа, и очень большая. Когда пришел немец, то школа была не нужна. Свои же и сказали: на что нам школу, раз землю разделили и хлеб. Колхозов не стало, мол, будем жить, как раньше жили. И школу нарушили. Все парты растаскали и скамеек наделали. И в 41 году там сено валяли, вместо сарая. В 42 году сделали клуб, танцевали. Правда, зал хороший был. В 43 году сделали церковь. Выпилили капитальную стену, сделали огромное здание. В одном конце пол подняли, сделали алтарь. Навозили икон из церквей, на иконы навешали полотенцев, украсили иконы цветами и нашли попа.

И первую службу я запомнила. Был праздник Кузьма<sup>44</sup>, это было 14 июля 1943 года. А я и Аню, и Петю взяла с собой, и пошли молиться. А мы-то жили тогда в Тупицине. Подхожу я и гляжу –

---

<sup>44</sup> День Кузьмы и Демьяна (Космы и Дамиана), летние Кузьминки.

школа, а на крыше крест стоит. Я сразу изумилась, что такое за чудо: в школе – и церковь. Я, конечно, любопытная, расспросила – как и почему, и когда и кто это сделал, и когда что было.

И вот, когда я осенью приехала жить, в этой церкви кухня-то школьная была пустая. Но печка разворочена, и задвижки вынуты, и стеклышко в раме нет. Вот мы окно заколотили досками и одно стеклышко вставили, чтобы свет видеть. И вот, стала служба каждое воскресенье. Ходили молиться много народу, а главное, много беженцев, и все горем убитые. Война, да все без крова.

Вот, один поп послужил, да какая-то суматоха произошла, и поп убежал. Вдруг второй приехал, звали его отец Иоанн. Ну и поп. Службу всю знал, ну и пил, и с посестрой жил, это по-нашему любовница. Денег подавали на блюдо много. За одну службу получал по семь-восемь тысяч. А деньги-то были красные, тридцать рублей бумажка. А самогонки литр стоил восемьсот рублей или тысяча. И вот он брал этой самогонки и пил. Попу все несли миряне, кормили его. И мясо, и масло, и яички, он не проедал<sup>45</sup>.

Люди там жили очень богато, хлеба у них было много. Скот колхозный разделили по едокам. У кого маленькая семья, тому давали одну корову. А у кого большая семья, тем по две коровы. Так и коней. Ну, у сытых и мы были сыты. Пошли

---

<sup>45</sup> Здесь: не съедал все, не успевал доедать все принесенное.

работать за хлеб. Работы мы не боялись. Только очень было обидно. Одни жили и барствовали, а я раба. Куда пошлют, туда и шла. Только бы накормили. Которая хозяйка плевка моего не стоит. А она хозяйка, а я раба, подчиненная.

И вот мы живем на кухне. А поп живет с поестрой в учительской комнате, когда там школа была. И вот он приходит к нам и говорит мужу: «Павел, ты иди служить ко мне дьячком». А мой муж и говорит: «Нет, я не могу этого делать, может, что другое». А поп настаивает, чтобы шел. У попа власть была, он что хотел, то и делал. А немцы к нему – пастырь, пастырь. Тогда поп и говорит: «Ты коммунист, ты Богу не веришь. Чисти моего коня». Муж согласился, а то выгонит из комнаты. Потом поп пришел и опять говорит: «Не пойдешь служить?» Муж сказал: нет. «Тогда я беру сына твоего». А Пете было десять лет, он с 1933 года, а был 1943 год. И взял Петю подсвечник носить да кадило. Еще он взял двух мальчиков беженцев. Одному 15 лет, а второму 16. Сшил им ризы. И вот они ходили по церкви. А мужа все посылал молиться. Как-то муж и его товарищ выпили и пошли в церковь, стоят, а руки поджали к сердцу. А поп увидел их, да и бежит с крестом. «Молись», – говорит. А я только и караулила, чтобы у меня уголья не потухли. Петя бежит: «Мама, давай угли, кадило погасло». Бежит и дрожит от страха, что поп заругает. Я раз пришла в церковь и гляжу, как он издевается над ребенком. А со стороны видят люди и говорят: «У этого

ребенка, наверное, нет родителей». Когда кончилась служба, я сказала не попу, а его поестре: «Я больше не пущу Петю служить, он над ним издевается». Тогда поп стал получше.

## **1944 год**

Наступил апрель месяц. Пришла Пасха. Стал поп ездить славить по деревням. И ребят с собой забирал. Те-то большие да и грамотные. Он их пять заставлял. А мой-то мал, только кадило носил.

И вот, вдруг застучал фронт у Пскова, стало слышно удары. Как дадут гостинец, так и дома зажихают<sup>46</sup>. Вот раз поп и рассказывает проповедь. С крестом стоит и говорит: «Православные, помолитесь, враг наступает». А со мной стояла беженка, мы вместе с ней ехали, и говорит: «Слушай, что поп-то говорит: молитесь, враг наступает. Ведь мы-то наших ждем. Какой же враг?» А остальные все крестятся, плачут. А что поп сказал, поняли или не поняли. А вот крестятся да плачут. Вот все это истинная правда, нисколько не преувеличиваю.

Вскоре нагнали немцев к нам. Что-то не тихо, я думаю. Как в Великолукской области, когда Сталинград взяли наши, и нагнали пленных и немцев, так и здесь начинается. Значит, гонят, раз стали слышны удары. А нам опять тряска, нет покоя. Вот стали немцы молодежь забирать. Стали прятаться

---

<sup>46</sup> Зашатаются, затрясутся.

кто куда. А фронт стучит у Пскова крепко. Вот-вот скоро придут. А я такая стала кляча. Не могла ходить, живот велик. Думаю, если немец погонит, то пускай на месте стреляет. Мне не уйти.

А у Пскова была катюша и давала жару. Как даст, как даст, дома так и жихают. Я стала думать о себе, что-то будет, мне не убежать, ноги как бревна распухли. Пятьдесят метров в день ходила туда и обратно. Смерти я уже не боялась, только бы не мучиться. Я даже с первых дней войны просила Бога – или легко бы ранило, или убило насмерть. Насмотрелась я на раненых, идти не могут, а помощи нет. Фронт уже ближе подходит к Острову. С Острова эвакуировали всех жителей и больницу к нам в Пальцово, недалеко от Пупорево. А в Пупорево столь нагнали беженцев, по двадцать человек в избу. И на дворе спали, и на чердаке. А беженцы-то ото Пскова и Острова, свои уж, соседи.

Месяц май. И вот, пришел срок и мне. Увезли рожать в больницу в двух километрах от дома. А какая больница? Полно, школа. Тут и старухи, тут и врачи живут. Где ж им до нас, кому мы были нужны. Лучше бы дома с бабушкой родила. Холодина, все забрались в тепло, а меня положили на стол холодный, мне не встать, стол узкий. Так одна я и родила. А как заревел ребенок, услышали и пришли. Не дай Бог такому случаю никому. Я родила двойняшек – сына и дочь. Сына назвала Колей в честь старшего сына, которого немец рас-

стрелял, а дочь – Лидия. Ну, еще горя больше стало. Не во что было их завернуть. Из больницы привезли их в чужом одеяле. А тут что хочешь делай. Ну вот, привезли меня домой.

Фронт очень долго стоял за Островом. Говорили, что крепко немец окопался. Ну, фронт пошел стороной. Связался с партизанским отрядом в стороне от Острова, где Пушгоры<sup>47</sup>, Новоржев. И тем краем и окружили Остров и Псков. Мы ждали по шоссе от Острова, а наши пришли от Острова левой стороной. От Великих Лук до Пушгор вся сторона была безо власти и была занята партизанами, с левой стороны железной дороги. А по правую сторону были немцы. Тоже тяжело жилось там крестьянам, день – немцы, а ночь – партизаны. Горели деревни каждый день. Конечно, и жертвы были большие.

В 1943 году много поймали немцы партизан. У них связной была Клава Назарова, она жила в Острове. И тогда этих партизан и Клаву Назарову повесили немцы в самом Острове. Сейчас там стоит памятник Клаве Назаровой. И вот фронт связался с партизанским отрядом, и немца погнали ходом. Бежал без порток в одних трусах, кто в майке, а кто и без майки. 21 июля нас освободили от немца. А за день до этого, 20 июля 1944 года, была наша разведка. Самолет облетел нашу школу так низко. Я стою и гляжу, и летчик

---

<sup>47</sup> Пушкинские Горы.

виден. Наклонил самолет-то, вот крышу заденет. И вторая разведка была. Подошел ко мне немец и говорит хорошо по-русски: «Мамаша, брось работу, бесполезен ваш труд, завтра здесь русские будут». А я огурцы полола в огороде. И я спросила: «Куда же нам-то бежать? В лес?» И такой молодой парень. А немцы-то едут без конца. А этот-то был наш, только в немецкой одежде из разведки. К вечеру столь наехало вокруг школы лошадей, места нет. К Латвии-то одна дорога, а к школе-то с трех дорог подъезжали, и от деревни Елино, и от Гольнево, и от Шолдино.

Я стала мужу рассказывать, что мне немец сказал, что здесь русские будут. Да и самолет так низко летел. «Поедем мы в кусты, здесь страшно». Вот, запрягли мы коня попова, да и в кусты. А добра-то у нас – всего два мешка сухарей да поповы вещи. Я взяла на руки Колю, а Аня Лиду, и пошли. А через реку-то никак не переехать, все немцы едут без конца и все гонят лошадей, один на одного наезжают. Такая суматоха поднялась. Я думаю – не переехать нам. А время-то, солнышко садится, уже к вечеру. Ну вот, переехали мост, уехали за деревню. А там не знали – куда ехать? Небольшая дорога. Мы по ней поехали да и приехали в тупик. Там поля-то низкие и все канавы нарыты глубокие. Нам не проехать, надо обратно вертяться и ехать по другой дороге. Я видела, где люди-то ехали. Ну, мы не знали, я на этом поле еще не работала и потому не знала. А по нам пули летят. Мы легли под кусты

у канавы да и лежим. А пули-то: пчик, пчик, через нас. Ну, никого не ранило. Нас было шесть человек, я со своей семьей да баба Маша с козой. Век не забуду. Это помнят и Аня, и Петя.

Вот утром пули не летели. Мы вернулись к деревне и поехали куда все ехали, в пастбище, в кусты. А когда немцы-то отступали, то ходили по дворам и резали овец. А соседи тоже видят, дело плохо, и тоже давай резать. Одни зарезали корову, а мне кишки отдали. А я из кишок-то наварила мыла. Продавался камень такой, за тысячу рублей килограмм. Вот я килограмм купила этого камня. Не помню, как его называли, ну, такой – пальцем потрогаешь и палец обожгешь до мяса. И я положила пуд кишок и килограмм камня и варила мыло, и вышло сорок кусков. А когда я поехала в кусты-то, мыло-то и забыла взять. Вот утром-то 21 июля я послала дочь Аню: «Сходи за мылом домой». И она дошла до школы и идет обратно и говорит: «Мама, я боюсь, там сколь лошадей набито, сколь немцев убиты». А ночью-то бомбили, и как раз вокруг-то школы и упали три бомбы, и как раз ко мне в огород, где полола огурцы. А в школе ни одного стекла нет, только ветер полотенца раздувает. Аня-то пришла, и я сама пошла. Я взяла мыло, иду, а мне навстречу три немца бегут голые. Один в майке и трусах, а второй без майки, голый, а штаны оторваны, по колено. Этот и говорит: «Сколь километров Латвия?» Я сказала: «Пять километров», – и показала руку, пять пальцев. Тогда он

просит спичек – показывает мне зажигалку и говорит: «Капут, капут». А они все мокрые, переплывали реку, напрямик бегут. Потом они спросили у женщины, та около дома стояла: «Дай спичек». Женщина пошла за спичками, а они и говорят: «В одиннадцать часов русские будут здесь». А было время семь или восемь утра. И вот идет женщина со спичками, он и говорит: «Еб твою мать, давай скорее». А не то сказать – спасибо. Вот так и бежал немец, ему было не до нас. В одиннадцать часов уже слышим из кустов: «Ура! Ура!» Взошли на гору в деревню Шолдино. И вот все побежали встречать, кто ждал.

А многие были за немецкую власть, тем не по душе. А староста сразу рехнулся здоровьем, думал, что его сразу расстреляют. Заболел, голос перехватило от испуга. Его в Ленинград отправили, ну там и умер, рак горла. Ну, продажных шкур было там много. Сейчас уже умерли, кого я знала. А за неделю или побольше до наших попа немцы забрали. Он окровинил свою посестру. Она бежит ко мне, а навстречу немец и говорит: капут. А со стороны и говорят: пастырь. Тогда немец заявил в пропаганду, и пришли и забрали попа. И дня через четыре пришли и взяли его посестру. Ну, она, наверное, чувствовала, что ее заберут, и принесла ко мне мешок с добром, а что в мешке, я не глядела, и швейную машину. И говорит: «Пусть конь у вас, походите за ним». Вот так и получилось, я в лес-то на коне и поехала. Пока фронт шел, нас

домой не пускали, погодите, мол, дня три. Потом все домой приехали, пошла тыловая часть.

И стали всех мужчин на фронт забирать. Приехала я в свой угол, где жила. Наехали в школу военные, и у каждого по бляди, так называли ПФЖ (так называли прифронтовых жен). И они заняли одну комнату под парикмахерскую, во вторую наставили коек спать. И ко мне пришли две бляди и говорят: «Вы здесь живете»? Я сказала: «Да». – «Вы, пожалуйста, освободите эту комнату пока на время, а вы хотя в сарай». А сарай-то был без стены, а у меня четверо детей и притом маленькие. Я им говорю: «Там холодно, как я там с ними буду». Они настаивают, чтобы я куда-то ушла. Тогда я около уборной, где была маленькая кладовая в четыре метра, и поселилась. Повесила через балку веревку, принесла люльку и положила ребят. А им ровно было два месяца как родились. И поставили в угол сухари, а на матрацы сели и сидим. Я качала ребят.

Вот приехал какой-то, вроде офицера, не помню, и пошел в уборную. А из уборной была щель к нам в кладовку-то. Ему было, конечно, неловко. Вышел он из уборной и заходит к нам и говорит: «Что здесь такое? Что за люди?» А я и говорю: «Здесь целая семья, четверо детей и я с мужем». Он спросил: «А где же вы жили?» Я показала: «Вот моя комната, а меня выгнали вот эти девушки». И он на них как крикнет: «Что такое? Мы идем освобождать, порядки налаживать, а вы мать с четырьмя детьми в туалет выгнали». Ну им,

блядам, и дал жару. Как они забегали. И сказал: «Час сроку, чтобы были освобождены помещения». А мне сказал: «Что не в порядке, напишите мне, что если сломали». Ну, правильно, за час они все выкидали. У них было до самого потолка наложено. А мою дочь они послали еще: «Девочка, нарви цветов». Аня бегала и им, блядам, цветы рвала.

Дальше мужа взяли на фронт. Я осталась одна с ребятами. Началась новая власть. Пришли ко мне две учительницы. Надо открывать школу. И говорят: «Вы здесь живете?» – «Да». – «Будете у нас работать техничкой». А у меня ком в горле застрял, я едва ответила: «Буду, только я не умею, что делать надо». Они сказали: «Вот будете белить да мыть». Значит, я буду уборщицей. Да как я наплакалась. Да все вспомнила. Как говорится, век пережить, не поле перейти. На своем веку наживешься и в меху.

Стала я работать уборщицей в школе с 1 августа 1944 года. Стали давать паек хлеба, 200 грамм на ребят, а я 400 грамм получала в Острове. Два раза в месяц оставляла ребят одних и уезжала. А конь попа все у меня. Его берут работать, начались опять колхозы. А я думаю – продам коня и куплю корову. Я его кормлю, навязываю на траву. На ночь домой запираю, а день в колхозе работает. Стали брать уже не спрося, как так и надо. Я сказала: «Коня больше не дам. У меня нет коровы, а дети малы. А конь не колхозный». Я пошла в сельсовет насчет метриков, ребят надо записать, да насчет коня. Что конь попов, я за ним хожу. А у меня нет

коровы, и муж на фронте. Тогда он выслушал мои слова и сказал: «Завтра в колхозе будет собрание, подойдите». Я пришла. Собрание кончилось, и вот председатель сельсовета и говорит: «Скажите вы мне, что за конь, чей и кто хозяин этому коню». Вот и говорит председатель колхоза, что конь поповский, а мы на нем работаем. А председатель сельсовета им говорит: «Вот, гражданка Макарова просит за коня корову. У нее четверо детей». А председатель колхоза сказал: «Она не колхозница, мы дать не можем». Тогда сказал председатель сельсовета: «Она не колхозница, конь не колхозный. Пускай она сама что хочет, то и делает. Пусть продает и покупает корову». Так и решили.

Вот я пришла домой, а наутро пошла на конюшню. Коня ко мне приводили, как поработают, а сбрую не приносят. Вот я пришла, взяла хомут и седелку, а вожжей и нет, кто-то присвоил. Хожу, поглядываю. Нашла и вожжи у Леньки Сергеева, тот парень – гляди. Запрягла я коня, взяла Петю с собой да Лиду. Ане тяжело с двоими-то водиться. Вот и поехала в Латвию. В первый день не нашла, поехала на второй день и купила корову, да еще восемь пудов хлеба, да два пуда мяса. Да, выговорила коня сена навозить, когда накошу на корову. И согласился хозяин, как я сказала. Как мужа взяли на фронт, все стали говорить: «Ахти, тошно, как будет Дуська жить, вот пропала-то».

А как раз был такой старичок, бедный. Его вроде придурком считали, а он был не дурак. Вот

он и говорит: «Каждый потужит, чтобы тебе было хуже». Вот я его пословицу и сейчас помню. И все истинная правда. Меня жалели, а коня надо отобрать. Привела я корову в августе месяце, число не знаю. Пошла опять в сельсовет и говорю: как бы покосить на корову, можно по лесу хотя бы. А председатель и говорит: иди и коси вот туда-то, там, мол, все не кошено. Я и пошла туда косить, брала я с собой Петю и Лиду. Петю учила косить, ему был одиннадцатый год. А Лида лежала на кочке. Она была очень плохая маленькая. Накошу травы, да и положу ее. И спит на воздухе-то. Закеркает – покошу<sup>48</sup>, и опять спит. А Аня с Колей водилася.

Столько я накосила копен, и думаю, как бы скорее перевозить. Как увидят, то украдут, пожалеют, как говорил старик. Я скорее в Латвию, взяла коня, да и все перевозила. Столь много накосила, и на корову, и на овцу хватило. Все в один день доставила сено. Петю научила, как воз накладывать, а я подавала. Вот так и помогали, пока до школы.

А 1 сентября пошли ребята в школу. Аня в 3 класс, а Петя в 1. В войну-то нигде не учились, стали переростки. Три года пропало. Петю скоро перевели во 2 класс. Когда они учились, то я с ребятами вожуся. Да, работы хватало. Пока была дома, пряла и вязала, а маленькие сидят в кровати. А до этого-то еще лежали в люльке, а потом в кро-

---

<sup>48</sup> Возможно: покачаю.

вати-то сидели. А как кончится учение у ребят, то сразу надо в лес за дровами идти, так и помогали. А потом я стала в колхоз ходить прирабатывать трудодней, все что-нибудь дадут. Уложу их спать, а сама на работу, а Аня с Петей в школе. Уйду, спят, и приду, спят, такие были спокойные. А сколь они спали и сколь плакали – контроля не было. А когда стали подрастать, то негде их оставить. На полу холодно, вода в ведрах замерзала. На постели посажу, а сама за водой пойду. Приду домой – Лида сидит на кровати, а Коля на полу. Коля был сильнее Лиды, здоровый, а Лида плохонькая. Тоже все говорили, умрет. А вот говорится пословица: живого мертвым нельзя назвать. А еще пословица – были бы кости, а тело будет. Вот и моя Лида, были у ней одни косточки, а стала крепче Коли. Коля падал с кровати 12 раз, один раз из окна, один раз с печки, один раз с крыльца (он уже это помнит). И все Бог миловал, ничего не повредил здоровья. А Лида – один раз с печки и один раз ее уронили девочки и повредили носик. Так и остался немного неправильный.

Коля и Лида росли в бедности, игрушек не было. Пойдем на работу огород копать, дам им по чашке да по ложке, да насыплю зерна или гороху. Вот сидят да переключивают из чашки в чашку, да тут и уснут. Прихожу посмотреть, как мои ребята играют, а они уже спят. Коля спал всегда на пороге, а Лида головой под кровать и попой кверху. Вот скорее их в теплую тряпку заверну, да в люльку,

согреваются и долго спят. А мне надо было везде успеть. Печь истопить, и надо было кусок хлеба заработать, и обшить, и обмыть, и накормить. Приходилось так работать, за папу и за маму. Ну, время у меня было для сна два часа. Я в час ночи ложилась, а в три часа вставала и бралась за работу. По ночам топила печи в классах и в то же время катала валенки. Мама и есть слово мама. Ну, тем я была счастливая, никогда я не болела, это самое счастье. А одежды-то у меня не было, и на ребят нечего надеть. Получила я пособие, да пошла в город Остров и купила я на барахолке три одеяла солдатских, да шинель немецкую, да простынь. И нашла всего, Пете костюм, себе юбку, Коле и Лиде по одеялу. Одно одеяло фронтовое было, им укутывались. А из шинели сшила Ане пальто из верху, а из подкладки сшила себе юбку и кофту на вате. А из простыни сшила две кофты себе и Ане. И начали с этого жить.

От мужа получила письмо, что раненый лежит в госпитале. Ну, мне было к нему не съездить. Недалеко он лежал, в Латвии. Конечно, каюся я, а тогда мне тяжело было, ребята малы, да и скотина на дворе. И Аня мала, с двоими-то водиться. А ведь в школу еще ходили. А муж лежал два месяца, и опять в ту же ногу был ранен. Очень я сейчас каюся. Два раза его спасла от смерти, а тут не сумела. Надо бы взять обоих ребят и Петю да идти пешком. А Аня была бы одна дома и ходила бы в школу. Я думала об

этом, ну, решила, на Бога. У меня было денег две тысячи, деньги были, дешевые хотя, а может бы его и отпустили домой. Сказать так, я виновата, этого не сделала, не сходила к нему. И по сие время думаю об этом. Ну, не вернешь.

## **1945 год**

Получила от мужа письмо. Пригнали их на самый фронт, на Восточную Пруссию. И пишет он: «Думал я с вами свидеться, ну вряд ли придется. Перед нами стоит боевая задача. Не обижай ребят больших, также и маленьких. Они не виноваты». Письмо было написано 12 января 1945 года, и больше писем я не получала, на этом конец.

Когда кончилась война, кричат: «Мир! Мир! Победа!» Ну, у меня сердце упало, я не дождуся. И по снам, и по приметам сердце не обманешь. Когда началась война, меня дома не было, и когда кончилась, тоже дома не было. Была я в Латвии, за поросятами ходила. Ну, на меня крепко подействовало, что Победа. Я едва домой дошла. И у меня все отнялось, руки и ноги, и шея не ворочалась. У меня схватил нерв. Лежу и гляжу, ничего не болит, а ничего не шевелится. Вот, Петя пошел в поликлинику, мол, мама заболела. Пришла врач, сделала укол. Ну что, все равно ничего не владеет. Меня научили хлебом окладаться горячим. Еще научили соленую ванну делать, в кадке прогреваться. Все я делала, и врач сказала, что сразу отнимай ребят от груди. Вот как раз им был год,

и Коле, и Лиде. Вот лежу я на постели, а Аня и Петя в школе. А Коля и Лида пересрались и перессались и сидят да говно размазывают по полу. А у меня сердце разрывается. Не могу Аню дожидаться из школы. Вот та бежит да их прямо в холодную воду замывать жопы ихние, да и в постель. В теплую тряпку завернула, и они уснули.

Вот я плакала по сыну, три года глаз не осушивала, а сейчас по мужу. А как сама-то заболела и думаю, они-то на своих местах, их не вернешь. А эти-то все есть просят, куда они поспели без матери. Да не стала я больше плакать, ни по сыну, ни по мужу. И сама про себя: как мне этих-то воспитать? Ну, слез я своих никому не показывала. Спросят: «Как живешь?» – «Хорошо». Стала я ходить помаленьку, с палкой. Ну не поклониться. Ребята копали огород, Аня и Петя. И навозу наносят. А я приду и покажу, где и что сеять. И Аня сеяла морковь, и лук, и огурцы. А картофель садить-то. Я не пошла к своему бригадиру в Пупорево, они были богаты, а богатый бедному не товарищ. Я пошла в соседнюю деревню Мейши, там бригадир был сознательнее. Я взяла палку и пошла помаленьку, попросила его, и он прислал старика. А старик такой трудолюбивый. Он мне спахал и заборонил. И говорит ребятам: «Давайте телегу, сейчас навозу навозу». Навозил навозу и говорит: «Несите картофель, сейчас посадим». И вот посадили картофель, и я была очень им довольна. Они сейчас оба умерли. Ну, царство им небесное за их добро.

Я была без ног шесть недель, потом стала ходить. Не стала я нервничать, и плакать стала воздерживаться. Вот приехала ко мне попова сестра. Сперва не ко мне, а в сельсовет, узнала, кто и где живут, и насчет коня. Ей сказал председатель сельсовета: «Иди, та женщина там и живет». Она пришла, я ее встретила по-хорошему, все рассказала, как все было, и стаскиваю с печки ее добро и машину. А за швейную машину в то время давали корову в Латвии. А она и не верит, что я все спасла, и говорит: «Я вам очень благодарна, а корова пусть будет у тебя, пусть ребята молоко пьют».

Я всю жизнь прожила, ну, чужого капли никогда не брала. А мне Бог помогает, я здоровая, сама все нажила. Работы я не боялась никакой и ловка была на любое дело. Ну, сколь я была ни бедна, но с худыми не зналася, особо с лодырями. У меня все друзья люди порядочные. И по беседам я не ходила, каждая минута для меня был урок, то есть задание. Сама я шила, сама я вязала, и валенки катала, и в поле была первая работница.

До войны и после войны никого я никуда не отдала. Говорили: отдай в детский дом маленьких. Я и не думала. Картофеля поедим, да все вместе. Мама есть мама. Мой зять, Панин муж, зарабатывал в один вечер по сто рублей (Михаил Ершов), а детей-то никого не воспитал. Это отец. А я зарабатывала в месяц сто пятьдесят рублей и никого не бросила. По сейчасным деньгам пятнадцать рублей, так мало платили в школе. Стали ребя-

тишки подрастать, стали ходить. Коля пошел с годом, а Лида позже пошла. Она была очень маленькая и плохонькая. Все пока так и живем, ни лучше, ни хуже. А жили-то мы на кухне, площадь десять метров всего. Три метра занимала печка русская, четыре метра две кровати, один метр стол и два метра прихожая. А кроватей-то не было, а на козлах постлали доски, вот и кровать. Была маленькая скамеечка, для двоих сесты. Один сидел у стола на кровати. А Коля и Лида сидели на столе до четырех лет. Ноги калачом, и кушали они каждый из своей чашки. Никто не тронь ихнюю чашку и ложку. Так что не на что было сесть, да и некуда поставить лишнюю скамейку.

Коля и Лида жили очень дружно. Если Лиде я налью молока, а она и говорит: «А Коле тоже дай». А если налью Коле, тоже говорит: «А Лиде?» И чтобы было поровну обоим. И долго делили все, до возрасту лет. А они так к этому привыкли, как будто так и должно быть. И сейчас этого придерживаются. А сахар мы не пили с 1941 по 1951 год, десять лет. Ну и то давали по выдаче до 1955 года.

### **1946 год**

Прибавили мне зарплату, я стала получать двести рублей в месяц. И облигации навешивали, подпишись тоже на двести рублей. Хлеб стоил пуд пятьсот рублей. А я получала двести рублей зарплата, сто пятьдесят рублей пенсию и сто рублей как многодетная мать должна получать до пяти-

летнего возраста на Лиду и на Колю. Мне не хватало всех денег на один пуд хлеба. Учителя тоже получали по четыреста рублей, им тоже тяжело было жить. Кто жил? Крестьяне, у кого был хлеб. Я нажимала только на картофель, стала много сажать картофеля.

Вот, выбрали нового бригадира и постановили сделать обыски по домам, у кого что найдут колхозного имущества. И ко мне пришли. Ну, это, я думаю, по доказу<sup>49</sup>. Кто-нибудь видел – у меня остались поповы сани. Я их поставила вместо ясель, корова там ела, очень удобные. Я их околотила заглухо, чтобы корм не валялся. И вот я ушла в Остров по делам. Аня была дома, а сарай не запирали днем. И вот пришли в сарай бригадир, член правления (был Ленька Сергеев) и еще не знаю кто. И взяли мои сани и увезли к колхозному двору. Прихожу я с Острова, а дочь Аня плачет: «Мама, у нас сани взяли, пришли, корову привязали к столбу и увезли сани». Я пошла к бригадиру, его нет дома. Он работал на трех деревнях, где я его буду искать. Пошла я к колхозному двору, вижу, сани мои стоят и оглобли ввернули на чеку, только запрЯгай. В 12 часов ночи я взяла Петю и пошла за санями. Вывернула оглобли и покатила под гору, сами катились. Лед был, невозможно пройти. Вот мы их в речку-то скатили, а из речки-то никак не вытащить. Туда-сюда по речке-то ездили, нет сил,

---

<sup>49</sup> Доказ – донесение, донос.

Петя-то был мал. Ну, наконец втащили. Поставила я на место корову, привязала, сарай заперла, все в порядке. Это была пятница.

В субботу я мою классы, грязища в классах. И вот идет ко мне бригадир и говорит: «Здравствуйте». Я сказала: «Здравствуй, Александр Кузьмич, что скажете?» А он был партийный, из себя такого умного строил, и говорит: «Да, да. Ну как живете?» А я говорю: «Какая моя жизнь? Вот видишь, какую грязь ворочаю, а что зарабатываю?» А у самой пот с лица лил. Вот он и говорит: «Я к вам пришел по делам». А я: «Пожалуйста, в чем дело?» (Раз он так вежливо, и я с ним вежливо.) «Вот, у нас в колхозе кража, пропали колхозные сани, и говорят, что ты взяла». А я ему в ответ: «Нет, я колхозных саней не брала. А я только свои сани взяла. Я не колхозница, и сани не колхозные, а мои». Он говорит: «Сани поповские». А я сказала: «Были поповские, а я у него купила, и стали мои». Он опять свое: «Да, да. Нет, надо сани отдать». Тогда я ему говорю: «Александр Кузьмич, неужели вы на моих санях колхоз построите? У меня четверо детей, хлеба нет. Вы спросили, как я живу? Муж погиб на фронте, сына убили, дом сгорел. Богатому жаль корабля, а бедному костыля. Я их продам на хлеб да ребят накормлю». И сама я не выдержала, заплакала. И вот он понял, что я ему сказала. Тогда он говорит: «Да, да. Вы бы мне так все рассказали, я бы вам сам привез обратно. Ну, мне неудобно от колхозников». А я говорю:

«Вы не виноваты, вы бригадир новый. Виноваты те, кто привел в сарай вас».

Вот так и жила я, и всегда я вспоминаю этого старика, что говорил: «Каждый потужит, чтобы тебе было хуже».

Вот я очень соскучилась по Родине. Посадила я все в огороде, оставила дочь Аню с Колей и Лидой дома. Да еще золовка была, ко мне приехала, Елизавета. А я взяла Петю с собой. И вот так было трудно с билетами, едва я доехала. Приехала я на Родину в Костромскую, ночевала ночь да и говорю: «Я-то на Родине, а где-то мои дети. Какую даль я их оставила». Ночевала я у тетушки ночь, да у другой ночь, да давай собираться обратно. И думаю: где ребята, там и Родина. Никуда я больше не поеду и ребят никуда не отправлю. И дай Бог нам доехать обратно.

## **1947 год**

И с 1946 года я не была больше на Родине. Теперь-то уже все выросли, ну, здоровья не стало. В 1947 году стали деньги менять, стало нам легче жить. Я на зарплату могла купить хлеба четыре пуда. Как получала я двести рублей, так и получала. А хлеб стал не пятьсот рублей, а пятьдесят рублей. Вот тогда все служащие стали одеваться получше. Тогда я стала хлеб досыта есть. Тогда я стала брать поросенка выкармливать. Стали и ребята подрастать. Аня начала наряжаться в беседу и начала работать в колхозе. А учиться было невозможно, ни обуви,

ни одежды, ни хлеба не было. Окончила она четыре класса, и все. А Петя тоже пошел в колхоз. Дали ему пару коней, самых-то плохих. Он на них боронил. Чужие мы были, и слова заложить некому. Все перетерпели. Куда бы бригадир ни посылал, везде шли безотказно. Ну, потом и стал говорить: таких работников нет, как школьная Дуська (раз я жила в школе, то нас и стали звать школьными). И как ее ребята работают, куда бы их не пошлешь, везде и все выполняют.

Стали мы хлеба зарабатывать в колхозе, а деньги я берегла, надо ребят наряжать. Стали мы больше сена накашивать, и стала я больше овец в племя пускать. У меня стал полный двор скота, корова, теленок, четыре матки овец, поросенок, куры, утки. Спущу весной двенадцать штук овец с ягнятами.

Стала я ездить в Ленинград с мясом. Зарежу трех баранов, да и поеду торговать. Да свои-то деньги подкоплю. И всего накуплю. И стала я наряжать Аню и Петю. Стали говорить: «Вот как школьная стала жить», которые [раньше] охали: «Ахти, тошно, как будет Дуська школьная жить». А тут они же по-другому стали говорить: «Да что ей не жить, она и в школе получает, она и в колхозе работает, она и пенсию получает. Да она не хуже нашего живет». Да, действительно, стала я жить хорошо. Ребят я приучила ко всей работе, нигде их из десятка не выкидывали, да на таком почете стали по работе, на весь колхоз. А маленькие Коля



Евдокия Константиновна с детьми. Деревня Пупорево, 1946  
*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

и Лида росли незаметно. Летом бегали босиком, а зимой я им валенки сама скатаю да калоши куплю. Всю зиму и бегают до тепла.

### **1948 год**

Стало Коле и Лиде по четыре года. Они стали уже помогать. Каждый вечер загоняли уток домой, это была их обязанность. А когда гонят скот из поля, то помогали ягнят загонять. Они знали, какие ягнята наши. Лида очень быстро бегала, худенькая была, а ростом как Коля. Дети у меня хорошие, никогда мне против не говорили, и ни от какого дела не отказывались. Раз я поехала в Ленинград и сказала

Ане: «Когда будет время, отреплите лен». Нам из колхозу дали по две связки льну. Я уехала, а они вставали вместе с солнышком, такую рань, выходили на солнышко к сараю и трепали лен. А народ-то видит, ходят мимо их да и дивятся. А я поеду, всегда неделю пробуду с дорогами. Надо продать и надо купить. А в магазинах-то нет, что надо. Бежишь на барахолку. А там из-под полы спекулянты продавали в два раза дороже. Приезжаю домой, а дома полный порядок. Ждут меня, везде чистота. Аня накопит творогу и сметаны, меня встречают. А у меня не было творогу – что там от одной коровы. Где скопить-то? Пять человек семья. Вот Петя обижается: «Мама, она нас голодом морила, молока нам не давала». А Аня говорит: «Мама, не верь, я их кормила». Ну, эти, Коля и Лида, малы были.

Как приду со станции, а четыре километра идти, да с грузом, всегда два пуда, да три, бывает, ташу, сяду на лавку, и не встать. С меня и сапоги снимают, и пальто. Рады без души, что мама приехала. А я так устану за неделю-то, от одного шума городского, от машин голова кружилась. А в деревне один сарай в окно видно. Вот и отдыхаю. А соседи-то все ко мне переходят и говорят: «Ахти, тошно, Дуська, как твои-то ребята без тебя лен трепали. Да встанут-то рано. Поглядим, а они лен треплют, оба, Аня и Петя». Бывало, показывала, что куплю. А потом и пойдут по деревне с завистью: «Вот, она знает, куда ехать, а мы-то, вот дураки-то, не знаем, где Ленинград. А она-то все знает». А одна

старушка и говорит: «У ней голова-то сталинская, у Сталина голова-то большая и ума много, лоб большой. Так и у школьной, тоже лоб большой и ума много». С тех пор и стали называть, что сталинская голова. Ну, я не сердилась, а все в шутку принимала. Ведь в каждой деревне свои обычаи. А я-то пожила везде и многих видывала, и где чем дышат; лучше всего ни с кем не ругаться.

Раз был праздник.

[Часть текста утрачена.]

Сажала по шесть грядок. Три грядки продам, а три на зиму. Второй раз с огурцами съезжу. Потом осенью два раза с баранами. Зарежу трех баранов, свезу. Потом еще трех. А зимой валенок накатаю пар двадцать да опять в Ленинград. Я так нарядила Аню и Петю, были изо всего клуба наряднее. Я в то время не понимала устали. Спала я два да три часа в сутки. Горе я свое стала забывать, о сыне и о муже. У меня такая была радость, что дети выросли, да хорошие. Только и слышу: «Ну у школьной и ребята». Нас не стали звать беженцами, а школьная Нюра и школьный Петя. У Пети было три костюма, а у Ани было пять платьев шерстяных – черное, темно-синее, зеленое, вишневое, коричневое и платье шелковое и креп-жоржет синее. И костюм бостоновый за тысячу рублей купила стального цвета, и крепдешинное оранжевое светлое. Она была у меня как кукла одетая. Мне было радостно на нее смотреть. Нисколько я не преувеличиваю, все правду пишу.

А платья-то шила самая лучшая портниха. Она жила на станции Гольнево, и ее звали Дуся, тезка моя. Она на Аню шила без примерки, уже на нее знала, как шить. Когда бы я ни принесла, всегда сошьет без очереди. Но и я для нее, что ей надо купить в Ленинграде, всегда куплю. Только тогда не куплю, когда нет. Да, раз торфю для нее делала вместе с Аней. Как говорится пословица: вперед бросишь, а сзади найдешь.

А в 1947 году купила я швейную машину за тысячу рублей. После реформы сразу накопила денег. А то все ночи шила руками. А ведь пять человек. По рубашке пять, а по две – десять. Вот раз я пришла в правление колхоза деньги получать по трудодням. Я получила восемьсот рублей, по рублю на трудодень давали. А тут сидел председатель колхоза и говорит: «Вот это я понимаю, вот это работник, не колхозница. Получал ли столь колхозник? Нет!» А наш бригадир и говорит: «Таких нет у нас людей, как школьная семья». И на все правление. Я прослезилась от радости, какая я счастливая, столь я пережила трудностей. А счастье мое – здоровая была. Никакое горе меня не сломило. Все пережила, и детей не бросила, и всех воспитала, и всех нарядила.

Ну, была я очень строгая во всем. Это жизнь заставила такой быть. Забыла описать, что в 1945 году меня наградили медалью «Мать-героиня» за пятерых детей. Убитого Колю тоже посчитали. И вот, получила я столь денег-то, и на эти

деньги я купила Пете костюм. Очень хороший, как на его шитый. А ведь брала без размера. Сказала продавцам, вот подберите на этого паренька, стоял молодой человек в магазине. Спросили, какой надо размер, а я не знаю какой. Ну, удачный был костюм. Спросите сейчас Петю и Аню. Я думаю, они и сами уже помнят все. И как наряжала, и как они гуляли, особо в Накатах<sup>50</sup>. Это им запомнится на всю жизнь. Эта девочка в красненьких платьицах, эта милая детка моя. Один паренек за ней ухаживал. Ну, эту историю Аня добавит. Гремели мы на весь район. Я стала стесняться в Острове валенки продавать и возила в Ленинград.

### **1949 год**

Аню назначили на лесозаготовки, и очень далеко, за Ленинград, в Оятский район. И назначили трех девчонок из колхоза. А полна деревня мужиков. Так было обидно, опять сиротская доля. Проводила я Аню, слез пролила я по ней. Ну, одна была она там с октября месяца 1949 года по апрель 1950 года. Приехала по воде, весь снег растаял. В клубе зиму никого не было. Петя ходил в клуб, придет домой и говорит: «Нашей Нюрки нет, и в клубе три крестом»<sup>51</sup>.

Когда она приехала, да как собралось у школы народу. Все, стар и мал. Четыре деревни. И она

---

<sup>50</sup> Один из вариантов понимания: накат – просторное помещение над скотным двором.

<sup>51</sup> Неясное выражение.

так поправилась да загорела. Как будто с курорта приехала. Ели они досыта, работали на воздухе. А года-то, в самом соку, 18 лет. План она выполнила, получила премию шестьсот рублей, привезла домой. Тогда я ее проводила в гости в Ленинград: «Погости да сфотографируйся в таком возрасте, дорого будет посмотреть. А на свою премию, – я сказала, – купи чего хочешь». И она купила себе патефон и пластинок. Тогда у нашей школы так было весело. Даже в будний день собирался народ послушать пластинки.

Потом мы делали торф для топлива. Во Псковской лесу нет и делают торф, и сушат, и топят печь. Вот мы сели отдыхать, а дочь Аня и говорит: «Мама, я сейчас думаю, как сон вижу, ехала бы я на новом велосипеде и в новых туфлях, и на руке часы». А я говорю: «Давайте продадим корову да и купим». А у нас была корова да нетель. А нетель-то молодая и отелилася. А не разрешали двух коров держать. Нам надо продавать какую-нибудь. Вот и повели с Петей на базар в мае месяце. Продали за тысячу рублей. Да своих накопила денег, зарплата да пенсия. И поехала в июне месяце в Ленинград. И купила Пете велосипед за восемьсот рублей, а дочери часы за четыреста рублей, да цепочка 50 рублей. Не хватило коровы, добавила. Ну, было радости-то. А кататься Аня уже научилась. Потом Пете купила гармонь, тоже очень хотел. Вот стало у Пети велосипед да гармошка. А у Ани патефон да часы. Это сверх всего наряда. А ребят-то сколь

за Аней гонялося. Все ее были, выходи замуж за любого. Она мне сказала: «Не хочу я здесь жить. Как мы чужие-то, всегда будем чужие, да притом беженцы. Сколь в деревне мужиков, а меня назначили одну на лесозаготовки». Да. Она была права.

Стали только все завидовать, стало больше ненависти. Учителя, с которыми я долго работала, уволились. Одна вышла замуж, а вторая уехала в Гатчину. А к нам прислали такую шлепу. Ленивая, ничего у ней нет. Стала по народу говорить, что уборщица живет богаче, чем учитель. У нее как птицетрест, сколь кур да уток. И правда, куры, да цыплята, да утки, да всегда было три гуся. Да голубей было много. Да как все вместе-то.

## **1950 год**

Стала нас учительница притеснять в огороде. Сказала, что я возьму подопытный участок. Стала притеснять и в сарае. У нее была корова, ну горе, а не корова, за скотом тоже надо уход.

В конце 1950 года стал к Ане свататься парень, в Ленинграде жил. А сам родом из Чухломского района, деревни рядом были. У него своя комната, мать, сестра. Ну и решила моя дочь выйти замуж в Ленинград. 3 февраля 1951 года я сделала свадьбу. Жених приехал в деревню, и в сельсовете записались. Надо бы в Ленинграде записываться-то. Ну, ей паспорта не давали. А когда записалась, то выдали паспорт. И оставила она всех ухажеров во Псковской. Ну, по сие время у нас дружба со

Псковской. И сейчас гостимся в деревне Пупорево. И приходится вспоминать свою тяжелую жизнь.

А свадьбу-то я сделала на славу. Говорили: «Ну, у школьной и свадьба, таких мы не можем сделать». Водки много было, да я браги наделала. И позвала я одну молодежь. Так плясали, досыта.

## **1951 год**

Выдала я дочь замуж. Сын Петя на тракториста выучился. Я раз пришла в свой магазин, а меня из соседней деревни женщина спрашивает: «Ну как ты живешь-то, только с маленькими осталася?» А я говорю: «Сын еще большой». – «Разве у тебя сын еще есть?» А учительница из другой школы ей и говорит: «Разве ты не знаешь ее сына? Что нарядней, и красивей, и степеннее. Нет таких ребят в клубе, как ее сын». А со мной стояла наша соседка, та слушает. А у нее тоже сын, ровесник Пети. Мне неудобно стало, что моего так хвалили, а еёного нет.

Потом пришла весна. Снова учительница начинает отбирать огород. И если пошла такая зависть, то лучше уйти с работы. Пете дали в эмтээсе<sup>52</sup> комнату, в деревне Федосино. Я решила туда уехать, место хорошее. А мне в сельсовете не советовали уезжать. Секретарь сказала: «Тетья Дуся, потерпи. Ее скоро снимут с работы – только доучит учебный год». Ну, я поспешила – май месяц, надо огород

---

<sup>52</sup> МТС – машинно-тракторная станция.

садить, а то без картофеля останешься, годовое дело. И я переехала за семь километров в эмтээс, деревню Федосино. Ну, там комната была большая.

А со скотом моим горе у меня было. Корова, нетель, теленок, поросенок, четыре матки овец и восемь ягнят и куры. Как я привела такое-то стадо, так все глаза и выпучили: «Вот так и вдова! Без мужа, а такое хозяйство имеет». А там живут жены, одна коровка. Сидят весь день у магазина и лясы точат, а мужавья в эмтээсе работают. Вот дали мне угол, где корову поставить да овец. А поросенок да нетель в другом хлеве. А кур девать некуда. Я загнала их к одной соседке, а яйца уже не спрашивала. Даст, так даст, а что и нет.

Пришел сенокос. Кому покосу дали хорошего? Директору, помощнику директора, замполиту да таким головкам. А нам, рабочим, не покос, а горе. Я и думаю, это не житье. Я только накосила на одну овцу. Корову надо продавать. А без коровы в деревне не житье.

Пришла осень 1951 года. Петю взяли в армию. А что я с такими малышами буду делать. Поехала я в Ленинград, посоветуюся с дочерью – в колхоз вступать или в Ленинград ехать. В Ленинграде с пропиской было плохо, только дворников прописывали, да в школу уборщиц. Я поузнала, приехала домой. А ребят-то оставила у соседки – Колю и Лиду, им было по шесть лет. Я продала корову и нетель. Стала я резать баранов и возить мясо в Ленинград. А корову и нетель в Острове на племя

взяли. Кур я рубила с лета, все равно бесполезно было держать. Как я стала резать овец маток, у меня сердце разрывалось от жалости. У двух по двоим ягнятам оказалось, и у двух по тройне. Такое было горе, такой переворот получился в жизни. А вот все говорили: не к добру, когда корова двойню принесет. Вот у меня так и получилось. Когда я выдала дочь замуж, в феврале, а в марте корова принесла двойню, и обе телки. Четыре овцы объягнились, и все попарки<sup>53</sup>, и все овечки. Поросенка купила, свинка и нетель была взята от хорошего племня. И когда я уезжала в 1941 году с родины, тоже корова двойню принесла, тоже на перевод. Продала я всю скотину и собрала ребят и поехала в Ленинград.

Надо мной охали все: «Ну и женщина смелая, ну-ка с такими ребятами поехала. Одиночки ездили да обратно приехали. Как она рискованно живет». А я сказала: «Труссы в карты не играют». Приехала я не к дочери. Куда там мешать, не сама она хозяйка. А я въехала к знакомой и пошла искать работу. И как-то скоро нашла. Иду, а мне знакомая говорит: «Ты не нашла работу?» А я сказала: «Нет». Она и говорит, пойдем, я видела на двери записку: «Требуется техничка и предоставляется жилплощадь». Вот я и пошла с ней. И меня сразу взяли. Ну, жилье было – горе. В такую комнату привел завхоз, не войти, везде насрано.

---

<sup>53</sup> Двойни.

Завхоз был пьяница, и порядка в школе не было. Я, конечно, согласилась. Я бы была одна, а то ведь двое детей, да маленькие. Пошла я за ребятами. Привезла. Рада и этому углу. Ну, я так похудела с тоски, как нарушила хозяйство. Вроде крепилась, не давала себя в обиду, ну, сердце и нервы не выдерживали. Я так похудела, одни кости были. Сейчас есть фотокарточка, какая я была в 1951 году. Ну, я не каюсь. И не каялася и тогда, что нарушила хозяйство. Там была чужая крыша и здесь чужая. Ну, здесь хоть хлеб был хороший. Приехала я в Ленинград в ноябре месяце 1951 года. А школа-то была мальчиков, и мой Коля 1 декабря пошел в школу добровольцем, не записанный, уж больно хотел учиться. А я их не хотела отдавать, они из двойни были маленькие. А Коля так и стал учиться.

## **1952 год**

Петю угнали служить на Дальний Восток. Письма шли целый месяц, едва дождешься письма. И дочь когда выдала, тоже так тосковала, нигде места не находила. Да еще хозяйство нарушила. Сейчас я не представляю, как я все пережила. Ну, я стала работать в школе. Мне работа была знакомая. Я себя и здесь показала. Кто бы по моему этажу ни прошел, везде был порядок. Ко мне на этаж и врачи не стали ходить, махнут рукой и пошли дальше. Доверие было до всего. Ребятам наказывала, чтобы нигде и ничего не дотраги-

ваться. Я была очень строгая. Я боялась, что без отца растут. Ну, никто и никогда не сказал, вот твои ребята что-то натворили. Когда Петя и Аня были тоже маленькие, и никто на них тоже не обижался. Сейчас стали Лида и Коля то же самое, примерные ребята. Дай Бог всем матерям таких детей, как у меня.

Прожила я в школе с 1951 года до 1966 года. В школах платили мало, по двести рублей в месяц, по современным деньгам двадцать рублей. Как надо было жить? Двадцать рублей на одной работе, да двадцать рублей по совместительству, да пятнадцать рублей пенсия. Да вязала я по ночам жакетки. Как месяц, так и жакет связывала за десять рублей. А надо купить и пальто, и форму, и платье, и ботинки. И в пионерский лагерь тоже надо и сандалии, и майки, и трусы, всего надо. И мне приходилось питаться на один рубль в день троим. Я покупала с получки один килограмм сахара и один килограмм песку, и до следующей получки. Если хватало, то пили воду, а чай-то я и не покупала. А батон тоже с получки, а то брала самую дешевую булку. Ну, я была очень рада, что хлеб был досыта. Да притом хороший. А каких фруктов я никогда не покупала – ни яблок, ни ягод, ничего. Пока своя дача не стала.

### **1953, 1954 годы**

Живу помаленьку. Взясая я работать по совместительству в Доме пионеров. И вот, расскажу случай.

Там завхозом была эстонка. Везде она меня послала по магазинам и по школам. В Доме пионеров были разные кружки. Кто на баяне играл, кто на рояле, кто акробаты, кто в духовом оркестре. И был балет. Я все знала, как что называть. И вот раз меня послала завхоз в магазин за багетом. А я никогда этого слова не слыхала и не видывала, что такое багет. Завхоз научила меня расписываться за нее. Я приехала в магазин еще с одной уборщицей. Вот мне заведующий магазина и говорит: «А как вы повезете двое? Вам не увезти». А я еще и не знаю, что везти, и сказала: «Увезем». Пошла я получать этот багет и гляжу – как же мы повезем, не знаю. Завхоз-то нас послала на трамвае. А тогда по проспекту Стачек ходил 22-й трамвай, а время-то пять часов вечера, все с работы едут. Вот мне заведующий магазина и говорит: «Вы садитесь на троллейбус и поезжайте до Московского вокзала и возьмите там грузотакси».

Я поехала к Московскому вокзалу, подхожу я к большой машине. А машина-то ЗИМ. А я не понимала, что такое ЗИМ и что такое грузотакси. Подошла я и спрашиваю шофера: «Ваше грузотакси?» Шофер поглядел на меня и наверное подумал, что бабка-то дура. И он говорит: «Да, да. Мое грузотакси. А что вам надо?» А я и говорю: «Мне надо балет везти». А он спрашивает: «А куда?» Я сказала: «В Кировский район, в Дом пионеров». Тогда шофер спрашивает: «А поместится в машину?» А я говорю: «Поместится». И окидываю глазами

машину-то. А он опять спрашивает: «А сколько их?» А я говорю: «Не так много, как длинные». А он: «А как длинные?» А я и говорю: «Да побольше двух метров». Да как он захохочет надо мной. Тут подошло других шоферов много, кругом машины обступили меня. А я и говорю: «Чего вы зубы скалите? Я же с ним самостоятельно разговариваю». А они опять захохотали. И мой-то шофер тоже не может терпеть, смеется. А мне-то не до смеха, я стараюсь договориться. Тогда мне шофер и говорит, что наша машина дорогая. И я спросила: «А сколько стоит?» А он мне и говорит: «До Нарвских ворот тридцать рублей». А я говорю: «А там одна остановка, я уплачу». У шоферов глаза на лоб, что, мол, бабка-то нищая, а так деньгами кидается. А я была в шубе, на голове вязаный платок, сапоги с калошами, а пятки голые. Потом шофер спросил: «Где ваш балет находится?» А я говорю: «На Невском, угол Литейного». И он меня понял тогда и говорит: «У вас не балет, а багет, наверное?» А я тогда: «Да, да, багет. Ну к лешему, перепутаешь». Вот сели мы и поехали. Пока погрузили да доехали до Дома пионеров, и начикало на пятьдесят рублей. Подъезжаем, выходят директор и завхоз и плечами жмутся: «Вот так Макарова! На чем подъехала». Ну и заплатили пятьдесят рублей. А насмешила-то я на все сто рублей.

Вот так и приходилось все переживать.

Ну, я потом рассказала, как я машину нанимала. И даже просили рассказать еще раз. Ну



Евдокия Константиновна с младшими детьми Колей и Лидой.  
Ленинград, середина 1950-х  
*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

и все смеялись досыта. А я – что? Во-первых, я неграмотная. А во-вторых, в городе я не жила и многих слов не знала. А вот похоже, балет и багет. А еще контрабас и колумбус. Еще типография и фотография. Тоже похожи. Ну, хоть я и посмешила, зато много я узнала в Ленинграде, не каюся. Все сошло. И проработала я в Доме пионеров три года по совместительству. А в школе, где жила, была одна смена, ребят после войны было мало. А потом я стала в школе две смены работать да и три.

Стали мои ребята подрастать. Надо обоим пальто и форму, в школу ходят оба. Так и тянула их. Ну, ходили в школу в хорошей форме, худую не покупала, невыгодно тряпки.

## 1955 год

Второго января пришел Петя из армии домой к маме. Когда его брали в армию, мы жили во Псковской области. А закон такой – где призывался, туда и домой направляли. А я-то переехала в Ленинград. И вот пошел Петя прописаться в райисполком, в военкомат, в милицию. Везде отказ. Только и говорят: где призывался, туда и поезжай. Все его заявления насмарку.

А как отпустить сына одного в чужую сторону? И вот я написала сама, своей рукой, заявление на райисполком и пошла. Заняла я очередь в семь часов утра, а прием был в семь часов вечера. Вся переболела за это время. Что-то скажут, отказ или разрешат? Я описала все, что сумела. И что дом не раз горел, и про войну. И что сына немцы расстреляли, муж погиб на фронте. И что я жила во Псковской области беженкой. У меня там нет ничего. И поэтому прошу прописать сына ко мне. И вот пришла наша очередь. Захожу я с Петей в кабинет в райисполкоме. Он нас принял вежливо. Сказал: «Садитесь, и что скажете?» Я подаю заявление, а у самой руки трясутся. Он стал читать, а у меня слезы градом. Когда он прочитал и говорит: «А какая у вас площадь?» Я сказала: «Четырнадцать метров». А он сказал: «Да, площадь-то мала». А я стала просить: «Не оставьте без внимания, куда я отправлю его одного?» И тогда он стал писать резолюцию на разрешение. И Петю прописали на



Евдокия Константиновна, ее брат Иван Константинович Ключев и сводная сестра Вереня Александровна Ключева. Ялта, 1958  
*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

казенную площадь ко мне в школу. И только тогда он пошел искать работу. И устроился сперва плотником. А он у меня тракторист и мог бы машину водить, ну, мало грамоты, четыре класса. И вот Петя пошел в вечернюю школу, окончил семь классов. А потом перешел работать столяром-краснодеревцем. И работу освоил хорошо. И в скорое время дали ему шестой разряд. А в 1960 году дали ему комнату как хорошему рабочему. Никаких замечаний за ним не было, только все отлично. Вот и проводила я Петю в свою комнату 16.10.60-го года. А в 1962 году женила.

Так и жила я в школе безизменно. В 1958 году я в первый раз собралась к братке, Ивану Констан-

тиновичу Ключеву, в Ялту, вместе с сыном Колей и сестричкой Веренией. А Лида с Петей ездили на следующий год.

А в 1959 году уже который раз я от смерти ушла. Мыла окна в школе, на третьем этаже. А рамы были слабо вставлены. После ремонта рамы перепутали, и неправильно вставлены. Я держалась двумя пальчиками за косяк и проти-рала среднюю раму. А рамы должны открываться вовнутрь. А эта-то рама пошла вниз, наружу. Я и не знаю, как я устояла. Меня качнуло туда-сюда. Ну, только верю судьбе. Сейчас я не представляю, как я шатнулася в эту сторону, в класс. А был случай в этом же году, женщина упала и насмерть. И вот, как услышали, как упала рама, завхоз и бежит. Испугался, ему бы попало, он незаконно нас заставлял мыть окна. А окна-то высокие. На подоконник стул ставили и только тогда доставали до верха. Ну, я очень напугалась и не могла больше мыть так. А стала канат привязывать к батарее и на себя, и если упаду, канат сдержит. Вот, все же есть судьба у человека.

Дети росли, учились. Младший сын Коля окончил семь классов и пошел в техникум, четыре года учился. А потом в институт, шесть лет отучился. А сейчас работает инженером.

Дочь Лида окончила семь классов и пошла в ПТУ на продавца учиться. И работала хорошо два года. Ну, перешла на радиозавод намотчицей работать. В магазине не было выходных дней, и в вос-

кресенье работала. Из-за этого и ушла. А потом, вскоре, воскресенья стали выходными.

Старшая дочь Аня работает на Ленфильме много годов, не знаю с какого года, рабочей. У нее тоже мало грамоты. Война все наделала. Училась она хорошо, до войны было окончено три класса, но тут война, голодовка. Школ не было четыре года. Бедность, сиротчество. Пошла работать. Да и не одна она, а большинство ее ровесников все работать пошли, не до учения, разруха кругом. Сейчас у Ани два сына. Старший сын с 1951 года, а младший с 1960 года рождения. А у Пети сын с 1963 года.

В 1960 году поставили меня на очередь на жилплощадь. Очередной номер был пять тысяч. И прожила я в школе до 1966 года и получила квартиру. Благодарю всех руководителей и рабочую силу и все наше советское правительство. Хотя сколь я настрадалася и наскиталася по чужим крышам, а под старость я отдыхаю. 1966 год был у меня радостным. Я кончила работать, взяла расчет, на пенсию пошла. А летом я ездила в Ялту к брату, и Боря, мой внук, был со мной. 17 сентября я приехала домой, а 24-го справили новоселье в тот же день, народа было десять человек. А было холодно, окна были не заделаны, газ не включен, замерзали ночью. Ну, утром взялись за работу. Николай, зять, и Петя помогали – заделали окна, приколотили карнизы, в шкафу полки сделали. Всего поработали хорошо. А потом я сде-



Евдокия Константиновна в окружении близких. Стоят: слева дочь Анна с мужем и двумя сыновьями, справа сын Петр с женой и сыном. Сидят: слева дочь Лидия с мужем и сыном, справа сын Николай с женой и дочерью. 1976

*Из семейного архива Е. К. Макаровой*

лала настоящее новоселье. Всех гостей созвали, было тридцать человек. И как-то всего хватало, все были довольные. А мебель справляли по деньгам, не сразу.

### **1967–1977 годы**

1967 год тоже был хороший, в сентябре месяце дочь Аня получила квартиру. Тоже была большая радость. 4 декабря 1970 года Лида вышла замуж. Свадьба была шикарная, гостей было много, гуляли три дня. В августе 1971 года Коля женился. А 5 октября 1971 года Лида родила сына Костю. В 1972 году у Коли родилась дочь Аня. Делали крестины.

Живут все хорошо.

В 1975 году Лида купила телевизор цветной за 650 рублей.

Ну, живу как в сказке – и тепло, и светло, жить – не изжитья. Да только болеть стала часто и серьезно.

31 января 1976 года я отмечала юбилей. У меня должна была быть золотая свадьба. Ну а как золотого нет, я справила Евдокию Великую мученицу и пятьдесят лет моей трудовой и семейной жизни. Собрала всех моих землячек по Костромской, всю свою родню. Коля стихи мне посвятил. И наплакалась я, и посмеяться было над чем. Прошло все хорошо. В общем, дети у меня все женатые, все живут хорошо. У меня шесть внуков и внучка. У Коли кроме дочери еще сын Павлик с декабря 1977 года рождения. А у Лиды второй сын Коля, и тоже с декабря 1977 года. И я на этом кончаю писать. Потому что стала стара, стало нечего писать. Живу хорошо, слава Богу. Надо уже умирать.

Дальше пишите сами.

# История рукописи Евдокии Константиновны Макаровой

**Валентина Травникова**

Так сложилось, что сегодня кроме меня, дальней родственницы автора этих воспоминаний, рассказать о судьбе рукописи некому, хотя я и мало что знаю об этом. Евдокия Константиновна Макарова – сестра бабушки моего мужа, то есть наша двоюродная бабушка. Связь далекая, поэтому виделась я с нею, с ее детьми и внуками редко, главным образом на больших семейных праздниках. Слышала, что она пишет воспоминания, но тогда меня это не очень интересовало. Ее брата – нашего дедушку, Клюева Ивана Константиновича, жизнь тоже была нещадно. Пройдя Гражданскую и демобилизовавшись, он осел в Ленинграде. Там в 1932 году был осужден как троцкист – три года высылки в Восточную Сибирь. Отбыл срок, в большие города ему ходу не было, поэтому уехал в Ялту (семья осталась в Ленинграде). Потом война, фронт, тяжелое ранение. В 1949 году по доносу (якобы восхвалял Иосипа Броз Тито и раздувал заслуги Жукова) снова был осужден, дали 10 лет ссылки и отправили в Красноярск. Через два года новый срок, на сей раз по 58 статье приговорили к 10 годам лишения свободы. С наступлением хрущевской оттепели вернулся в Ялту (реабилитирован только в 1962-м), начал восстанавливать связи с родней – ездил на родину, навещал сестру в Ленинграде, регулярно с ней переписывался. Умер Иван Константинович в 1983 году; младший сын Евдокии Константиновны, Николай, был на его похоронах. Поскольку он интересовался историей семьи, то забрал хранившиеся у дяди письма к нему сестры. После смерти матери (1984) Николай занялся



Валентина Вячеславовна Травникова (справа) в гостях у старшей дочери Евдокии Константиновны, Анны. 2012

перепечаткой ее рукописных тетрадей и писем. Машинописные листы были переплетены в две книги, в первую вошли воспоминания, во вторую – письма к брату с некоторыми дополнениями. Здесь Николаю очень помог племянник, сын старшей дочери Евдокии Константиновны, Анны. К несчастью, Николай рано ушел из жизни, а продолжать его дело было некому.

Сама я историей семьи всегда интересовалась, но смогла всерьез этим заняться только вырастив трех сыновей и выйдя на пенсию. И тут выяснилось, что время ушло, стариков нет, спросить не у кого. Стала искать документы, опрашивать родню. Связалась с вдовой Николая, надеялась, что хранившуюся у него переписку нашего дедушки с сестрой семья сберегла. Однако из сбивчивых ее ответов поняла, что не только вся переписка, но и рукописные тетради Евдокии Константиновны не сохранились. Возникла слабая надежда,

что какие-то письма дедушки были перепечатаны, а значит надо связаться с Анной, коль скоро ее сын участвовал в оформлении книг. Не без труда нашла ее телефон, созвонились и встретились. Того, что я искала, у нее не было, зато оказались обе книги.

По моей просьбе сын Анны снял с них ксерокопии. Прочла замечательные воспоминания Великомученицы, ее письма, в результате историю моей семьи удалось во многом дополнить. Отыскивая костромских земляков в надежде что-то узнать у них о нашей семье, я познакомилась с Михаилом Шейко. Он родом из той же деревни Елюнино, что наш дедушка и Евдокия Константиновна. Рассказала ему о ее воспоминаниях, естественно, он захотел их прочесть. Выслала сделанную моим сыном Алексеем электронную версию, и стараниями Шейко и краеведа Татьяны Бойковой воспоминания были размещены на сайте Чухломы (<http://live.kostromka.ru/kostroma-state/makarova-15927/>) и напечатаны в журнале «Чухломская быль». Эти публикации получили много откликов, и уверена, что круг читателей воспоминаний будет только расширяться.

*Николай Иосифович Скрылев*

## **Родословная моим дорогим «сынкам» – Вале, Вере, Любе, Наде, Тане, Оле, Наташе**



Крестьянин Николай Иосифович Скрылев (1926–1995), уроженец Воронежской губернии (ныне – Липецкая область), записывал то, что вспоминалось, и передавал заполненные листы заведующей школьной библиотекой, которая сводила его записи в единое повествование, стремясь придать ему форму живого устного рассказа. У публикатора, работавшего с хранящейся в «Мемориале» машинописной копией объемной рукописи, возникли известные трудности при передаче прямой и косвенной речи героев описываемых событий. Пришлось, при максимально бережном отношении к оригиналу, для удобочитаемости расставить по необходимости знаки препинания, хотя для сохранения самобытности авторского стиля допущено много вольностей по отношению к грамматическим нормам. Реалии, требующие пояснений, снабжены комментариями.

А то уже годы, вдруг умрешь понарошку, а заруют взаправду, и все унесешь с собой, а рассказать-то есть чего. И так не выполню вашей просьбы, как, например, меня давно очень просили Вера, Оля, Валя, да и остальные. Я вот, например, не знаю, как фамилия родной матери, т. к. не было от нее родословной, да и какое ей, бедняжке, в то время было родословное. Родился я 30 декабря 1926 г. в селе Верхний Ломовец. Отец мой был Скрылев Иосиф Михайлович, у отца отец – мой дедушка Михаил Емельянович, а дедушкин отец Емельян Сергеевич – этот уже жил во времена Пушкина, т. к. мой дедушка рожден в 1852 г., а отец в 1888 г. Родился мой батя в бедной крестьянской семье. Их в семье было 7 братьев и две сестры. <Нрзб> дедушка Михаил Емельянович, когда были дети маленькими, приходилось ходить по миру, т. е. побираться. Все семеро сыновей моего дедушки были здоровые и поэтому служили в армии, а сам дедушка в свое детство в своей семье был один сын, и он в армии не был, считался как кормилец семьи, и таких по указу царя – последнего сына, или если сын вообще один, – в армию не брали, считали кормильцем.

И вот когда дедушкин год призывался в армию, товарищей его забрали, т. е. взяли, а его комиссия отпустила домой. Тех, кого отпускают домой, т. е. не берут, им очень плохая была кличка и, главное, от тех, кто пошел служить. Проходит время, товарищи его служат, а он дома по хозяйству со своими

стариками копаются. И вдруг один из его товарищей приходит из армии в отпуск в конной форме, весь в ремнях, и идет по Ломовцу выпивши, а дедушка Миша идет навстречу и не здоровается, солдат называет дедушку тем плохим именем, которым называют, кто не служит, т. е. кого не взяли. Дед вскипел, хватает его под поясной кожаный ремень, поднимает одной рукой в воздух, поворачивает его там и приговаривает: что же ты, сукин сын, врешь, что же, я сам не пошел? Я же по цареву указу дома нахожусь.

Тот солдат видит, дело плохо, стал сверху его умолять, говорит таким ласковым голосом: Михаил Емельянович, отпусти, пожалуйста, меня наземь живым, я пошутил. Он, солдат этот, боялся, что он его оземь шарахнет и душа вон. Дедушка опустил его на землю и, красный, потный, ушел, не тронул его даже пальцем. Солдат его звал в трактир, не пошел. А люду собралось, т. е. сбежалось, пока дед солдата в воздухе вертел, полным-полно. Придя домой, дедушка, а в то время он еще был неженатым, попросил у матери денег и пошел в шинок, и так напился, что домой еле дошел. Возле дома стояло дерево, лозинка, старая и сухая, и вот дед в ярости стал ее валять, со всех сторон заходил, но все же свалил, за всем за этим наблюдала старушка через дорогу и, когда дедушка свалил дерево, она говорит: господи, так это же бурелом, ее ни один буран не взял, а Михаил свалил, он, окаянный, настоящий Бурелом. Так вот и прозвали

деда Буреломом. И вот уже более 100 лет появилось в Ломовце подворное прозвище Буреломовы, которое существует и на сегодня.

В отличие от отца моя [мама] Татьяна Федоровна (кажется, Ноздреватых) имела 6 сестер, с нею 7, и мать их, мужчин не было у них ни одного, и поэтому по цареву указу им земли не давали ни вершка.

И все дети, т. е. девочки моей бабушки, ходили батрачить к богатым, там и выросли. По милости общества, т. е. сходки, бабушке давали клочок земли на бугре, где в засушливое лето не бывало ничего, выгорало. Дедушку моего по матери звали Федор Арапов, а сам Арап был дедушкин отец, как и откуда появилась эта кличка Арап, мне ничего неизвестно, никто не рассказывал. Но очевидцы рассказывали мне, что был сверхбольшого роста, ходил без штанов, а носил одну рубашку ниже колен. Рубашка была самотканая, не разорвешь. Сын его Федор, а мой дедушка был под стать отцу большой, умер рано и не своей смертью, а дело было так.

У нас на Нижнем Ломовце 4 октября престол Митростов<sup>1</sup>, и в этот день у них ярмарка очень большая, приезжали издалека, были якобы и из-за границы. И вот дедушка Федя шел с ярмарки домой, т. е. с Нижнего Ломовца, а ведь, как я вам говорил, там престол, люди пьяные, и видит: нашего верхнеломовецкого мужика нижнело-

---

<sup>1</sup> Праздник Обретения мощей св. Димитрия, митрополита Ростовского.

мовецкие бьют, и дедушка решил заступиться. Тот, кого били, убежал, а дедушку сбили с ног и били чем попало, а один дед всё сапоги обновлял, бил новыми сапогами под бока. Дедушка домой добрался, 2 месяца полежал и умер. Осталось у бабушки 4 девочки Федоровны. Так как без мужика в доме нельзя, бабушка приняла во двор мужчину, но он болел – дергался, и еще появились 3 девочки Долматьевны.

Рассказывали мне и за жену деда Арапа, а то я вам рассказал за деда Арапа, а за бабку нет, так вот она была тоже большая, сама запрягала лошадь, делала любые мужские работы. Раньше бесились люди от укуса собак, так кто-то забесится, звали Арапчиху, она легко справлялась с бешеным, связывала его, потом привязывала к столбу, чтобы не укусил никого, и уходила, наказав, если что чего, бежать за ней.

Так вот из семьи Буреломовых сын Осик влюбился в семье Араповых в дочь Татьяну, да она и правда была первая из всего Ломовца красавица. Мне не одна пожилая женщина рассказывала, которая помнила ее молодой: говорили, что многие в церковь ходили, чтоб увидеть и посмотреть Таньку Арапову. Был и не последнего десятка и Осик, не одна из девок поглядывала исподтишка в его сторону, но Осик был предан Тане, и Татьяна Осика тоже, вскоре доказали это.

Однажды из села Бунино приехал сватать Татьяну молодой врач, слух прокатился по

Ломовцу, дошел и до семьи Буреломовых. В семье заволновались, и две снохи из семьи Буреломовых тут же пошли в семью Араповых наперебой. Заволновался и Осик, дело было после обеда, он садится на лошадь, а еще две лошади в повод берет и едет якобы в ночное, т. к. Араповы жили в лесу, т. е. возле леса. Осик подъезжает к дому Араповых и попросил меньшую сестру Татьяны, которая бегала на улице, чтобы Таня вынесла ему напиток, пить он не хотел. И когда Таня вынесла ему пить, он спросил, глядя на нее сурово: «Ну что?» Татьяна ответила: «Ты что, Ось, с ума сошел, ни о чем не думай». Осик, не взяв кружки, проехал мимо тарантаса, на котором приехал врач сватать Таню, и углубился в лес якобы в ночное.

Таня так не вышла из другой половины, т. е. горницы, к сватающимся. Вот так и росли влюбившиеся друг в друга мои будущие отец и мать, т. е. Осик и Татьяна. Мать ходила по богатым людям батрачить, а отец попрос, а одеться не во что, и он решил, как и многие его ровесники, съездить на шахты, подзаработать и одеться. Прибыл на шахты, подошел к стволу, по которому опускают в шахту и вынимают оттуда, увидел, что люди вылазят из шахты мокрые и блестят только зубы и глаза, перекрестил эту яму, т. е. ствол, и пошел по украинским селам наняться в работники к какому-либо богатому хохлу. В поисках работы, на пропитание. Отец просил просто: подайте безработному; и люди подавали. Один из хохлов,

пока отец ел, присмотрелся к нему и предложил остаться ему у него в работниках. Отец сказал, что на постоянно я у вас не останусь, а на один сезон. Договорились. Отработал отец сезон, пришла пора рассчитываться. Хохол и говорит: слушай, Осик, оставайся у меня зятем, дочь моя тебе ровесница, все, что есть, тебе подпишу, а нам с бабкой только дожить у вас. Отец сказал: нет, хозяин, меня ждет невеста; и рассказал: она бедная, у нее земли нет, она и все ее сестры работают в батрачках.

Хозяин удивился, что отец не хочет принять его богатое хозяйство, а рвется к бедной невесте; сказал: Осик, а значит твоя невеста красивая; отец ответил: да, недурная. За откровенный, старательный отцовский труд его хозяин рассчитал хорошо, т. е., как батя говорил, по-божески.

Отец поехал в город, обулся, оделся, и когда на наш престольный праздник Покров, т. е. 14 октября, вышел на улицу, то был одет лучше местных богачеев, и отцу своему Буреломову привез 15 руб. Это в то время были большие деньги. Отец мой с детства играл на рояльной гармошке, научился у своего старшего брата Петра и впоследствии обошел его в игре, да где не обойти, если он услышал от людей, что черти ночью в погребе помогают играть, так он туда не раз лазал. Семья у деда Бурелома была большая, и ночью во двор выходили часто; выйдут, а он в погребу, закроется крышкой, чтоб не слышно было, и надрывается. Но дело ясное, кто выходил до ветру и услышал игру, при-

ходил, будил деда Бурелома, т. е. его отца, и говорил ему, тот поднимался и выгонял его с кандибобером, т. е. с шумом, получал ли он за это ремня или нет, мне батя не говорил. А однажды почище устроил. Прослышал он, что черти очень хорошо помогают научиться играть – в бане на страшной<sup>2</sup> неделе играть постом, также ночью. Вот он туда, т. е. в баню, забрался на страшной неделе и разливает. Баня была соседская через дорогу, идут две женщины, и отцову-то игру знали, и говорят одна другой, да ведь это Осик Буреломов играет, и сразу же к отцовой матери, и говорят: тетя Фрося, твой Осик в бане играет; бабушка моя остолбенела и говорит: да вы что, на страшной неделе, да еще в бане. Берет палку и с этими молодыми женщинами к бане, там, правда, играет, бабушка к двери, но отец из середины закрылся, она кричит и бьет палкой по двери. Ты что, такой-сякой, в бане да еще на страшной неделе играть, убью. Он при молк, но дверь не открывает. Мать бате напричитала всяких угроз и ушла домой, обо всем рассказала мужу, деду Бурелому. Но когда пришел домой, отчитать отчитали, но не били, он же был жених, а братья над ним смеялись, оно и вправду смешно, ведь рядом церковь стояла, там служба идет, а он в бане на гармонии разрезает на страшной неделе.

Играл отец неплохо, и, как я вам уже говорил, на него не одна девка поглядывала, но он своей

---

<sup>2</sup> На Страстной неделе.

невесте, т. е. моей матери, не изменял. Так эти самые девки его через песни доканывали. Отец идет играет Елецкую, а девки корогод<sup>3</sup> идут за гармошкой и поют под отца. «Задается бурлыга, на семь братьев одна рыга»<sup>4</sup>. А куда, говорил отец мне, денешься, не будешь с девками ругаться, а это правда, нас же 7 братьев, а рыга одна. Да, забыл вам рассказать о бане, в которой батя учился играть на гармонии. И вот дед, он Бурелому сват, т. е. хозяин этой самой бани, в субботу натопит эту баню, чтоб искупаться как положено всей семьей. Первым наряжал пар, т. е. купался, дед хозяин, и последним, когда все перекупаются, тоже дед купался второй раз, это уже в полночь. И вот его внук, зная повадки деда, взял шубный пиджак, вывернул его шерстью на улицу, залез в баню тайно от всех, лег в вывернутом пиджаке на полку. Немного погодя заходит туда дед хозяин, чтоб повторно искупаться. Света в бане нет, и он шупает полку, где бы одежду положить, а потом свет зажечь, и вдруг шерсть нащупал, чего сроду там не было, и говорит: свят, свят, да как вылетит оттуда пулей, пиджак с него соскочил, опорки от валенок с ног тоже слетели, а он вылетает в дом – и на печь, крестится, а внук за ним бежит и орет: дедушка, это я! И тоже в дом входит в вывернутом пиджаке. Тут только все и всё поняли.

---

<sup>3</sup> Хороводом, компанией.

<sup>4</sup> Дразнилка не вполне понятная. Бурлыга – возможно, от «бурыга», прозвища человека с бурым цветом лица, или исковерканное – от «Бурелом»; рыга – крестьянская рига.

Стали внука ругать, а дед выпорол его только на другой день, сразу не годится. Вот в этой-то бане и «сдавал экзамены» на гармониста мой отец Иосиф Михайлович. За год до ухода в армию мой отец Осик женился на Татьяне, чтоб ее не потерять во время его службы в армии. У них в 1910 г. родилась дочь Оля, которая вскоре умерла, и в этом же году 1910 отца забрали в армию. В 1914 г. он должен был демобилизоваться, но началась война с немцами, в 1917 г. революция, и прибыл отец домой в 1921 г., откушав на войне под крепостью Осовец немецкого газа. Самая младшая сестра моей матери Соня вышла замуж за бедняка, т. к. и сама была батрачка, нашего ломовецкого Скрылева Дмитрия, нашего однофамильца, но не родня. Вскоре после женитьбы Сонин муж Дмитрий и его брат Андрей уходят вместе воевать за власть Советов.

У тети Сони, она моей матери родная сестра по матери, а по отцу нет, т. к. мать Федоровна, а тетя Соня Долматова<sup>5</sup>, так вот у нее рождается сын, назвали Иваном, а дядя Митя со своим братом Андреем воюют в Красной гвардии в кавалерии. В одном из боев Дмитрия ранило. Брат Андрей его перевязал, оставил в балке с остальными ранеными, сказав Дмитрию, вот мы сейчас белых турнем, и я к тебе заеду, и мы вас всех отправим

---

<sup>5</sup> Мать автора – Федоровна по отчеству, а единоутробную сестру матери автор называет здесь «Долматова», хотя выше дочерей бабушки «Арапчихи» от второго мужа, а скорее сожителя, он именует «Долматьевны».

в медпункт. А кавалерия белых, сделав кольцо, снова заехала в эту балку. И когда брат Андрей заехал к раненому брату, с ужасом увидел – все раненые были белыми порублены. Андрей хоронил брата Дмитрия, положил в могилу 15 кусков. На 15 частей разделали белые отца младенца Ивана. Об этом было сообщено в сельсовет. Да и брат Андрей жив остался. Когда эта ужасная весть дошла до жены Дмитрия, тети Сони, она ахнула и вскорости умерла. Остался сын Дмитрия и Сони круглым сиротой. Его решила власть сдать в приют, т. к. в сельсовете были документы, что отец Ивана порублен белыми. К этому времени пришел мой отец с войны, где пробыл 11 лет. Детей у них с матерью не было, и мать говорит: Ось, давай Ваньку возьмем к себе. Взяли. Прошло время, и у них родилась дочь Дуся, за ней Нюра – умерла, потом родился я, Николаем меня назвали в честь праздника зимнего Николая Угодника, или Чудотворца, как первого сына, и, чтоб меня не простудить, батя мой попа и купель приволок на дом.

Отцом крестным взяли купца, а мать крусную<sup>6</sup> купчиху. Купцы уважали батю за то, что он им часто ездил в Елец за товаром на своей лошади, а главное за то, что он у них всегда был за гармониста, когда они гуляли, а купцы часто бесились, т. е. гуляли. Батя в то время славился как хороший гармонист, и за ним даже с Ельца приезжали бога-

---

<sup>6</sup> Видимо, крестную.

тые люди, чтоб поиграл на их весельствах. Так как я родился 30 декабря, обед в честь моего рождения делали на Рождество, съехались очень много родных, ведь у отца 7 братьев и 2 сестры, а у матери 7 сестер<sup>7</sup>, а сколько знакомых. И каждая семья привезла свой обед на родину (мне рассказывали очевидцы, что подводами был уставлен весь батин огород, а харчей навезли, наверно, на полгода). Как я вам уже говорил, батя прибыл с войны в 1921 г. Все сыны дедушки Бурелома воевали. И ведь повезло, все остались живы, [отец] только газу схватил, дядя Костя весь израненный и весь в крестах был полный кавалер Георгиевского креста, да меньшого Ивана чуть живого привезли с Касторного брата в тифу.

Какие бы трудности ни были, но война кончилась, Революция свершилась, дети деда Бурелома прибыли домой, семья стала быстро расти, сыны все поженились, в семье было 7 снох, руководил этой большой семьей дедушка Бурелом, т. к. бабушка, жена дедушки, умерла в 1905 г. и он больше не женился. Как только все братья прибыли домой, они стали делать себе дома своими силами. Сами кирпич жгли, сами и строили, семья позволяла. Количество душ семьи достигло 28 душ, когда обедали, за столом сидели мужчины, каждая жена стояла сзади своего мужа и через плечо мужа доставала еду с общего стола. Детей кормили на

---

<sup>7</sup> Имеется в виду, что мать росла в семье, где было 7 сестер (см. на с. 176: мать «имела 6 сестер, с нею 7»).

примосте<sup>8</sup>. Готовили снохи по очереди, одна сноха готовила, другая помогала, и так по очереди. Жили дружно, деда все слушали, даже деньги у деда на печи на грубке<sup>9</sup> лежали открыто, и его кошель никто не трогал. По вечерам хата деда была похожа на фабрику. Жужжали пряжи, мужики вьют веревки, а к весне стучали ткацкие станы.

Некоторые братья ездили на шахты на заработки. Дело ясное, ездили по решению семьи и, главное, по решению главы семейства. Приезжали с заработков по-разному. Отец мой, например, приехал и дал в семью, т. е. отцу своему, 15 руб., а некоторые братья приезжали, достанет мелочи и говорит своему отцу: «Бать, добавь до бутылки, мой приезд обмоем», – и дедушка добавлял. Уезжали на заработки только на зиму, а летом все работали дома. Растили хлеб. Как я вам уже говорил, зимой дом деда был похож на фабрику, все работали. И вот сыны вдруг захотят глануть<sup>10</sup>, т. е. выпить, а как? Нужна причина. Один брат говорит другому: «Слышь, брат, давай свайками меняться». Это свайка – чем лапти плетут, и начинается спор, чья свайка лучше, а дед Бурелом лежит на печи и все слышит, а один из братьев обращается к отцу: «Бать, мы вот сменялись свайками», – а дед с печи говорит: слышу, слышу, магарыч нужен. Достает кошель с грубки и говорит: «Костюх, сходи-ка

---

<sup>8</sup> Широкая лавка около русской печи для спанья.

<sup>9</sup> Малороссийское название печи с лежанкой.

<sup>10</sup> От «глотнуть» (диалект.).

в шинок, принеси четверть». А шинки были – на дому торговали день и ночь и в долг давали, т. к. друг друга знали и доверяли. Через некоторое время четверть уже дома на столе, работа замолкала, и все шли к столу, а дети спали. Дед Бурелом слазил с печи и садился за стол на свое постоянное место, так и все остальные занимали свои места и начинали отмечать обмен братьями сваек, т. е. магарыч пить. Через небольшое количество времени четверти нет, семья заговорила, дед говорит: «Костюх, сходи-ка еще четверть принеси». И когда осушали другую четверть, а у дедушки сыны были молодые, снохи тоже, в семье было две гармошки, и получалась такая плесовень в простой день, что у людей в праздник такого не бывало. Люди, проходящие мимо дедова дома и слыша в хате деда свадебное настроение семьи, спрашивали у людей, которые уже стояли под окнами, что там у них творится, им отвечали: Костюха с Осиком свайками сменялись, пьют магарыч. И люди, узнав причину веселья, говорили: ну и дед, ну и Бурелом.

Дайте я вам, дорогие дети, расскажу об одном заведении в Верхнем Ломовце, да и не только в Ломовце, а и по всей Руси Великой. Это в Рождественские дни на святки, что ли, были кулачные бои. Село было разделено надвое. В определенные дни сначала сходились пацаны, а дальше – больше, подходят все больше подростки, женихи, молодожены, а потом выходят уже настоящие мужики, и начинался бой всерьез, наш славный рукопаш-

ный русский бой. Были и условия боя. Бить имел право только голым кулаком. Хотя кулак и в рукавице, но если чего возьмешь в рукавицу, хотя бы котях конский<sup>11</sup>, сразу убьют. Если человек лег, бить не имели права, т. е. лежачих не бьют; были установлены границы, до каких пор гнать противника. Как догнал до границы, бой прекращается, начинается здорованье, встреча родных, идут друг к другу в гости, умываются, т. к. лицо и нюхи у многих в крови, а значит и рубашка, одежда тоже в крови, и, главное, жены за это мужей не ругали. Родные тоже не обижались, если кто-либо из своих по нюху заедет. Раз живешь с той стороны, стой за свою сторону, хотя и брат родной идет против тебя, должен бить или глазами со своим договориться, т. е. переморгнуться и уйти в сторону, вернее, обвильнуть друг друга. Были в этих боях и увечья и смертельные исходы. Было и такое – идет кулачный бой, бойцы уже подутомились, а тут вдруг врывается боец со свежими силами, разбивает нюхи трем-четырем бойцам, его сразу же берут на прицел, чтоб и ему съездить между рог, а он вдруг ложится, а лежачих не бьют, и так повадятся красить носы другим бойцам, а потом ложиться.

Когда бой кончается, обычно пьют и обсуждают исход, кто где проиграл, где выиграл и как поступать в следующем бою. И вот за этим-то бой-

---

<sup>11</sup> Конский навоз.

цом, что бьет, а потом ложится, начинается охота, чтоб его отучить от этой привычки. В следующие бои ребята бьются, а этого бойца поджидают, т. е. наблюдают, когда он появится. Как только этот боец появляется, один из его соперников пробирается к нему в тыл, ловит под мышки и этим самым не дает ему ложиться, ну а спереди в это время его метелят и, главное, те, которым он нюхи поразбивал, а потом ложился. Вот таким способом этих хитрых и лечили, т. к. на всякий яд есть противоядие.

Центром этих боев был деда Бурелома дом, от его дома гнали в ту или другую сторону своего противника до границы. В один из таких боев и вышел дедушка посмотреть, как бьются его сыны, а бились они все с одной стороны шестеро, седьмой был молод. Вот стоит дед на пороге своего дома и смотрит, как полосуются его сыны. Смотрит да и подбадривает: а ну, Петьк, Петьк, давай, давай, Егорк, Сережка, стукни его; а как увидит, что его сыну сопли красные пустили, орет тому, кто его сыну лицо в кровь разбил, молодец, а ты, Осик, не зевай, умней будешь. Это получалось, что он вроде сынами командует. Противоположной стороне это не понравилось. Один из тех бойцов подобрался к деду Бурелому да как стучает его кулаком по животу (конечно, не всерьез, дед в бою не участвовал), а дед на него орет: ты чего, ошалел, я только пообедал! Вот в этих-то боях развивались и закалялись наши деды и отцы, т. е. в то

время, чтоб в настоящем бою за матушку Русь быть живым, т. е. шустрым.

Как я уже вам говорил, что дедушка, как собрались ребята, т. е. сыны, стали выжигать кирпич, готовиться строиться, построили 3 новых кирпичных дома. Настала пора делиться, жить в одной хате такой большой семье стало сверхтесно. Когда делились, плакали, т. к. очень свыклись. Досталась на двух братьев хата. Бате моему дали дом и старую лошадь с Костюхой на двоих. Дядя Костюха пристроился к водке, в особенности после того, как он уничтожил все свои кресты, вернее, награды полного кавалера Георгиевского креста. Пошли неполадки; как говорится, два черта в одном озере не купаются, и батя по договоренности с братом Костюхой взял старую кобыленку и с матерью перешел к теще, на Арабову усадьбу.

Усадьба деда Арапа была и на бугре, и под бугром, т. е. от колодца, ключа, который находился в самом низу, надо было подниматься на бугор к дому метров около 100. Была площадка, на которой поселились 3 хозяина, а потом опять поднимался на такую же высоту бугор, а на самом бугре по милости общества моей бабушке давали с ее девками клочок земли. Через этот самый бугор мой отец ходил к моей матери, т. е. жених к невесте. Ходил под вечер. И где бы он со своей невестой ни стоял, везде [с ними рядом] их меньшая мате-рина сестра, а как начинало темнеть, заходили в хату. Мать садилась за пряжу, а отец садился и вел

разговор с невестой и членами ее семьи. Когда жених уходил домой, его провожали из хаты невеста и кто-либо из членов семьи. Таков был закон. Вот однажды отец идет к своей невесте, через тот самый бугор, на котором по милости общества моей бабушке Арапчихе давали клочок земли, на котором она сеяла рожь, и видит: соседка бабушки стережет свою корову на зеленях, а отец еще ранее замечал там поправу зеленей. Он берет хлыст запаренный из загородки и тихо подходит к пастуху, т. е. к хозяйке коровы, а та бьет корову ладошкой по заднице и приговаривает: пруси, пруси, вроде сходит. Отец хлыстом бьет корову вдоль спины, от рог до хвоста, и говорит, вот как сгонять надо. Корова вскинулась, да как по своему же огороду домой припустила, и тут же отец бьет хозяйку коровы по шее и приговаривает: тпруси, тпруси, а она вслед за коровой по своему же огороду, а не по меже. Но это было, еще когда он был женихом матери. Теперь прибыл на поместовую<sup>12</sup> бабушки хозяином. У бабушки Арапчихи еще было 3 девки, которых и отдал дедушка замуж и со временем похоронил бабушку.

Бате на новой поместовой повезло, его кобыленка в ночном обручилась с барским орловским рысаком и принесла ему жеребеночка. И так у бати со временем стало две лошади. Особенно у бати удался жеребенок, которого я чуть-чуть помню.

---

<sup>12</sup> Дом с хозяйством и землей.

Бывало, поведет его под бугор поить к колодцу, а оттуда его пускал, когда напоит, так он такие кренделя выкидывает, т. е. играет, пока до закуты дойдет к корму, а когда посадят меня, то конь Васька, так его звали, шел без игры тихо. Батя даже быстрее его выходил на бугор и готовил Ваське корм. Однажды батя, посадив меня на Ваську, приказал мне держаться за гриву, а сам пошел насыпать в кормушку и забыл про меня, что я на Ваське сижу, а он был высокий, под самый наголовник<sup>13</sup> на дверях. Васька в дверях идет, а я через наголовник не пролажу, а скольжу по спине от гривы к хвосту, а от хвоста об землю бух и заиграл песни. Отец подскочил, мать из хаты вылетела, и пошла у них ругань между собой, а я на руках у отца ору. Батя у меня был за каменную стену, что бы я ни натворил, и от матери последовало бы наказание, – стоит мне добраться до батиной спины, и я спасен от материнской тряпки или веника.

Семья у бати росла. За мной родился брат Сергей, а мы все помощники только за столом. Жила от нас недалеко бедная семья, у них был мальчишка, и батя договорился с этой семьей, что он у них будет землю обрабатывать, а их мальчишка будет бегать к бате и по возможности помогать. Живя у тещи и став хозяином, батя развернулся, работать ему не привыкать и не учиться, не говоря об матери, которая в батрачках выросла. Лошадь

---

<sup>13</sup> Верхняя перекладина ворот.

у бати была [лучшая] из всего Ломовца. Об ней ходили слухи, как легенды, мне лично очевидец рассказывал. Везу я, говорит, однажды врача из Бунинской больницы домой, снегу намело полно, и вижу, еще далеко, но вижу, подвода меня нагоняет; меня врач спрашивает: Григорий, кто это так ходко и красиво идет, а я отвечаю: это Осип Буреломов, и вижу, отец твой лежит на мешках с мукой, он ехал с мельницы, и спит, наверно, пьяный был. Лошадь Осика уже догоняет мои санки, а врач, который сидел ко мне задом, движается ко мне вперед и орет: Гришка, раздавит! Лошадь Осика, правда, на ходу становится в задок моих саней, а задними бежит. Я ору: Осик, Осик, задушили! А отец твой поднял голову и крикнул: Васька, гони! Лошадь вскакивает с моего задка, бросается в сугроб снега и, обдав нас с врачом снегом, обгоняет нас и вскорости скрылась из виду, а отец так больше головы не поднимал.

А с мельницы он ехал вот с какой. Как-то к нам в Ломовец приезжают с деревни старец и гризлова<sup>14</sup> два мужика покупать корову. Нашли корову, им понравилась, а хозяин коровы за деньги не отдает, а только за хлеб, а у купцов хлеб дома есть, но с собой-то нет. И вот они спрашивают у хозяев коровы, кто у вас с Ломовца рисковый человек и чтоб у него хлеб был, хозяева ответили: Осик Буреломов. Эти мужики прибыли к бате. Все

---

<sup>14</sup> Скорее всего, имеется в виду из села Грызлово Долгоруковского района Липецкой области.

отцу объяснили и сказали: обижен не будешь. Отец соглашается, отдает им весь хлеб, запрягает лошадь и уезжает сам. Мать в голос: «Ты что, оставляешь меня с детьми и без хлеба, и сам, и лошадь угоняешь». Время было смутное, был голод, убийства. Но отец мать вызвал в коридор, уговорил. Эти ребята слово сдержали, и отец вернулся и привез хлеба больше в два раза. После эти самые мужики в наших краях сняли или купили мельницу, вот откуда и возвращался батя с мукой. Я спрашивал у бати за эту его поездку, он ответил: «Да разве, сын, я мало ездил куда на Ваське».

Помню, слух о батиной лошади прошел далеко за границы Ломовца. Заинтересовались ею и цыгане. И однажды нагрянули ее торговать, т. е. купить. С какой стороны они ни подходили, как отца ни уговаривали, чтобы он им продал Ваську, не получилось. И вот цыган вожак решил отца припугнуть. Заявляет бате: «Осик Михайлович, не продашь мерина, украдем». Батя, поднявшись, сказал: «Вот это дело, лучше украдите, чем я вам его продам». Не украсть у бати, это знали и цыгане. Старая кобылица у бати, мать Васьки, истратилась, но Васька входил в силу. Отец любил одеться, проехать, поиграть и поэтому через силу справил тарантас, мать вышила ковер. И вот, едут по населенному пункту, лошадь из сказки, тарантас с ковром, мать красавица, отец с гармошкой, пустит шагом Ваську, а он как ученый был, а сам разрезает на гармошке прославленную Елецкую,

а страдать и плясать мать никому не уступала. Мне люди говорили: «Твой отец, Николай, проезжал по Ломовцу, так богатеи не проезжали». Я так думаю, дорогие дети, что приобрести тарантас отцу помогли купцы, т. к. они без отца, как я вам говорил выше, почти не обходились.

Время шло, дети росли, рос и Иван, сын изрубленного белыми отца, он у нас в семье был старший из детей. Был очень веселый, хорошо плясал, а еще лучше играл на балалайке. Хорошо играла и плясала моя сестра Дуся, но до Ивана не доходила. Батя не раз ездил с ними, т. е. с Иваном и Дусей, в школы выступать. Иванова отца подворно звали – Гордюнины<sup>15</sup>, и Ивана прозвали – Гордюнек. Вот батя брался за гармонь и говорил: «Ну, Гордюнек, давай тряхнем старинной!» Отец играл, а Иван и Дуся выделывали кренделя и плясали.

Некоторых людей заело, что Осик Буреломов и Танька Арапова из батраков поднялись и сели на тарантас, играют и поют. Возненавидели отца. В это время объявили, т. е. началась коллективизация. Батя в числе первых записался в колхоз. Однажды с района или области прибыл в Ломовец представитель. Собрали собрание по поводу коллективизации, было много выступающих, никто за батю не вспомнил, ни в хорошую, ни в плохую

---

<sup>15</sup> Убитый белыми отец Ивана носил ту же фамилию, что и автор, хотя не был его родственником. Происхождение семейного прозвища Гордюнины неизвестно.

сторону, т. к. он уже был принят в колхоз. Но вдруг из народа выкрикнул женский голос: «Что же я пойду в колхоз с Осиком Буреломовым, он на тарантасе ездит, а я пешком хожу». Этот голос был нашей соседки.

Представитель одним росчерком пера решил судьбу бати и матери – раскулачить. Но когда стали готовить документы к раскулачиванию, батино хозяйство не подходило. Тогда представитель и местная власть написали ложь, что якобы у бати было куплено 15 десятин земли и было 15 работников. И вот об этом ужасе раскулачивания вспоминать страшно. Мать только что родила дочь Шуру, она лежала на печи, а в ногах сидела тетя Федора, батина сестра. Подушки и одеяло с матери стянули, заставляли ее снять валенки, которые она одела на печи, чтобы они остались. Но стянуть их с матери им было неудобно, т. к. мать лежала ногами к задней стенке, но были, кто кулачил, и с человеческой душой, кидали на печь к тете Федоре кое-чего из продуктов, которые она тут же прятала под юбку и берегла маме, ведь она больная, только родила. Мы, дети, кричали, в том числе с нами орал и плакал Иван, сын порубленного белыми отца. И так нас мучили день и ночь. Батя скрылся. Но в одну самую страшную для бати ночь он стоял под низом у колодца и все слышал в окно, а я все ору. Батя мне рассказывал: «Сынок, я не знаю, что меня удержало не кинуться к тебе на помощь». Дети, дай успокоюсь... Но если бы отец кинулся

ко мне, то его [бы] тут же арестовали и бати [бы] больше не было. В то проклятое время арестованные не возвращались. Меня из-под окна подобрала соседка, мать моего друга детства, там я и провел остаток ночи со своим другом.

Некоторые тряпки мать успела отдать соседям на сохранение, они их матери вернули. Но мать во избежание, что их отберут, спрятала в печь русскую, и заложила коноплей, чтоб не нашли. Вдруг приходят два активиста, и один из них, как знал, полез в печь, вытащил коноплю и два узелка с тряпками. Мать обратно стала плакать, причитать, уговаривать, упала перед ними на колени, один говорил, давай не возьмем, но второй не согласился, забрали. Плакали и мы вместе с матерью. Я это хорошо помню. Я не пишу имена тех, кто кулачил, потому что сами они умерли, а дети-то у них есть, им-то будет неудобно за своих псов родителей. Сколько нас мучили, не помню, все золото искали и требовали отдать, а ни отец, ни мать его не видели, да и я вот уже остарел, кроме колец, и то на чужих руках, золота не видел.

В завершении всего кулачества выгнали нас из дома, и приютил нас дядя Костюха, отцов брат, с которым при дележке семьи Буреломовых им достался с отцом дом на два брата. Мать без ничего, раскулачена, убита горем, осталась с нами, пацанами, самому старшему Ивану было 11 лет, Доне 10, мне 4, Шурка только что родилась, отец где неизвестно, а время было смутное. Приходилось

ходить по своим, а мне с бутылкой за молоком для Шурки, и кто чего даст, а то и с сумой по селу. Выручала нас труженица мать. Потом собирали мы колоски в поле, нас сгоняли, пороли кнутами, но мне не так больно, когда меня стегнут, а больно, даже очень больно, когда видели, как мать стегают. И обратно она плачет, уговаривает, умоляет не стогнать ее с пустого поля, не дать ей уморить своих детей, т. е. нас, с голоду. Но уговоры, слезы не помогали, и кнут заставлял уходить с поля, а голод заставлял обратно лезть под кнут, унижения, мольбы, но бороться за существование на земле. Добрые люди сохранили и вернули моей матери машинку швейную, вот она нам в основном-то и помогала. Мать хорошо шила и перешивала из старья людям, а они нас, можно сказать, кормили. Не знаю, почему, но мы перешли на квартиру от дяди Костюхи к маминой сестре по матери Марфе Долматьевне.

Тайно нам пришла радостная весть, что отец наш жив и здоров и живет в Воронеже, работает и скрывается у своего фронтового командира батареи тов. Зайцева. Отец был у Зайцева артиллерийский разведчик. Зайцев работал директором какого-то детского учреждения и взял отца, как фронтового друга, красного бойца, разведчика, к себе кучером.

Вскоре мать меня переправила к бате. Как-то отец принес что-то сладкое, но очень холодное, и ушел на работу. А я наелся этого холодного лаком-

ства и заболел скарлатиной. Жизнь моя оказалась в опасности, и батя, кладя меня в больницу и уговаривая врача, чтоб он мне спас жизнь, стоял на коленях, а купить гостинец врачу было не за что. Врач сказал отцу, что горло сыну разрежу и спасу. В больницу ко мне приезжала мама. Я помню, что когда я выздоравливал, с меня кожа сползала, как с рыбы.

У нас в Ломовце в смутные времена 30-х годов жил инвалид без ноги, хорошо знал всю историю бати, т. к. вместе воевали, и видел все ужасы, которые переносит семья моего отца; решил помочь. Он был грамотный: все, все описал, указал, что батя воспитывает сына изрубленного белыми красногвардейца, и сам лично отвез в Москву. Через некоторое время вызывают мою мать в сельсовет и говорят: пусть Иосиф Михайлович возвращается в свой дом. Мать от радости чуть не упала. Это было в начале 34 года. Она тут же с этой радостной вестью едет к нам в Воронеж. Бывший командир батареи т. Зайцев пишет бате характеристику, как батя воевал под его командованием на фронте и как работал четыре года в Воронеже. Прибыли мы в Долгоруково, холода стояли в январе сильные, морозы, одежда плохая, вернее, не зимняя, до дома 25 км или 30. Батя нанял одного человека довести нас до дома на лошади. Я был обут в сапожках, батя больше бежал, а как прыгал в сани, то мои ноги прятал в свои коленки, чтоб они не обморозились.

Ну как бы то ни было, а домой прибыли. Нас радостно встретили Иван, Доня, Шура, ей уже было около 4-х лет, и она потеряла почти все зрение, а именно: когда батя был в Воронеже, то мог нам прислать только сладких продуктов, т. е. что смог, и мать приберегала более всего Шуру, т. к. она была маленькая и орала больше всех, когда голодная. От сладости у Шуры заболели глаза. Когда глаза совсем плохие стали, мать чудом доставила Шуру в Воронеж отцу. Спасли зрение у нее всего 3 процента в одном глазе, а другой совсем пропал.

Как только мы прибыли с Воронежа домой, мама слегла в постель – заболела. Отец по делам съездил в Воронеж еще раз. Прибыл, мать с постели уже не вставала. Соседи носили ей кое-что из харчей, кто варенье, кто молочка, а мы, малыши, все около ее вертелись, боялись, она умрет, отец нас от больной матери отгонял, т. к. мама то, что ей приносили люди, раздавала нам, мы-то голодные. Однажды мама сказала, это я хорошо помню: «Да, детки, хорошо бы от этой жизни умереть всем сразу». И эти слова сказала вечная батрачка, когда пришла власть батраков. В ночь с 13 на 14 февраля нас разбудил отец, мама умирала. Смерть матери повлияла на здоровье няни Дони, ей было 14 лет. В этот же день отец и похоронил мать, могилу копать было не за что, земля была промерзшая глубоко. Батя был вынужден откопать могилу одной родственницы недавно умершей, но там уже было поставлено 4 гроба, друг на друга, мамин

был пятый, почти сверху. Батя на кресту написал полно. На поминки один родственник дал 25 руб. бате, а другой чашку огурцов. Маме было от роду 44 года.

Когда нас выгнали из дома, дом наш отдали родителям того мальчишки, что ходил к бате помогать, когда мы были маленькие, а батя, как я уже вам говорил, у них землю обрабатывал. Отец часто рассказывал: «Я не знаю, кто у кого был в работниках, их пацан у меня или я у них. Бывало, они еще спят, а я у них уже огород пашу». Дом наш новые хозяева топили только одну половинку, и поэтому вторая половина, т. е. горница, от пара сгнила. Когда нового хозяина власть из нашего дома тоже выгнала, а нас впустила, он от стыда уехал, т. к. в колхозе работать не стал. Вскоре присылает в сельсовет письмо насмешливое: «Вы там еще никого не раскулачили, чтоб дом получить?» Как люди мне рассказывали, никакой он не бедняк, он лодырь. И те, что ходили кулачили крестьянина, труженика, который спал на ходу да на кулаке, считали кулаком и кулачили. Мне рассказывала одна тетя, она ровесница моей матери. Как-то мать пошла за свою сестру, у которой стояла на квартире, в колхоз на работу, просо полоть. Пришли в поле, сели в кружок и затеяли искаться да сказки рассказывать. Мать видит, что сидят час, другой, и говорит: «Бабы, да кто же за нас просо полоть будет, время-то к обеду». Тут жена бригадира и обрушилась на мою мать,

что ты и кулачка, и мало вас били, надо было бы совсем побить или сослать, в общем, всю грязь, что ей приходила в голову, лила на маму, и довела мать до слез. Работая в батрачках, она знала, что сидеть нельзя, отдохнуть – дело другое. На другой день бригадир увидел маму и запретил ей выходить с колхозницами на работу, т. к. ты не колхозница.

Да, я вам, дорогие «сынки», запомнил рассказать за судьбу Васьки, вернее, нашей коняшки. Васька как наилучшая лошадь попала к директору совхоза Куцурову недалеко от Ломовца. Этот директор ездил на нем на тарантасе, в паре с одной кобылицей, тоже отнятой у одного труженика «кулака». Я вам уже письменно рассказывал, что помещиковая бабушки Арапчихи находилась и на бугре, и под бугром. Вдоль бугра шла дорога, а возле этой дороги стоял бабушкин дом, а теперь батин дом. Как обычно, в доме бывает калитка, чтоб пройти во двор. По этой самой дороге случайно ехал директор совхоза со своим кучером на тарантасе и паре коней, где коренным был запряжен наш Васька. Ни директор Куцуров, ни кучер не знали этой дороги и кто тут живет. Ехали под уклон легкой трусцой, ничего не подозревая. И вдруг возле батиного дома наш Васька рванул влево. Директор и кучер покатались в овраг, а Васька вместе с пристяжной подошел к калитке и заржал, вызывая хозяина. Куцуров с кучером копаются под бугром, а бугор был крутой (он и сейчас такой же), на прямую не

вылезешь. Директор под бугром снимает стружку с кучера: ты, такой-сякой, управлять конями не можешь, кучер орет: я всю жизнь с лошадьми, а ты меня матами кроешь. Пока они обошли бугор, народ собрался, помогают им подняться на дорогу и говорят директору: что ты на кучера орешь, ведь коренной-то ваш Васька тут родился и вырос. Он завильнул домой. Куцуров спрашивает народ: так что же, здесь жил Осик Буреломов? Директор знал, что его коренной был Осиков.

Шли мы однажды с Ваней нашим вдоль леса, и вдруг он говорит: Колька-Колька, вон наш Васька. Смотрю, по полевой дороге от нас метров 500 едет рысью упряжка, впряженная в тарантас парюю. Васька красиво бежал в корне, т. е. коренным. Мы с Иваном плакали. Это была наша последняя взором встреча с нашим умницей Васькой. Все увиденное пришли и рассказали бате...

Мама умерла, ну а мы-то живы. Чем жить – хозяин нам оставил в нашем доме одни голые стены, а нас у отца 4 души, он пятый. Брат взаим, а чем отдавать? Брат отца и то сказал бате: Осик, а под чего тебе давать-то, дать тебе – это значит без отдачи. Это сказал ему родной брат, а что чужой скажет? Но были люди с божьей душой, не дали умереть. Однажды рано утром отец подносит нам к печи, где мы спали, на сковороде какое-то черное месиво и говорит: дети, идите, может быть, хоть немного поедим. Это были скребки с картошек, которые он не чистил,

а скорей скребки собирал, сушил, а потом перетолок, смешал с водой, поварил и поднес нам. Мы все бы покушали, а там был один песок, мы хотя сверхголодные, а есть не стали, батя при нас все поел. Мать наша хотя на машинке шила, и ей бабы давали кое-чего из харчей, а отец-то шить не мог. И батя только прибыл и попал в такую беду, остался без жены с одними малыыми детьми, без ничего из еды. Все, что люди нам вернули из вещей, которые брали по просьбе отца и матери во время кулачества на сохранение, отец решил в 1936 г., чтоб не умереть с голоду, – осенью увез в Москву и там заложил и поддержал нас в продуктах, а сам поступил на завод Карпова кочегаром, чтоб до весны 1937 г. поработать, а весной надо было вернуться в колхоз, растить хлеб. Так ему приказало правление колхоза.

Осталось нас дома 4 пацана, старшая в доме сестра Дуся. К ней стали ходить подруги, т. е. девки, а к девкам ребята, и так у нас организовались посиделки, чего у нас никогда не было. У сестры появился жених на 10 лет старше. Весной 1937 г. приезжает отец из Москвы. Вскоре в районе появляется вербовщик из Днепропетровска, молодежь, в особенности девочки, подруги сестры, уезжали, решила и сестра завербоваться, а с ней хотел завербоваться и ее жених, но его не брали, т. к. был не раз судим. И он решил ехать с девочками не завербованным. Отец, узнав обо всем этом, решил не пуścić ее вербоваться и отбить этим самым от

нее непутевого жениха; с огромным скандалом с отцом Дуся уезжает по вербовке. Следом за Дусей уезжает с ребятами в Воронеж Иван. Семья стала мнить<sup>16</sup>. Осенью 37 г. батя нашел себе вдовушку, т. е. женился. Мачеха нас с сестрой не обижала, да и сам батя за нас стоял горой – если что скажет в наш с сестрой адрес мачеха, отец тут же ее останавливал, после чего она уже не решалась говорить против нас с Шурой.

9/II-38 г. нам пришла ужасная весть, непутевый жених Дуси смертельно ранил ее из-за ревности за ее красоту. 11/II-38 г. она умерла. 13/II-38 г. ее схоронили. 14/II в Днепропетровск прибыл отец, на похороны опоздал. В 1939 г. в нашем Ломовце начался набор в ФЗО, брали 24-летних<sup>17</sup>. Я ростом был большой, а лет не хватало, меня не брали. Я подошел к председателю сельсовета и все это объяснил. Председатель хорошо знал мои тяжелые условия жизни, приказал секретарю дать мне справку с 1924 г. р., и я прошел, т. к. постарел на 2 года. Вместо ФЗО нас привезли на шахты 8 имени Сталина в Новогорловку. И вот в ту самую яму, которую батя в свое время перекрестил и ушел, мне пришлось нырнуть на глубину 521 м. Вместо ФЗО, т. е. фабрично-заводское обучение, как нам обещали, из нас решили вырастить шахтеров. Ряд ребят растерялись, испугались шахт и тут же

---

<sup>16</sup> Уменьшаться.

<sup>17</sup> То есть брали молодежь 1924 года рождения.

убежали. Мы знали, кто убежал – его дома заберут в милицию. Мне бежать было некуда, дома голод, а на шахтах хлебом кормили досыта, и я решил стать шахтером.

На шахте работать зимой тепло, летом прохладно. Все дело в условиях жизни и любви к работе, и привыкнуть надо. Когда нас в школе мало-мальски ознакомили о работе в шахте, в один прекрасный день повели нас на шахту на экскурсию. Показали нам все, что есть во дворе шахты, раздевалку, аккумуляторную, баню, и подвели нас к стволу, где спускают людей и вынимают, т. е. вывозят. Выезжают люди из шахты грязные, одни глаза блестят да зубы, а некоторые мокрые, это зависит от условий и специальности работы. Вот так нас водили несколько раз. И в конце концов настал день, когда нас так же на экскурсию повезли в самую шахту, т. е. в яму. Приводит наш мастер нас в стволовую, а мы дрожим, хотя и неудобно дрожать, а ничего не сделаем, а шахтерня над нами смеется. Заводят нас в клеть, что спускает в шахту, а один рабочий шахтер говорит стволочной: а ну, Марусь, прокати новеньких; она смеется и говорит, посторонись, да как бросит клеть вниз, да так, что сердце и все остальные органы очутились в голове или выше, где, не поймешь, а потом как придержала клеть и потом опять бросила, как в бездну, чтоб ей там потолшиться<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Потолшиться – потолкаться, потрясти.

Когда клеть остановилась, мы еле из нее вышли, белые и потные, а шахтерня над нами гогочет и говорит: ничего, ребята, нас тоже так же обучали. И правда, притерпелись, привыкли и стали клетки быстрого спуска и подъема не бояться. Как говорится, притерпелись. Вот так стали мы молодыми шахтерами и стали работать в шахте. В шахте у нас было 3 горизонта: 160 м, 200 м и самая глубокая 521 м. Я работал и учился на путевого, клали мы пути с одним старичком для коногонов<sup>19</sup> и электровозов. Однажды выехал я на гору, т. е. из шахты, идет мой товарищ из группы электровозников, и такой взволнованный, я спросил, что с тобой, он рассказал. «Едем мы со своим старшим на электровозе, везем уголь и видим, что одна матка<sup>20</sup> от крепления потолка в штреке надломилась, старшой говорит мне: нагинайся сильнее, я нагнулся, а потом смотрю: старшего моего нет, я дал обратный ход электровозу чтоб остановиться, но электровоз по инерции двигался вперед, а старшего моего этой самой маткой выбило из электровоза под колеса и разнесло в клочья». Вот сам машинист погиб, а ученика спас. Да каких ужасов только в шахте не бывает, и завалы живых людей – отрезет людей от выхода, и вот жди, пока откопает спасательная группа; а как газы кричат в забоях, где

---

<sup>19</sup> Коногон – погонщик лошади, запряженной в вагонетку в шахте.

<sup>20</sup> Матка, матица – верхняя крепежная балка.

не работают<sup>21</sup>. У нас шахта была газовая, курить запрещалось, т. к. может взорваться.

В общем, шахта есть шахта. И прибаутка говорит: «Когда в шахту спускаешься, с белым светом прощаешься», – это правда. Но как еще говорят: «По привычке и в аде хорошо». Привыкшего шахтера из шахты не выгонишь, он говорит: в шахте зимой тепло, летом прохладно. Это тоже правда.

В ФЗО на шахты мы прибыли с двоюродным братом Скрылевым Сергеем Ивановичем, вместе с ним мы и в шахту спускались, но в шахте работали по разным участкам. В выходные дни мы с ним ходили в город, тем более когда нам давали форму ФЗО, а то ведь знаете, что дети сначала как на привязи. В школу, т. е. на шахты, мы ходили и учились кто в чем приехал, у меня износились ботинки совсем, так я у бати просил деньги на рабочие калоши шахтерские, чтоб купить карынки<sup>22</sup> и ходить в школу. Но, к великой радости, нам выдали форму ФЗО. И вот мы по выходным с братом ходили в город, хотя он, город, был не чистый, шахтерский, но против деревни был лучше, да и места новые, люди новые, все это нас привлекало. Отгуляв выходной, в понедельник мы обратно спускались в шахту, и начинался шахтерский рабочий день, так я и привыкал к рабочему классу под землей. Люди были под землей

---

<sup>21</sup> Конец фразы не вполне понятен.

<sup>22</sup> Возможно, катанки, катаные сапоги, валенки.

веселые, любили пошутить, чего-либо рассказать, выдумать.

Звали меня старые шахтеры Николкой. И вот однажды в обеденный перерыв, а обедали там, как столов там нет, рукомошников тоже, присаживаются кто на чего присядет, кто к стойке прислоняется, достают из карманов грязной робы грязные узелки, грязными руками развязывают, там в бумаге у них завернута пицца, она чистая – и грязными руками, т. е. руки не грязные, а черные от угля, и рубают, угощали и меня, т. к. у нас никаких узелков не было, им жены собирают, а кто нам, сверчкам, соберет. Один шахтер после обеда говорит на меня: Николай, сходи вон в тупик к дяде и попроси лимонатку, я пошел – как старого шахтера не уважишь, а остальные рабочие улыбаются, я подошел и говорю: дядь, дай дяде лимонатку. Он поглядел на меня и начал что-то искать, я жду. И говорит: Николк, иди бери лимонатку и неси ему; я подхожу, а это кусок железки, я взялся ее поднимать и не могу, а дядька смотрит и говорит: подожди, пойду поищу другую; нашел, говорит, вот эту бери. Смотрю, тоже такая же железка, только меньше, я ее кое-как поднял, взвалил на спину и поволок к тому дяде, приволок, умурился, бросил ему под ноги, а он и ребята другие гогочут и говорят: ничего, Николк, привыкай к шахтерским названиям. И пояснили мне, что лимонатка это спинка, все дела; ее в шахте делают – вагонетки, когда сойдут с путей, на путь ставят лимонаткой, т. е. спинкой.

После конца смены выезжаем на гора, и в баню. Снимаем шахтерскую одежду, кладем ее на место, идем мыться, а народу полно, все черные, но по-разному, а забойщики – только зубы да глаза блестят. Вот и моется шахтерня и драят друг другу спины, мочалки у них наверное из мягкой сетки, что ли. Иной дядя скажет: на-ко, сынок, продрай мне спину; вот драишь его изо всей своей силенки, а он все подгоняет, давай, давай. Это когда старой шахтерни нет, они нас просили, а когда есть взрослые, они друг друга оттирают, но когда выкупаются, что только не увидишь у них на разных частях их тела. Вожди, а выколотых фигур! Женщины в разных видах, и с финками в груди, и в сердце, разные. Ленин, Сталин у большинства, звезда, имена, слова хорошие и плохие, у некоторых одна, две фигуры, а иные сплошные колотые, он похож на ходячий музей, если его остановить и обглядеть, за час не обсмотришь – живого, т. е. белого места нет на нем, весь под фигурами. А один что сделал, выколол на заднице кота, который гоняется за мышкой, а мышь убегает в задницу, и вот, когда шахтер идет, кажется, и кот, и мышка живые и вот-вот кот мыша схватит, а нам, молодежи, все увидеть охота, но ведь стыдно, вот украдкой и подглядываешь. И вот, как в другой раз в баню приходишь, так и смотришь (ищешь) кота с мышкой и не поймал ли кот мыша, но мышь все цела. Вот так-то мы и привыкали к шахтерским работам.

Однажды спустился я в шахту на третий горизонт, т. е. 521 м на самую глубину, пришел на свой 17 участок работать на пути – я, как вам уже говорил, был путевым, т. е. подземный железнодорожник, и иду проверяю пути, а штрек на нашем участке был несколько километров, и в самом конце штрека, где идет проходка, т. е. бурят, удлиняя проходку, вернее, штрек, – у меня вдруг тухнет аккумулятор, и я остался в полной темноте, за не один километр от ствола, т. е. где свет горит. Что делать, а идти-то надо на ощупь, и вот то в канаву, по которой вода идет к стволу, залезешь, то головой об матку крепления стукнешься. Но, главное, было страшно, вдруг пойдет электровоз. Хотя нас учили, что в этом положении надо делать, но мне не приходилось.

А делать надо было вот что. В штреке стоит крепленая<sup>23</sup> вверху поуже, а внизу пошире, так вот, надо было ложиться вдоль линии железной дороги, прижиматься что ни ближе<sup>24</sup> к стойкам, т. е. креплению, и на ощупь проверять рельсу, чтоб из одежды ничего не было, а то утянет. Вот я иду впотьмах и знал, что электровоз пойдет. Слышу, шумит, но бояся не бояся, а спастись надо, обшупал рельсы, стойки, вспомнил Бога и лег. А ведь темь, и электровозчик не видит, что человек лежит, света-то у меня нет. Страшновато, дочушки,

---

<sup>23</sup> Крепенка, крепина, верхняя крепежная балка.

<sup>24</sup> Что ни на есть ближе.

было, когда колеса по рельсам бегут в нескольких сантиметрах и ты их не видишь, вернее, это смерть бежала, но прошел электровоз, поблагодарил Бога в уме, опять на ощупь пошел. Но я знал, что электровоз прошел в забой и я не успею дойти до ствола, он будет возвращаться. Так и получилось, и я обратно ложился вдоль рельс в воду с Богом и поднимался, и шел к стволу. И наконец стал брезжить свет, и я опять поблагодарил Бога, подходя к стволу, вернее, свету.

Дети, у нас в шахте не только на электровозе перевозили груза, а были и лошади, так же на глубине, как и мы, там же были конюшни, конюхи на гора их не вывозили, как нас, а опустят туда их, и все, так они там и работают. Бывает, что некоторых по какой-то причине поднимают на гора, так лошадь, как увидит свет, слепнет уже навсегда. В шахте на них работают шахтеры, называемые коногонами; до чего же умное животное лошадь, под землей в особенности. Коногон очень строгий с ними, или умные слишком, или дураки, я увидел несколько раз, как когда коногон подходит к своей лошади, так она уже дрожит. А когда идет электровоз и ей поступает команда от хозяина, прижмись, она так прижмется к креплению, чтоб ее электровоз не задел, как человек, все понимает. Мне их до сих пор жаль, т. к. она нам помогает, но света божьего она уже не увидит, никогда, потому что лошадь находится под землей длительное время, при появлении на солнечный дневной свет она

слепнет. Скажу вам, дети, за воздух в шахте; воздух поступает в шахту, т. е. вентиляция очень сильная, ее сдерживают три железные двери. Когда проходишь, открываешь первую дверь, а две другие сдерживают натиск вентиляции, и так по очереди; если прозеваешь, изуродует. Старые шахтеры попадают, а мы, молодежь, часто случаи были, прихватывало то руку, то ногу, а не доглядишь – и голову отшибет, но этого я не слышал и не видел.

Подошло воскресенье, и мы с братом Сергеем обратно идем в город Новогорловка. Ранее ходили только, чтоб время провести, а теперь мы уже были настоящие рабочие, хотя под наблюдением старших, но нам платили деньги, и мы могли уже кое-что покупать для себя и даже для дома, мы собирались в отпуск. И вдруг народ заволновался, засуетился и слышим – слово война. Мы с Сергеем остановились и смотрим друг на друга молча, молча развернулись и пошли к своему общежитию, подходим, а тут уже народу тысячи, собирается митинг. По радио выступал Молотов, и также и местная власть, некоторые из шахтеров. Вообще зашумело, закипело, мне запомнились слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Война, черное слово война, как рак вцепилась в наш родной город Новогорловку.

Иногда идешь в воскресенье в город, идут люди веселые, жизнерадостные, вернее, живые люди, то там, то здесь рядом слышится веселый перебор гармони, песни, пляски из открытых

окон домов слышно, слышен смех, это шахтеры отмечают выходной день, встречая, а вечером провожая своих дорогих гостей, так шахтерня и гуляла по очереди, одно воскресенье у товарища, другое у себя дома. Вернее, жили. Нам с братом с Сергеем даже пришлось побывать, т. е. понаблюдать, на двух свадьбах, это все в воскресенье бывает, не в рабочий день, так что ж, свадьба есть свадьба, есть чего посмотреть. На украинскую свадьбу нам с Сергеем было интересно посмотреть, другие уборы, сначала все степенно, дельно говорят, красиво одеты, ну а как пропустят за воротник по паре рябых, так как и у нас на Руси пошло-понесло, обнимание, целование, грудь нараспашку, кричат «горько», пляски, гармонист играет украинского гопака, а шахтеры молодые со своими молодухами так отплясывают, что пыль столбом, а то как повернет барыню или бешеную, так вся свадьба ходит ходуном, а некоторые шахтеры вскочат на скамейки и такие кренделя там выкидывают, что так и думаешь, вот-вот вскочит на стол и пойдет вприсядку, невзирая на закуску, так как ему или ей уж море по колено. Пожилые мужчины, а возле их жены, степенно стоят курят и радуются на своих детей.

Но это было, а теперь война черной тучей покрыла нашу родную Новогорловку, каждый день слезы, печальные разговоры, т. к. на войну уходили наши шахтеры, кто недавно только отслужив, а кто женился, и от своих малых детей, жен,

стариков шли и шли на кровавую бойню, невзирая на слезы и причитания провожающих, да и сами плакали, большинство неся на руках малых детей, быть может, в последний раз. Шли и с гармошками, и крепко выпивши, и плясали также, быть может, в последний раз, подходили к сборному пункту, прощались с родными и близкими, отдавали с рук своих детей женам и матерям и под причитания жен и близких уходили по зову Родины и на защиту Родины наши шахтеры Новогорловцы. Были и добровольцы. Спускаясь в шахту, мы, молодежь, все меньше и меньше видели наших шахтеров, ушедших и продолжавших уходить на войну. Уж не было шуток, как, например, с лимонаткой, а разговор был только один: война и об войне. На наши молодые плеча ложилась нагрузка тех ребят, которые ушли на фронт. И никто не роптал, знали, что они воюют и эта черная туча нависла не над одной нашей Новогорловкой, а над всей Русью великой, над всем Советским Союзом. Вся страна плакала, провожая своих отцов, сыновей, дочерей, вернее, своих близких на защиту Родины, и вся страна встала от мала до велика на место тех, кто ушел защищать Родину, встала затем, чтоб победить проклятого врага, что нарушил нашу спокойную жизнь, труд, отдых. А я вам затем рассказываю за Новогорловку, т. к. в этом городе на моей родной шахте 8 им. Сталина стал в первый раз в жизни с юных лет работать. Стал шахтером, запевалой среди молодежи, да так и остался им на всю войну.

Запевал и грустные, и веселые, и сверхвеселые песни, лишь бы солдаты не унывали и били проклятых фашистов с улыбкой.

Вот так мы и продолжали спускаться в шахту работать, теперь уже мы работали на победу трижды проклятого фашизма. Работали с нами и женщины, заменившие ушедших на фронт шахтеров, одну до сих пор помню, она работала насыпщицей, Уляша Ремнева, а я путевым был; пришел работать в шахту и инвалид труда Свочек Саша, получавший увечье в шахте на глубине 510 м. Наш ствол мы пробрили на 600 м. Но открыть его помешала война. Очень много спустились в шахту, чтоб заменить ушедших на фронт, пенсионеров, жен, фронтовиков, подростков, вот и Саша Свочек спустился в шахту и сел за свой электровоз, все работали, только чтоб быстрее разбить врага. Но война-то затянулась. А немец-то все приближался и приближался. Ввиду того, что он напал на нас внезапно, немец продвигался быстро, выкидывал десанты, этим самым сеял панику и, несмотря на наше сопротивление, шел вперед. Мне запомнился один плакат, вывешенный в Горловке. На нем был нарисован немецкий парашютист, спускавшийся над нашим полем, а в поле стоит наш русский дед с вилами вверх острием рожков и надписью: «Ты на советском рубеже искал посадочной площадки, лети, лети, тебе уже готово место для посадки». В шахте народу оставалось все меньше и меньше. Забирали окопы рыть женщин, девчат и подрост-

ков. Мы рыли окопы и отступали, рыли и опять отступали.

Стало холодно, и нам капитан сказал: «Вас, ребята, скоро заберут на фронт», – дал нам справки, что мы были на окопах, и отпустил домой. Прибыли мы домой по снегу, он в 41 выпал рано, беспрерывно гнали бурты скота в отступ, овец, коров, а скотдох, т. е. падал пачками от голода и холода. Сопровождающие скота остатки бросали и уезжали, а скот бродил по лесам, деревьям беспризорным и додыхал. Ввиду того, что наша армия отступала, из ее рядов многие бежали и скрывались, т. е. днем на улицу не показывались, дезертировались. Творилось непонятное, чудеса, немец занял Долгоруково, до нас осталось 20 км. Утром были слышны пулеметные очереди. У нас немец не был, но разведка его якобы была, ее видели ночью на окраине нашего села Верхний Ломовец. Шли в пешем строю наши солдаты. Через 4 дня слышен был бой в Долгоруковом, это наши войска выгоняли немцев из Долгорукова. Слышал, что якобы одна наша женщина, вымыв полы, встречала немцев с хлебом-солью, но когда немцы забрали у этой хозяйки яйца, масло, молоко и хорошие вещи для своих фрау, киндер, т. е. жен и детей, эта хозяйка сильно выла, голосила, а немцы гоготали. Немец есть немец, это он мало побыл у нас, а то бы многим показал свой новый немецкий порядок и свою «чистую арийскую кровь» в Долгоруково.

Вскоре, как только немца отшвырнули от Долгорукова, к нам в дом пришла посыльная из сельсовета и заставила меня расписаться в общем списке за то, чтоб я 22/2-42 г. прибыл в Долгоруковский Райвоенкомат для прохождения воинской службы, т. е. на войну. Никаких повесток нам не было. Этот список и сейчас в военкомате цел. И так я стал собираться на фронт. Из родных я уходил вместе с Сергеем, с кем был и на шахте. Отец мой Иосиф Михайлович меня инструктировал, как вести себя в бою, т. к. он отвоевал 11 лет и имел опыт, что, когда идешь в атаку, чаще надо ложиться, ползти по-пластунски не в одном направлении, а то правее, то левее. Для укрытия кидаться надо в свежесозданную воронку от мины или снаряда, как переплыть реку, сохранив сухую одежду и винтовку, и т. д., и т. п. Я поддакивал, а у самого война с ума не сходила.

Но вот подошел день отправки 22/2-42 г. Батя, пока не было еще провожающих, решил меня благословить. Взял икону, поставил меня, т. е. заставил меня стать на колени, и что-то говорил, снял с себя крест и одел мне на шею, сказав, что он с этим крестом 11 лет отвоевал, а ему этот крест надевал его отец, т. е. дед Бурелом, когда его на войну провожал, т. е. в армию действительную в 1910 г. Когда я поднялся с пола и говорю: батя, а что же делать с дезертирами, что под полом да под печками сидят. Батя взглянул на меня быстро и горько заплакал, сказал: «Иди, сынок, моей доро-

гой». А дорогу ту я его не знал, а узнал, когда он уже умер, и я много лет прожил инвалидом Отечественной войны.

Вскоре подошли мои провожающие, дядя Серега и его жена Ольга. Батин брат дядя Серега тоже воевал и также давал мне свои советы, как вести себя в бою. Сели за стол, батя угощает и больше всего ко мне обращается, пей, сынок, пей, и что-то еще приговаривал, а как ее пить, я покушал, она горькая, еще раз покушал, горькая, да так и трезвый и почти не емши из стола вышел, в горло ничего не лезло. Помолились Богу и пошли к сельсовету на место сбора. Батя мне в вещевой мешок поставил бутылку самогона. Пришли к месту сбора, там уже было много народу, девки, женщины, провожающие нас, годных пацанов; мне еще не было и 16 лет, т. к. я с 1926 г., а когда на шахты меня не брали, я приписал себе 2 года, да так и остался с 24 г. р., но был длинный ростом. Выступил председатель сельсовета, и еще кто-то выступал, пожелали нам всего хорошего, быстро разбить врага и вернуться домой.

Стали прощаться, некоторые ребята подходили к девочкам, прощались, но я к ним не подходил, т. к. я их всех знал по школе, но дружить ни с одной не дружил, т. к. ходил в школу в старой чужой одежде, а просто помахал им рукой и пошел с батей за обозом, который уже тронулся. Товарищей провожали семьями, а мы с батей шли только двое, он сильно плакал, а когда я ему

сказал, чтоб он оставался на месте, а я пойду, он еще больше заплакал и говорит: «Сынок, ты погляди, сколько людей твоих товарищей провозжают, а я тебя один, и ты меня оставляешь». Так мы шли оба плача, пока люди не стали на сани рассаживаться, он меня перекрестил и сам перекрестился, со мной поцеловался трижды, свильнул в снег с дороги по колено, снял шапку и поднял над головой, что-то говоря, а я пошел догонять свою подводку, да так и остался [он] в моей памяти, стоя по колено в снегу, с поднятой над головой шапкой и горько плача. Я догнал подводку свою, прицепился, и трусцой поехали в сторону Долгоруково в Райвоенком. Возчик как мог нас отвлекал от горьких слез проводов, начал разные разговоры, но они как-то плохо клеились. День был морозный 22 февраля 1942 года, солнечный, и почему-то вместе с солнцем на небе была и луна. Эта луна и провода запомнились мне на всю жизнь. То трусцой, то шагом, на коротких, так мы и доехали до Райвоенкома Долгоруковского района. Там уже было много нашего брата, пригожего для нашей действующей Красной армии, из ближних сел, а мы приехали издалека. Военную комиссию нам сделали тут же, раздели наголо, а вопрос был один и тот же ко всем – «слышим? видим?» – и все, годен. Я сказал одному врачу, что у меня часто изжога бывает, он сказал – там пройдет. Так и стали годными быть в рядах Красной армии.

В Райвоенкомке стало попахивать воинской службой, на нас военные военкома покрикивали, приказывали, и мы, хотя в мирной одежде, внутренне подтягивались, уже слушались военных людей. Всю нашу молодежь из военкомата тем же обозом отправили в село Водопьяново под г. Липецк. И мы в тот же день отправились в сторону Водопьяново.

Путь шел недалеко от нашего Нижнего Ломовца и, так как мы первый ночлег делали в селе Жерновное, то некоторые ребята бегали домой. Путь наш шел на Задонск, по которому гнали скот, и мы видели, что скот пал и из-под снега виднелись лишь рога да раскопки трупов скота собаками, лисами, волками. Как бы ни ехали, но в Водопьяново через неделю прибыли, нас тут же выстроили и приказали от 4 классов образования и выше отойти вправо. Вновь построили и объявили, что вас мы будем учить на младших командиров минометов.

Поместили нас в казармы, сняли с нас домашние вещи, на мне был пиджак шахтерский теплый, а дали легонькую фуфайку, ботинки, а я был обут в чунях, т. к. в них легко было идти, но в сумке были в запасе ботинки, привезенные с шахты.

Но вот начали нас учить, гоняли по снегу весь день так, что в плохонькой фуфайке было жарко, а кормили плохо. Все ребята, кто с одного села, жмались друг к другу, т. е. в свою кучку. Вот однажды подходит ко мне мой товарищ и говорит

мне: Кольк, давай убежим; я говорю – куда? Он отвечает, домой. И тут же перед моими глазами встал батя, который, когда меня благословлял, сказал мне: «Сынок, иди моей дорогой». И я ответил моему товарищу по школе: «Нет, никуда я не пойду». Долго он меня уговаривал, но я остался на своем.

На кухне дежурили по очереди отделениями, назавтра была наша очередь дежурить. Утром после подъема мы пришли на кухню, а там что дежурный скажет, то мы и делаем. Я смотрю, а моего дружка Мишки Медведя, так его дразнили в школе, нет. Заболела по нем душа, значит, ушел, значит, дезертировал. Хватились о нем и ребята, но скоро замолкли, значит, не одного меня сманивал уйти. Помню, уже дело было к вечеру, я дрова колот, и на кухне рабочий день заканчивался; слышу ребячий голос: «Медведя ведут». Я оглянулся, а нашего беглеца под двумя винтовками два наших солдата ведут. Никто из наших ребят не сказал ему ни слова, и он никому. Ввиду того, что мы еще военную присягу не принимали, то Мишку Медведя ревтрибунал не судил, а его только перевели из минометной части в пулеметную. Но все же позднее в г. Ельце, где мы проходили карантин, Медведь все же сбежал из армии и был настоящим дезертиром, об этом мне на войну сообщил батя. Потом, когда мы немца трахнули всерьез, дезертиры вышли из своих нор, а в Ломовце их было полно, среди которых много моих товарищей сда-

лись, их судил ревтрибунал, получили минимум 10 лет, и отправили на фронт в штрафбатальон.

Ну а мы в Водопьяново продолжали учиться, 22.02.42 нас взяли, а 12.03.42 мы приняли боевую присягу, тогда уж, если кто убежит, судит ревтрибунал. Вероятно, поэтому, чтоб меньше бежали, нам приказали принять присягу, тогда настоящий солдат и в службе и отвечает за свои поступки. Когда нас в Водопьяново построили на строевую подготовку, командир спрашивает, кто запевала, я молчу, думаю, может, кто еще орать будет, но наших ребят, кто со мной на шахте был, было много и в армии, вот и сказали, что я запевала. Так и пришлось мне опять орать, но теперь уже в рядах Красной армии.

Как-то раз мы вышли на строевую подготовку, комвзвода был, кажется, по фамилии Сысоев, такой собака вредный был. Построил нас и повел, потом приказывает, запевай, я запел, а ребята молчат, он опять командует, запевай, я запел, а ребята молчат, чем-то мы им были недовольны, и на меня шипят – не запевай. А командир нас загнал в снег и орет, запевай, я опять запел, а ребята молчат и на меня начали шепотом матом крыть и говорят – не запевай. Командир осерчал и все нас по снегу гоняет взад-вперед, направо-налево и орет, запевала, запевай; да, говорю, ребята петь не хотят. Он останавливает взвод и командует: Скрылев, выйти из строя; я вышел, он и давай меня гонять по снегу взад-вперед, направо-налево, бегом. Ребятам стало

меня жаль, ведь они виноваты, не пели, но в это время подходит наш комроты и командует: «Слушай мою команду!» Мы замерли: «Разойтись, перекур». Вывел нас на дорогу, мы отдохнули, он с нами поговорил, тоже, как и мы, закурил, а потом построил нас и скомандовал: «С места с песней шагом марш!» Вот тут-то мы и громыхнули: «С неба полуденного, жара не подступи», а наш взводный стоит красный как рак, но после этого случая вроде помякшил, знать, ротный с него стружку снял. Подвел нас ротный к столовой и распустил, т. е. скомандовал: разойдись на обед. Самая хорошая команда для нас, т. е. для солдата.

Вскоре нас перевели в Елец на какой-то карантин, ребята в пешем строю, а некоторым, кто чем прибалывал, разрешили поездом товарняком от ст. Дон до Ельца. С этими ребятами был и я. Мы поехали со своими земляками, залезли с ними в кабину грузовой машины, что стояла на товарном вагоне и следовавшая на фронт.

Товарищ мой был тракторист и легко открыл гвоздем кабину машины, и мы, чтоб было тише и не простыть, залезли в кабину и к великому нашему счастью нашли там две буханки хлеба, мерзлого, и привезли его к своим товарищам в Елец, там ребята нашли кайло и разрубили хлеб всем поровну. Плохо нам было в Водопьяново, а в Ельце совсем труба, таскали миномет на себе в сторону вокзала и там его изучали и учились с ним обращаться, есть совсем нечего, это, наверное, нас

умышленно морили, чтоб на фронт веселее шли и оттуда в тыл не манулось. Но, как ни голодали, а две недели отбыли карантин и вернулись в Водопьяново, в свой 61 запасной полк.

Был апрель месяц, и нас стали подготавливать на фронт, переобмундировывать, дали запасное белье, дали матушку-винтовку, мы получили звание воинское младших командиров, присягу приняли, вооружили. Стояли пасхальные дни, и мирные люди прибыли из деревень с пасхальными гостинцами, кто чего принес, раздавали лично. Мы подходили по очереди, а старые и молодые нам раздавали, и почти все пышками, глядя на нас, вооруженных пацанов, которые вот-вот пойдут в бой, да у самих их уже были на фронте родные и знакомые. Мы получили гостинцы, благодарили, христосовались. Но это некоторые, а другие по два раза сумели подойти за пасхальными гостинцами, всякое бывает, т. к. мы все люди разные. После пасхальных гостинцев нас построили, и пешим ходом мы пошли на фронт, а мирные люди по старому обычаю нас вслед крестили. Шли мы вольно, никто нас не гнал, но мы все знали – кто от маршрута свернет, т. е. нарушит военный закон, будет отвечать перед ревтрибуналом, т. к. воинскую присягу мы приняли. Идти старались и надо было бы идти больше ночью во избежание встречи с немецкими самолетами, которые могут отбомбить нас или обстрелять из пулеметов, и так, и этак хорошо, т. к. войска наши шли в Ливны беспрерывно день

и ночь, и обстрел немецких самолетов или бомбежка даром не пропали бы.

При подходе к селу Чернава нас уже ряд дней не догоняла машина и не доставляла нам продукты, и мы шли голодные. В Чернаве нам объявили привал, мы поставили винтовки в козлы и развалились под лозой отдыхать в холодке, я и говорю своему двоюродному брату Сергею, с которым мы с шахт не расставались, пойдём побираться, а он говорит, да что ты, кто тут подаст, глянь сколько тут войск идет, а я ему говорю, но и в морду не ударят, все меньше будет есть хотеться в надежде, что подадут. Поднялся, и мы с ним пошли. Сергей оказался прав, везде, где мы просили чего-либо покушать, нам отвечали: «О господи, да где же мы вам возьмем, смотрите сколько вас на Ливны идет и идет». Мы шли дальше, а я все продолжал просить, а Сергей молчал, а я-то в детстве после раскулачивания побирался, привык или, может быть, был посмелее.

Идем и видим, стоит дом с крыльцом, я и говорю брату: «Серег, а ведь тут-то, наверное, богатые живут, тем более не подадут». И вдруг выходит тетя и спрашивает: вы что, сынки; а я говорю: тетя, мы идем на фронт, а наша машина отстала с продуктами, и вот несколько дней мы ничего не ели. Она вздохнула, упрекнула войну и сказала: погодите; и немного погода выносит нам полчашки большой алюминиевой мамалыги, что из кукурузы молотой варят, без хлеба и масла. Говорит: нате,

ребята, кушайте; мы тут же чашку опорожнили на камне, а хозяйки нет, и, не сказав спасибо, оставили чашку и ложки на камне и убежали к своему биваку, т. е. стоянке, а там уже стоит машина, на плащ-палатках разделили продукты, прокричали, кому, и остались только наши с Сергеем две порции, мы с ним съедомое убрали быстро, а его кучка табака и моя лежат, он не курит, и я не курю, и в карманах табак не таскали. Тут же подходит военный, убран, весь брундит<sup>25</sup>, и говорит: ребят, может, кто не курит и табак продаст; я сказал: вот мы с братом не курим. Он спрашивает, сколько вам за него, я отвечаю, что ни я, ни брат табак не покупали, не продавали, и спрашиваю его: может, покормишь. Военный с радостью говорит: покормлю, можно забирать? Говорю: забирай. Он стал на коленки, а в сапоги его хоть смотришь: пошли, ребят.

Вот он идет, а мы за ним, а потом мы стали отставать, т. к. он нас вел в тот же дом, где только что ели у тетки мамалыгу, он оглянулся и говорит: «Вы что, ребят, боитесь, что ли, ведь воевать идете, а в деревне боитесь, пошли, пошли». Заводит нас в дом, посадил на лавку, сам сел к столу и говорит: хозяйка, покорми-ка ребят; она ответила: сейчас; и вдруг выносит ту же чашку, но только полную с мамалыгой, политую маслом, и два кусочка хлеба, а у нас с братом душа в пятки ушла, а вдруг

---

<sup>25</sup> Брундеть – звенеть, трястись. Офицер был «убран», то есть, по-видимому, увешан наградами и имел внушительный вид.

узнает, но, ничего нам не сказав, поставила перед нами чашку и ушла на кухню, а мы начали опорожнять с братом чашку. Вот сидим, едим, чувствуем, что сыты, а поесть-то все надо, впереди не мать родная, а неизвестность, но доели и, не сказав обратно спасибо, т. к. не могли, объелись, встали и ушли; хлеб, дело ясное, тайно в карман сунули про запас. Удивляюсь, неужели хозяйка нас не узнала, но, думаю, нет, нас же там тысячи великие в день проходят и в одной шкуре, попробуй узнай.

Прибыли мы на бивак и растянулись под лозой в тени. Спасла нас от смерти команда «подъем», и в путь, и мы с браткой шатаясь взяли вещмешки, скатки шинелей, винтовки и пошли в сторону Ливен. Мы видели, как наш один солдат, наш, ломовецкий, догнал машину, везшую летчиков, летчики помогнули ему на ходу взобраться в машину, и уехал в Ливны. Нам объявили – до Ливен добирайся как хочешь, и указано было место сбора. Мы шли пешком и потихоньку разламывались, к вечеру совсем разломались, разошлись, ночевали в одной маленькой деревушке у тетеньки, а утром мы ей проели<sup>26</sup> за таратушки, или стапинцы, что из мерзлых прошлогодних картошек пекут, пару белья; я отдал рубаху из белья, а брат подштанники, эта хозяйка нам сухих стапинцов напекла, а масло у нас свое было, что нам выдавали сухим пайком. Мы накормили с братом

---

<sup>26</sup> То есть отдали за съеденное.

и третьего товарища, и хозяйку стапинцами с маслом. А утром пришли в Ливны. Значит, пришли на фронт, приползли, ноги я побил страсть как, или обувь не подходила, или портянки не так наматывал. Это было 3 мая 1942 г. Мы влились в пополнение 13-й армии генерал-полковника Николая Пухова в 307 с/д<sup>27</sup> 1019 с/п<sup>28</sup> 82 мм. мин. батарею ОМД, т. е. отдельного минометного дивизиона.

Дивизия наша 307 с/д была сформирована в основном из сибиряков, хотя немного, но была уже не в жарких боях. Нас встретили в 1019 с/п в 82 мм. мин. батарее, как и положено, проверили документы, знание по миномету, стройподготовку. Комбатареи наш был без воинского звания, т. к. был уже в окружении и без знаков различия и документов вышел из окружения, и ему доверили командовать нашей минометной батареей. Коротков, звание у него якобы было капитан, был строг, но справедлив, и шестерых нас, прибывших к нему в пополнение, проверил основательно, узнал, что мы с Сергеем братья, одобрил и говорит, пусть братки вместе бьют фашиста, но комиссар Подковзин не поддержал комбата, чтоб братья воевали вместе, а промолчал. Построил нас комбат, проверил строй, подготовку, покрутил, повертел и спросил, есть [ли] запеваля, ребята наши глянули на меня, командир понял, что я запеваля. Он

---

<sup>27</sup> Стрелковая дивизия.

<sup>28</sup> Стрелковый полк.

скомандовал «смирно, шагом марш» и приказал, запевай, я запел, товарищи поддерживали, хотя нас было мало, шестеро, но, кажется, командир был доволен.

Располагалась наша батарея в деревне, кажется, Сухатинка. Нас распределили, новоприбывших, по взводам и отделениям. Вижу, и на фронте кормят не на убой, но не как в 161 запасном полку в Водопьяново, лучше далеко, но то, что давали, мы все поедали, и не хватало. У нас в запасе было постное масло, а есть его было не с чем. Я попросил у своего комвзвода разрешение отпустить нас с братом Сергеем, чтоб мы накопили прошлогодней мерзлой картошки, чтоб напечь арапиков, стапинцов, сорванцов – им было имен, но вещь хорошая, т. к. мы на них выросли. Комвзвода поговорил с комбатом, и отпустили нас в поле за этими «харчами». Мы к вечеру накопили, перечистили, перемыли и принесли в подразделение два полных ведра этой продукции, поговорили с хозяйкой, она была орловская и тоже этим питалась, но без масла, а у нас было масло постное, она согласилась и напекла нам к вечеру полную большую чашку сорванцов, или стапинцов, и позвала всех откусать этой еды. Так как у нас в подразделении были большинство сибиряков и они этой пищи не видели, то шли не очень охотно, а один грузин, Хамасурадзе, подходит ко мне и говорит: «Слушай, Скрылев, а я ночью от этой еды не сдохну?» Я ответил, что всю жизнь их журу и, как

видишь, не сдох, а вырос больше тебя. А эти самые стапинцы, правда, на вид были страшные, черные. Но хозяйка это дело знала твердо, подобрала их маслицем и еще в полугорячем виде позвала нас их откусать.

Всем нашим таратушки очень понравились, а на второй день нам с братом Сергеем дали в помощь еще двух ребят. Наш фронтовой рацион пополнился, еды прибавилось, и харчей стало хватать досыта. И мы питались этим харчем до тех пор, пока в картошках не завелись черви. Но а после, когда жрать захочешь, найдешь эту самую картошку, очистишь, а там червь, выкинешь его, разомнешь на саперной лопатке и на огне поджаришь, несколько раз повернешь и без масла и соли с удовольствием съешь. И никто не умер, а главное, врага били, приказ Родины, стариков, детей и женщин выполняли как могли.

Как-то комбат наш вечером увел всех своих бойцов на передний край выкопать огневые позиции для нашей минометной батареи, оставил лишь часовых для охраны материальной части, т. е. минометов, мин к ним и т. д. У нас было 3 взвода, на каждый взвод по одному. Двух сибиряков и меня, т. к. у меня сильно ноги были побиты, когда я на фронт шел. И санинструктор меня оставил в часовых. Остался я один, обошел дом, где хранилось мое охраняемое имущество, т. е. миномет и мины, был каменный двор, а на дворе навоз, знать, у хозяина был скот когда-то,

рядом с домом был каменный подвал. Все это я увидел, т. к., стоя на посту и ходя вокруг дома, я ко всему приглядывался. Наш комбат отвел бойцов копать огневые позиции и вернулся к нам, так как здесь осталось самое главное наше оружие, минометы. Он проверил посты и ушел в хозчасть, она была рядом. В полночь я слышу, что-то в стороне немцев запокало, пок, пок, пок, а потом как завизжит, засвистит, и сплошные взрывы все заглушили, я упал, где стоял, и лежу вдоль дома, но винтовку не бросаю. Волна взрывов не прекращается, и я вспомнил, что двор каменный есть и там укрыться надежней будет от осколков, и пополз во двор. Только начал туда заползать, как там рвануло, меня приподняло, развернуло кругом и ударило о землю, а я все ползаю со своей винтовкой сзади дома. Слышу на бешеной скорости промчалась подвода, а потом крик нашего комбата, зовет часового сибиряка, молчит, зовет второго, тоже молчит, а потом кричит: «Скрылев!» – «Я, товарищ командир!» Он орет: «Молодец!» И в это же время фашист повторил налет, но, вроде, менее яростный или я к нему уже привыкать стал. На зорьке подошли ребята с переднего края. Подошел наш комбат и от души поздравил меня при моих товарищах за руку с боевым крещением и сказал ребятам, что пост я не бросил.

Рассвело, и я увидел работу немецких минометчиков на моем охраняемом объекте. Три прямые попадания во двор, куда я хотел переползти,

несколько попаданий в дом, окна, двери, все вышибло, но наше оружие не повредило осколками, оно же железное. Сказал мне командир, да я и сам понял, что мне нужно было бы прыгнуть в подвал, он же был рядом; если бы прямым попаданием попало, то сразу бы к Богу в рай улетел, а не то вылез бы из подвала как барин, а то стою вот перед ребятами и весь в навозе, вскрытый, но, главное, живой и невредимый, значит, пронесло, значит, крещение удачное. Это было 17 мая 1942 г.

Побило у нас при налете несколько лошадей, а некоторых сами пристрелили, т. к. они были тяжело ранены, безнадежны. Повар наш Соровацких тут же затопил свои котлы, наполненные мясом кониной, мы были довольны после работы всю ночь наесться мяса до отвала и уснуть. Отдохнуть вечному труженику солдату не удалось. Как только закипели котлы с мясом, раздалась команда «в поход». Стали срочно грузить на подводы свое оружие и вещи, мясо с котлов мы расхватили и рассовали по своим вещмешкам и начали продвигаться скрытыми местами на свои огневые позиции, вырытые ночью под ст. Коротыш. Солдаты, у кого было время, на ходу рвали мясо зубами, а из-под пальцев от мяса капала кровь, т. к. оно не сварилось, а обварилось, а кто тащил свой кусок до прибытия на огневую позицию в вещмешке.

Прибыли на огневую позицию благополучно, шли и везли свои вещи и оружие по балкам и овра-

гам, продвигались тихо, ничем не давали знать врагу, что мы к нему под самый нюх подбираемся, разгрузились и установили свои огневые позиции с великой осторожностью в тишине, так что фашист нас даже ни разу не обстрелял, это удачно. Как только мы оборудовали свою огневую позицию в полное боевое положение, мы свободно вздохнули и занялись своими личными делами, кто чинит свои вещи, кто разулся, проветривал свои ноги, сушил портянки или грыз свой обваренный кусок конского мяса, а кто, сняв рубаху или штаны, с великим удовольствием уничтожал физически, т. е. ногтями, вшей, которых было видимо-невидимо и, казалось, их ничем невозможно уничтожить. Вот так же и я снял гимнастерку и рубашку нательную и лупцую их, ни грамма не жалею, бью насмерть, они-то меня не жалеют, жрут и спасибо не говорят. Ну чего вы смееетесь, что было, то и говорю. Ну и товарищ мой тем же занимался, сибиряк далеко старше меня, ему годов 35-40, а мне 17 лет.

Надоела мне эта вшебойня, я бросил рубашку в сторону, достал свой кусок мяса и начал его грызть, руки не мыл, да и зачем их мыть – во-первых, нечем, во-вторых, вши-то мои, и значит, кровь у них моя, гребовать нечем. Да вы не плюйте, не плюйте, вы сейчас увидите, что хлеб на пол упал, поднять поднимете, а есть не будете. Мы, бывало, так пить захочешь, что попадет лужица с сукровицей, а там червяки копаются,

так достанешь тряпочку, платочков не было, их нам не выдавали, или через подол гимнастерки или нательной рубашки кое-как душу промочишь, жажду утолишь, другой подходит, и осторожно, чтоб эту лужицу не замутишь. И никто не плюнул, никто с души не вырвал, и ни один черт не умер, а пили и, главное, немца били.

Грызу, значит, свое мясо, смотрю: и сосед мой сибиряк тоже положил свою рубашку и тоже свой кусок конины мусолит, вот мы с ним в шутку и переговариваемся. Смотрю, а он в мою же сторону рукой показывает, раз, другой, я оглянулся, а около меня присаживается военный человек и говорит: здравствуй сынок; говорю: здравствуй; и узнал в нем командира полка, он мне руки не подал, да и я ему тоже, т. к. руки у меня были в крови, и он это видел; говорю: вот видите, товарищ комиссар, не успел повар доварить, а тут доваривать нельзя, комбат говорит, что немец рядом, заметит и накроет огнем. Мой сосед сибиряк говорит: товарищ комиссар, а Скрылев – и показывает на меня – боевое крещение принял сегодня ночью. Он на меня посмотрел и говорит: ну как, обошлось? Отвечаю: ребята рыли ночью вот эти самые огневые позиции, их не было, убило несколько лошадей. Комиссар говорит: ну как, страшно было? Отвечаю: страшно, один был, да в первый раз, мы только что прибыли на фронт; комбат похвалил, что я не растерялся и пост не бросил. Молодец, сказал комиссар. А тут говорит сибиряк: товарищ

комиссар, а вы не съедите кусочек мяса, хотя оно не доварено; комиссар отвечает: если себя не обидите, дайте. Сибиряк достал из вещмешка другой кусок и подал комиссару, и он так же стал его мусолить, как мы.

Был комиссар лет 50 с гаком, он снял фуражку, и я увидел, что он был полуседой, а хороший был человек, как отец. Как к нам приходил, всегда сядет или станет около молодого бойца, расспросит, расскажет, объяснит, похвалит, а то и пожурит, душа-человек, любили мы его. А я сижу и думаю, вот комиссар-то пришел ко мне, сел около меня, а угощает его другой, ведь у меня в вещевом мешке тоже другие куски мяса, мне стало стыдно и обидно на этого сибиряка, что он комиссара кониной угостил, а не я. Ну что ж, он же старше меня, значит, и подогадливей. Положив на траву свой недоеденный кусок мяса, комиссар встал, сказал: спасибо вам за угощение; мы быстро встали и одели гимнастерки, а рубашку я нательную не стал одевать, т. к. она была не обработана от вшей. Комиссар увидел у меня на петлицах треугольники и говорит: а вы, товарищ Скрылев, младший командир? Отвечаю: да, в 161 запасном полку закончил и сюда прибыл. Ну как там было, спрашивает; отвечаю: плохо, почти не кормили, а гоняли с утра до вечера. И рассказал я, как нас комвзвода Сысоев гонял по колено в снегу, чтоб мы пели, а меня как запевалу, и, чтоб я не говорил в строю, одного гонял, спасибо, выручил комбат.

Комиссар сказал: тяжело в учении, легко в бою. Я говорю: товарищ комиссар, да, на фронте легче, ей-богу легче. Комиссар улыбнулся и говорит: так вы еще, товарищ сержант, и запевала. Так, молодец, молодец, весели ребят, бейте немца с улыбкой, не унывайте. А тут еще сибиряк сказал: у сержанта, товарищ комиссар, получается хорошо, Скрылевым наша батарея довольна, до его прихода у нас запевалы не было. Комиссар улыбнулся, глядя на меня, чуть заметно подморгнул мне и пошел вдоль оврага к другим бойцам проверять настроение и поднимать дух бойцов, в особенности молодых. Это я понял далеко позже, когда уже стал настоящим воином.

Вот видите, дорогие дети, какой комиссар был, так разве оставишь его в беде или не пойдешь за ним в бой, за ним в любые трудности полезешь, на смерть пойдешь, а умирать не страшно будет. Лично у нас в батарее были комбат и комиссар. Отвечают они за батарею одинаково. Комбат был в окружении и вышел, значит, видел лихо, и когда повар старался его покормить как командира чем-либо повкуснее, то отругал повара и требовал, чтоб в его котелок наливали только из солдатского котла. А комиссар Подковзин любил полакомиться за счет солдатского пайка, так как же на него будет смотреть простой солдат. Идет-то в бой и будет погибать за одно и то же дело, ведь у командира жизнь, и у солдата не балалайка, у начальника голова, и у

бойца не тыква. Вот и в гражданке так же, попал в начальники, вот и тянет, и везет и себе, и своих по блату, и все мало, а ты умирай, черт с тобой, лишь бы у него торчало, и у его близких, родных, блатных подруг.

Вот я и начал воевать под Ливнами, станция Коротыш. Немец нас бьет, а мы его нет, так как у нас было 6 минометов, а выстрелить мы имели право в сутки только 2 раза, а мы ни разу не стреляли, сэкономили мины, т. к. немец в 42 г. лез на Сталинград, а наши военные заводы эвакуировали в тыл, и их еще восстанавливали, и они военную продукцию не выпускали, а главное, снабжали сталинградское направление. Но когда немец лез всерьез, мы ему отпор давали, так было не раз. А вот когда наш солдат выстрелит в его сторону, то фашист делал в нашу сторону артиллерийский или минометный налет и какую-либо пакость делает, или убьет кого, или ранит. Так вот мы сами, если кто стрельнет без дела, то мы готовим ему, т. е. нашему солдату, дать лупанцев<sup>29</sup>. Не дразни зря фашиста, пусть дожидает, отучим. Как-то вызывает меня комбат и говорит: товарищ сержант, к нам в батарею прибыли два человека пополнения из мест заключения, якобы добровольцы, вот сегодня пойдешь с ними в дозор, покажешь им, где окопаться, а сам окопаешься несколько метров сзади их, учти, это тюряги, и что у них на уме, неиз-

---

<sup>29</sup> Отлупить.

вестно. Ясно, отвечаю. А теперь, [говорит,] пойдем, сержант, я вас с ними познакомлю.

Пришли мы с командиром на огневую позицию, и я вижу, что сидят два незнакомых солдата. Вот, ребята, говорит командир батареи, это сержант Скрылев, с ним вы сегодня ночью пойдете в дозор, как только стемнеет. Ребята были годов 30–35, но люди как люди, я подумал, что же командир батареи меня обратно посылает, ведь я прошлые ночи почти не спал, но сказал: «Есть идти в дозор!» – и в назначенный срок забрал ребят и пошел выполнять приказание. Где шли, где ползли, но к месту дозора прибыли. Я показал солдатам, где кому окапываться, и отполз несколько метров назад, окопался сам, чтобы они мне были заметны и ночью. Наступила ночь, смотрю, один солдат вылезает из своего окопчика и ползет ко мне, я шепотом говорю: куда? – он что-то начал шептать, но я повелительно сказал: назад, и он послушно занял свой окопчик. Помню, трясет меня кто-то за плечо и говорит: товарищ сержант, скоро смена придет; я обратно шепотом на него говорю: на место; он послушно занял свое боевое положение. Смотрю, уже светает, и думаю, значит, я уснул, совершил тяжкое преступление перед родиной, и думаю, признаваться командиру или нет, ведь кроме этих солдат никто не видел и не знает. Вскоре пришла, т. е. подползла смена, мы уползли, прибыв в подразделение; пришел к командиру батареи для доклада. Он в землянке



Минометный расчет на занятиях. Николай Иосифович – наводчик; на переднем плане стоит товарищ Скрылева, Дорохов. 1942

был один, и я доложил все начистоту и напомнил ему, что я до этого дозора не спал две ночи. Командир батареи слушал меня внимательно, смотрел полусерьезно, скомандовал «вольно» и сказал: иди отдыхай. Вскоре этих ребят «тюряг» забрали, кто они были, я не знаю и не знаю также, испытывали ли командиры меня на прочность во сне; и, в правде слова, для меня [это] до сих пор вопрос.

Немец огневые налеты делал редко, методический огонь вел непрерывно, вернее, нет-нет да и стрельнет. Вот мы, подносчики мин, под этим огнем и носили мины к своим минометам, на огневые позиции. Я думаю: что же это, я окончил курсы на командира минометного расчета,

а таскаю мины. Пишу заявление на командира батареи товарища Короткова и прошу направить меня в расположение штаба полка, т. к. я сержант, а воюю подносчиком мин. Командир батареи заявление принял, но в распоряжение штаба полка не отправил, а поставил на должность наводчика. У нас были в батарее минометы 82-миллиметровые. Нас в середине лета 1942 г. отводят с переднего края во второй эшелон и вручают нашей минометной батарее 120-миллиметровые полковые минометы. Батальонный 82-миллиметровый миномет мы втроем свободно таскали на себе, а полковой 120-миллиметровый не понесешь, у него все 280 кг.

Вот мы и начали его изучать и как обращаться с ним в бою. Через некоторое время была специальная дивизионная комиссия – проверка наших знаний, из дивизии, вернее, трех полков нашей дивизии, 1019 с/п, 1021 с/п, 1023 с/п. Наш расчет, в котором я был наводчиком, 1019 с/п, занял первое место. Миномет был готов к выстрелу через 9 секунд после подачи команды. Наш расчет сфотографировали и написали о нем в дивизионной газете «За Родину». Это фото у меня до сих пор цело. Ввиду того что всё 1942 г. лето мы под Ливнами, станция Коротыш, простояли в активной обороне, нас поздней осенью сняли с переднего края и отвели в г. Ливны, где нас учили строевой подготовке и изучению материальной части миномета, винтовки, т. е. своего оружия. Сделали

какой-то дом отдыха, куда и я попал, первый раз в жизни. Вот там-то действительно отдых, кормили хорошо, делать ничего не делали, а только качались на стульях, они сами качались, играли в домино, шашки, ну, как я уже говорил, отдых есть отдых, вот я там пробыл, кажется, 30 дней, вернее, раз и напоследок, т. к. всю жизнь вот я прожил, а больше в доме отдыха я не был, хотя как инвалида не раз направляли. Вас-то у меня много, вот я и не ездил.

Прибыл в подразделение, а здесь по-старому учат строевой, учебной стрельбе, ходили строем по Ливнам и пели песни. Как и раньше, запевал я. Здесь мы, вернее в Ливнах, встретили новый 1943 год. Вскоре, к нашему великому удивлению, с нас сняли бывшие знаки различия и подцепили погоны. Вот мы и стали по Ливнам ходить в строю, да еще с песнями, мы в погонах. Но погоны – это полбеда, а вот новый гимн Советского Союза изучали далеко труднее; то был интернационал, а настоящий гимн нам поддавался тяжелее, и ко мне как к запевале приставали, запой да запой. Я отвечаю, да что я вам, патефон, но все же одолели, привыкли, запели. В г. Ливны меня согласно моему воинскому званию назначили командиром расчета 120-миллиметрового миномета, в котором было 8 человек ребят, пара коней, пароконка и ездовой. Забот прибавилось, ответственности тоже. При первой же дележке хлеба, сахара, табака, который делили на плащ-палатке, хлеб разрежут,

а сахар и табак на кучки, один солдат отворачивается, а другой спрашивает, кому, вот так и делили без обиды. Я своим бойцам сказал: ребята, я не курю, так вы делите его, т. е. мой паек табака, всем поровну. И сахар тоже мне не выделять за то, что не курю<sup>30</sup>, а всем поровну.

Это был мой первый приказ моему отделению. Вот и стал ваш отец в тот далекий 43 год командиром, а мне еще не было 18 лет, подчиненные мои все были старше меня, и далеко старше, как, например, у меня в отделении были бойцы Беклемишев и Шаховцов, им было по 48 лет, они были чуть помоложе моего отца, но подчинялись сверххорошо, вернее, все мои бойцы мне подчинялись и уважали меня, кроме одного сибиряка красноярца Сашки Пряслова. Когда я взял первенство в наводке миномета, нас сфотографировали, Пряслов сказал улыбаясь: ну что ж, в учебе-то можно взять первенство, а вот как в бою получится. А что я могу ответить, я же в настоящем бою не был еще, и промолчал. Одним из вечеров мы оставили г. Ливны в начале 1943 г., т. е. в январе. Мороз был настоящий, наш, русский, но нас, воинов переднего края, одевали хорошо. Это слава нашему родному тылу, вернее, женщинам, старикам, детям, которые сами не доедали, не досыпали, а все отдавали нам, фронту. Вот уж сколько времени прошло, и всегда я его стараюсь вспомнить добрым

---

<sup>30</sup> То есть не компенсировать табак сахаром.

тихим словом. Низкий поклон вам, дорогой мой фронтовой воинский тыл СССР.

Прибыли мы ночью в населенный пункт Гати-чьи<sup>31</sup>, но точно не знаю, были ли там мирные люди, т. к. мы сразу же в одной из балок выкопали в снегу землянки, установили буржуйки, накрыли брезентом, затопили. Стены обледенели, они же снеговые, и от такого сильного мороза получилось хорошее убежище. Так как нам не приказывали вкапываться в землю, а в снегу, то мы поняли, что долго задерживаться не будем, и точно, 25 января 1943 года мы рано утром ударили по фашистам. Забалакал артиллерийскими, минометными выстрелами наш передний край, бьем беглым огнем непрерывно, чтоб получше обработать передний край врага и быстрее ворвалась наша пехота в их окопы.

Вдруг над моей огневой позицией закипело пламя огня. Все мое отделение и я с ними упали в снег, слышу, мне в самое ухо орет мой боец нацмен: товарищ командир, это наши катюши бьют. Этот солдат видел, как катюши заходили к нам в тыл и, не предупредив нас, открыли огонь, а катюши не стреляют, а бьют огнем и страшно шипят. Артподготовку вели из всех видов оружия, били Р. С.<sup>32</sup>, они как в ящиках, т. е. в клетках, как доставляли их на огневую позицию, так

---

<sup>31</sup> Этот топоним идентифицировать не удалось.

<sup>32</sup> Реактивными снарядами.

и запускали к немцам, и некоторые Р. С. петельки в клетках<sup>33</sup>, а немец говорил, что «Русь амбарами кидается». Там, где разрывался этот снаряд, образовывался погреб. После обеда мы пошли вперед. Оборона немцев была прорвана. Я с левой стороны увидел, как пошла вдогонку за немцами наша кавалерия. Год я уже воевал, а ни одного немца живого не видел, а тут сразу шесть фашистов. Вижу, немцев пленных ведут, все оборванные, укутаны в наши бабьи шали, валенки, варежки, что с мирных снимали, то на себя надели, спасаясь от нашего русского славного мороза, и между ними одна немка идет. Все осопатели<sup>34</sup>, слюни распустили, они замерзли; ну просто пугало ходячее в наших бабьих тряпках, а не вояки, да еще с нами воевать собрались.

Первый поселок мы взяли, кажется, Алексеевка, а там уж наши ребята трофеи тянут, ну и мы нашли и притащили много консервов; более всего нам понравились португальские, они как портсигар, легко вмещались в карман брючный и быстро отогревались в кармане. Зашли мы в одну из хат обогреться. Видим, хозяйка нарезала в чашку небольшие кусочки хлеба и ходит, каждого из нас угощает. Мы, дело ясное, отказываемся, но из-за уважения берем и благодарим. Она всех обошла да как заплачет и причитает: «Родненькие вы мои,

---

<sup>33</sup> Видимо: летели в клетках. Зачастую реактивный снаряд улетал вместе с «ящиком», деревянным направляющим устройством.

<sup>34</sup> Здесь: простыли, засопливились.

да вы ведь все наши, все по-русски говорите, а нам фашист говорил, что русских всех побили, а за них китайцы воюют. Вот поэтому я вам каждому хлеб давала, чтоб поговорить и узнать, русский ты или китаец».

Вскоре поступила команда «вперед», нельзя же немцу давать одуматься, раз оборону прорвали, так у него на хвосте [надо] висеть, вот мы и двинули за ним в сторону Волово. С небольшими остановками двигались всю ночь, мороз к утру крепчал, и мы при кратковременных остановках, чтоб не замерзнуть, мутосили друг друга кулаками в варежках, т. е. по-боксерски. На зорьке подошли к Волово. Разных родов войск скопилось тьма-тьмущая. Войска наши вдруг стали, а с зада все напирают. И в это время от немца прилетело сразу несколько снарядов, один упал недалеко от нас и взорвался, стоявший недалеко от нас солдат в белом полушубке упал, даже не вскрикнул, его тут же раздели наши солдаты, так как он был убит наповал, а кто снял полушубок, ему воевать, этот закон был. Если б одежда была снята на пропой или на продажу, тут же бы убили. Наш связист говорит мне: а ну-ка, сержант, поддержи его, т. е. покойника, между ног ногой, а я с него валенки сниму, а то мои вот-вот прохудятся; а я говорю: да ну тебя к черту, я только сейчас с ним говорил, да он еще теплый; а связист говорит: вот, пока теплый, с него их и тянуть, а то закаленеет. Я отошел, подошел к связисту мой товарищ Дорохов,

упер убитого ногой между ног, а связист стащил с него валенки.

После разрыва немецкого снаряда наши войска рассыпаны вправо и влево, но решили, разведка доложила, что в Волово немцы, тут же развернулись от каждой батареи по два расчета и прямой наводкой начали бить по Волово, но так как почти рассвело, все стало видно, начал немец не отступать, а убежать. Чтоб убежать, надо было спуститься вниз, а потом выходить на бугор и дальше за бугор, а мы стояли на бугре и нам все видно как на ладони. И били его из всех видов орудия, пока он на бугор поднимался, скрывался за бугор очень мало, но и там его доставали шрапнелью. Так что за погибших наших несколько человек мы отомстили в сотни раз, но и немец, если бы в нашу гущу кинул не один снаряд, а несколько, или, не дай бог, сделал бы огневой налет, то было бы... Вскоре прилетели немецкие бомбардировщики, но не нас бомбить, а бомбить свои гаражи, оставшиеся в них машины. Трофеев осталось в Волово много. Стояла в Волово школа двухэтажная кирпичная, вижу, сидит на порожке у нее наш связист и меняет валенки, он был сам смоленский, под Москвой дважды раненный, награжденный, в общем, битый солдат, и говорит мне: «Ну вот, сержант, ты не помог мне снять валенки с убитого, а я вот теперь обут, а, может, их сейчас с меня снимут». Я отвечаю: да ведь ты-то битый солдат, а я только привыкаю. Он достал из

кармана португальские консервы, что мы взяли в Алексеевке, и говорит, иди, сержант, покушаем немецкого трофея; я отвечаю, у меня тоже в кармане лежат, а он, иди, иди, всю ночь шли, жрать-то захотели; так и вышло, обе и слопали, есть правда захотели.

Дали нам отдохнуть, и мы немного походили по немецким складам, меня поразили вдоль распущенные свиньи, ей-богу, длиньше лошади, где они только их брали; всего не расскажешь, по всему Волово не ходили. Еще я видел хлеб печеный из опилок, спросил одних женщин, они тоже ходят по складам и несут, что им надо, они мне ответили, что хлеб из опилок пекли [с] небольшим количеством муки немец для пленных наших. Мы в Волово задержались, чтоб отдохнуть и, главное, двигаться днем очень опасно, разбомбит. К вечеру мы стали продвигаться поближе к большаку, ведущему на Касторное, смотрим, женщина с мальчиком тянет какие-то банки на санках. Наш парторг Костин спрашивает, что вы несете; мамаша говорит: мед, вот тут недалеко его полным-полно. Костин говорит: хозяйюшка, дай нам пару банок, а то нам нельзя от части уходить; она отвечает: сынки мои дорогие, берите все, а мы с сыном еще возьмем, тут близко; отдала нам все банки, мы ее поблагодарили, а они побежали снова загружаться.

Мы вышли на Касторенский большак под вечер, но было все видно, большак был расчищен

под Волово мирными жителями, а снег был свален в правую сторону, когда большак чистили, поэтому образовался вал снеговой, или бруствер. Дошли мы до поворота большака, свернули влево и вдруг увидели: летят три немецких самолета. Мы остановились, и все люди кинулись в правую сторону большака, за снеговой бруствер, думая, что немец будет бомбить обоз, а мы укроемся за снеговым валом от осколков. Фашист, значит, где-то отбомбился, а над нами как спикировал, да как включит сирену, эту чертову песню, как она завывала, а он снизился почти до земли с этой песней, чуть колесами по спинам не проехал, а от этой сирены сердце куда-то делось и не помню, стучало ли оно, и так все три самолета, и ни один не стрельнул. Старый боец Гусев говорит: ну, сволочи, прицепились, сейчас повторят с огнем, и точно, глядим, самолеты развернулись на второй заход. Гусев, он под Москвой воевал, скомандовал: разбегайтесь друг от друга; а самолеты тут как тут. Включил, сволочь, сирену, да из крупнокалиберного пулемета стал поливать, а я лежу, вжался в снег, ей-богу, была бы яма или шахта, наверно, прыгнул бы туда. Лежу я книзу лицом, а смотрю вбок и вижу, лежат мои бойцы Гусев и Яковенко, а кругом их черные фонтанчики, это фашист бьет с пулемета, разрывные пули под снегом разрываются, и земля высккивает над снегом фонтанчиками. Вижу, поднимается мой Гусев и тут же падает, я решил, готов, а Яковенко не шевелится, тоже, думаю, готов.

Но вот последний стервятник нас проутюжил, и улетели, я поднимаюсь, смотрю, и Яковенко мой поднимается, и Гусев, я кричу, вы живы, а Гусев говорит, а как же, их обманывать надо, пусть думает, что я убит, он прицел перенесет, – меня этому еще под Москвой научили. Я говорю, ты, Яковенко, осмотри себя, ощупай, ведь кругом тебя фонтанчики от пуль стояли почти сплошные, он говорит, а над тобой, я ведь все время смотрел в твою сторону, ты погляди, сержант, на свое место, где лежал, я посмотрел, кругом моей лежанки почти все черно. Недалеко от нас лежит наш связист Кулагин, мы ему кричим, поднимайся, улетели сволочи, он лежит не шевелится, и крови нет. Подняли ему голову, а там кровь. Одна лишь пуля ему попала в висок, а на другой стороне вышла. Мы забрали у Кулагина, нашего связиста, одни документы, и прав он оказался: сказал мне, «а может, с меня их сейчас снимут», т. е. валенки.

Мы вышли на большак, обоз фашист не тронул, а бил нас, солдат. Да у него и бить-то нечем было, он же где-то отбомбился, а мы ему попали на глаза, вот он и решил на нас расстрелять свои оставшиеся патроны. Всю ночь шли с небольшими остановками, стало рассветать, стали выделяться в поле и направо и налево стога с сеном или с соломой, около одного стога наши ребята заметили двух человек, кто это, не поняли, а они укрылись за скирдом. Мы думаем, если б наши, они бы не

прятались, значит, фашисты. Два солдата говорят: дай мы сбегает; командир их отпустил, мы за ними наблюдаем. Смотрим, ведут шесть собак двуногих, обыскали их, взяли часы и ручки, а их расстреляли, пошли дальше.

Вот рассвело, и пошла настоящая охота, в каждом стогу или какой кучке соломы или сена они прятались, их же некоторые части разбили, вот они и прятались, ни одного в плен не брали, всех расстреливали после обыска. Да и как их было не бить. 41 год отступали, 42 год отступали, наших на нашей земле бьют, а их что, нельзя, что ли; натерпелись, наголодались, и началось. Рассвело, стали появляться и наши, и немецкие самолеты, стали и наши самолеты ошибаться, и немцы тоже, путают, по своим стучают. К примеру: дали задание нашим летчикам пробомбить какую-то деревню, а там уже наши, пока они летели да собирались, а мы уже ее заняли. Это было часто, вот однажды мы заняли деревню, а самолеты наши тут как тут и завертели над нами, заходят на удар, наши вынуждены были на снег разостлать красное знамя, летчики поняли и, слегка покачав крыльями, улетели. А однажды только начали занимать деревушку, вот тебе и немецкие самолеты, я спрыгнул в одну яму с другими солдатами, не нашли. Вижу, один офицер достает ракетницу и стреляет разными ракетами; я этого офицера не знаю и поэтому подхожу к нему и строго спрашиваю, что за знаки подаешь; он отвечает: я ему

голову путаю, что свои, мол. И правда, немец бомбить не стал, улетел.

Что ни ближе подходим к Касторному, то больше битых немцев валяется. Однажды видим, лежит немец убитый, не один, конечно, а много их, а у одного торчит из-под шапки ухо розовое, мы с товарищем подумали, он живой, под бок ногой его двинули, поднялся с рацией; он притворился убитым и своим передавал, что у нас делается. Таких не расстреливали, а сдавали куда надо, он пригодится. Однажды наши два солдата ведут трех пленных немцев, а наш солдат кулаком как стукнет по морде немца и тут же получает от конвоира сдачи и наказ: ты иди и там возьми в плен и стукай; знать, немцы нужны нашей власти, дельные. К вечеру подошли мы близко к Касторной.

Наш лейтенант ехал на лошади верхом, выполняя задание; уже стало темно, и видит, ему навстречу идет колонна, и думает, это наши подошли вплотную, а это немцы, стащили его с лошади, отобрали пистолет, полевую сумку, поставили за ним конвоира и повели с собой. Наш офицер видит, они все на ходу спят, и конвоир его тоже на ходу дремлет, он, т. е. наш офицер, якобы по нужде отошел в сторону, конвоир его пристроился за своими же солдатами и топает за ними, а когда все прошли, офицер лег в след от гусеницы танка и пополз назад, прибежал к комполка, стал просить взвод бойцов, чтоб пленить эту колонну, что его в плен брала. Но комполка сказал ему,

никуда они не денутся, Касторная окружена Воронежским и нашим Брянским фронтами.

Касторное освободили 28 января 1943 г. И, как я вам, дорогие дети, уже говорил, что пленных там в плен не брали, а поступали они беспрерывно, они же окружены, а Дед Мороз жмал всерьез не только немцев, и нам по-свойски доставалось от него. Трофеев там мы у немцев отбили не то что в Волово, все было: и выпивка, и закуска, но одна беда – командиры пить не разрешали, т. к. немец, отступая, травил и водку, и закуску, а я попал-то в сибирскую часть, выпить-то сибирякам охота, да всем охота, и все ее пьют. Наши ребята привели двух немцев, наливают им в крышки от их же котелков и приказывают, пейте, они лопочут и головой мотают. Но наши ребята отменные, ругались складно, взяли их на бога<sup>35</sup> да достают из кармана пистолеты их же, трофейные; немцы выпили, немного погодя еще им по крышке налили, тут они уж выпили без бога, легли на пол, уснули, а ребята ждут, что они подохнут или нет. С час ребята покурили, т. е. подождали, щупают немцев, живы они или нет; живы, а один говорит сибиряк: ребята, я ее ящик брал из вагона из середины, неужели немцы ее для нас весь вагон отравили. Кто перекрестился, а кто нет, налили в немецкие крышки от котелков, выпили, а все же волнуются, закурили, а потом заговорили, и понес-

---

<sup>35</sup> В уголовном жаргоне «взять на бога» – добиться своего обманом.

лась, пошел выпивон, говорят, что вроде немецкий ром пьют.

Тут и так чудес полно, а этот чертов немецкий ром еще чудес прибавляет. Через несколько домов от нас, так же как и мы, нализалась этого рома пехотная рота, а тут часовой как заорет: немцы! А немцы-то окружены, они ходили, ходили по полям да лесам, их даже летчики бомбить не стали, за них Дед Мороз наш взялся. Вот и решили они сдаться нам в плен белым днем, т. к. все равно замерзнут. Часовой наш заорал «немцы», как только увидел шедших солдат с поля в полном вооружении. А наш брат крепко выпивши, кто раздевши, кто полураздевши, схватил свое оружие, выскочив из хаты, залегли в снег и открыли беспорядочный огонь по немцам. Что делать фашистам, так и так смерть, и они замерзшие, голодные, не спали ряд дней и ночей, вернее, чуть живые, но трезвые, так же залегли и начали бить наших нетрезвых солдат. На счастье шла рота минометчиков ротных, трезвые. Они тут же два миномета поставили в боевое положение и открыли огонь по залегшим немцам, а два взвода оставили свои минометы на месте, кинулись, как пехотинцы, в атаку и взяли в плен немцев, которых тут же расстреляли.

Ты, Вера, спрашиваешь: а ты что ж, тоже напился? Мне батя, провожая на войну, говорил: опасайся рому, он обманчивый, да и вообще любой выпивки. Вы что, дети, думаете, что все напились; нет, командиры все были трезвые и ряд

бойцов тоже. Командиры тоже пьют, но только по уму и когда бойцы трезвые. Мне ребята тоже подносили не раз и не два, но их-то уважать надо, и я прикушивался<sup>36</sup> и помнил наказ бати. Двух своих бойцов мы грузили на повозку, как мертвых, досыта нализались.

Наш полковой комиссар, я вам рассказывал, под станцией Коротыш я с ним встречался, подыскал себе из пленных австрияка, который говорил по-русски и по-немецки, сделал из него собственного переводчика и ведет с собой сзади себя, пленные поступают непрерывно и переводчик нужен непрерывно. Но солдаты наши и заревновали своего комиссара: что это такое, фашист, а ходит за нашим комиссаром, как телохранитель. Комиссар ходит между своими бойцами и объясняет им, что пить трофейную водку нельзя, т. к. враг ее часто отравляет, а также и еду отравляет, приводит факты, а солдаты-то все выпивши. Комиссар поворачивается назад, смотрит, нет переводчика, туда-сюда – нет, тогда комиссар говорит: ребят, а куда же мой переводчик делся, он за мной ходил. Слышит голос товарищ комиссар: вот какой-то фашист валяется; он подошел, глянул и узнал своего переводчика и все понял – его наши ребята не стали стрелять, а вручную удавили и бросили между санями. Комиссар сказал: да, зря я не взял своего телохранителя, он бы

---

<sup>36</sup> Пригубливал.

этого не допустил; и замолк, пошел дальше. Вот до какой степени остервенел наш русский Иван. Да и пора, шло начало 1943 г. А попадись этот фашист моему бойцу Яковенко, у него всю семью угнали немцы в рабство: жену и двух сыновей, а лейтенанту Иванову – за то, что он лейтенант, его семью повесили. Пора мстить.

Я слышал, что ведет наш солдат в штаб полка шесть пленных немцев, а навстречу едет на коне его товарищ, выпивши, с немецкой саблей, и конь немецкий, и говорит своему другу: ты куда их ведешь; он говорит: командир приказал в штаб полка сдать. А дурак же ты, там ребята наши пьют, закусывают, а ты с этой нечистью возишься, ты знаешь, что я, сколько воюю, и ни разу немцу голову не рубил, дай-ка одному отрублю, сабля у меня. Конвоир молчит, он слезает с коня, вынимает саблю из ножен, выстраивает пленных в ряд и ходит кругом их, а немцы все укутаны шалями, одеялами, всяким тряпьем от мороза, поговорил с каждым немцем в отдельности, никто ничего не понимает по-русски, он выбрал самого толстого и решил ему голову отрубить, зашел сзади и как рубанет по этим шалям, т. е. по шее, немец как заорет, и все немцы бежать, тогда конвоир и этот рубака сняли автоматы и расстреляли их на расстоянии. Об массовом расстреле немцев узнал Сталин, издал указ, чтоб пленных сдавать только под расписку. Утихло это мщение немцам немного, а в основном били.

Взяли мы Касторное 28 января 1943 г., я уже говорил вам, немцев было набито полным-полно; зашел мой боец Дришук в подвал по своей нужде, а из подвала выходит с немцем, и немец не под конвоем, а идут как друзья, т. к. немец первый боится идти, боясь, что его мой боец убьет, вот и идут рядышком, подошли, немца обыскали, и наш комвзвода говорит моему другу: Дорохов, отведи его в овраг, расстреляй, а Дорохов, он, как и я молодой, никогда не бил так близко немцев, а ведь они же похожи на людей, растерялся и говорит: да ну его; а тут подходит сибиряк Панов, с матом в упор убивает немца, хотя он и лопотал «матка, киндер». Дорохов видит, что не выполнил приказания командира, выстрелил в лежачего немца. Когда немец упал, то у него из-под полы выпал кинжал. Так вот что значит фашист в плен сдается, а офицер тянет с собой<sup>37</sup>. Недаром мы говорили: на фронте немец не страшен только мертвый. Утром, как только вошли в Касторное, зашли в хату, мне комвзвода разрешил отдохнуть, а до этого спали только на ходу. Я лег на полу и тут же уснул. Смотрю, меня будят, вставай, я думаю, что-то меня быстро подняли, а оказывается, уже вечер. Смотрю, и хата какая-то не такая, вся облупленная, на полу штукатурка, мне рассказали, что весь день немец бомбил Касторное, хата чудом не рухнула, да еще рядом был луг, а на лугу наш танк стоял,

---

<sup>37</sup> Смысл фразы неясен.

немецкие летчики решили разбить танк, весь день его бомбили немцы, а танк, маневрируя по лугу, цел остался и этим самым спас не одну сотню наших солдат, находившихся по домам, их в домах было битком набито. И если б все бомбы, брошенные на танк за весь день, попадали на дома, то дело б было. Мы предполагали, не умышленно ли наш танк отвлек удар бомбардировщиков немецких на себя, спасая нас, бойцов, находившихся в хатах.

Только меня разбудили, как тут же вызвали к командиру, прибегаю, докладываю, а они сидят за столом и выпивают, наливает мне командир Коротков и говорит: на-ка, сержант, дерни стопку после сна; ну как от командира не выпить, выпил, перекусил, а от второй стопки отказался. Тогда комбат говорит: «Вот тут за бугром наши танки раздавили и расстреляли немецкий обоз и машины, там очень много трофеев, так вот поедете каждый на своих санях со старшиной Кулеминым и наберете все, что понадобится для нашей батареи, возьмете и легкого оружия, если попадет». Я нашел старшину Кулемина (это наш, елецкий, погиб от шальной пули) и мы поехали, уже смеркалось. Днем нельзя, немец бомбил.

Прибыли мы со старшиной – уже полутемно. Что же там творилось: подавлены лошади, повозки, разбитые машины и целые стоят. Распряженные лошади ходят по обозу, жуют немецкие эрзац-валенки, т. к. они соломенные, стоят и запряженные лошади, а другая убита или раздавленная

танком; так мы от жалости к лошади распрягали или обрезали, чтоб их спустить, а они ходили, грелись, и хотя чего-либо нашли сожрать. Морозы-то стоят чертские. Наш брат ходит по этому мертвому базару без продавцов и ищет кто что найдет. Вот и мы с Кулеминым достали фонарики и стали искать что нам надо. Кладем на свои санки постельные принадлежности: одеяла, матрацы, знаем, что ребята ночами спят на полу. Не очень много, но нашли легкого оружия. Я привязал одни сани немецкие к своим, привязал две лошади. Смотрю, на машине стоят часы будильник, я подумал, годятся часовых менять, так мы и растерялись со своим старшиной. Я остался один, фонарик потух, а тут еще я иду возле машины и вижу – что-то на снегу вроде лежит, снимаю рукавицу, нагнулся поднять и понял, что это нос убитого фашиста, его уж замело, а нюх торчит; какая-то оторопь взяла, и отпала охота между убитыми людьми да лошадьми ходить, да еще ночью без огня. Стал звать своего старшину, отозвался, и мы поехали, как с ярмарки, в свою часть. Старшина привязал двое саней и двух лошадей. Все, что привезли, все пригодилось. Одеяла, матрацы пошли на постель солдатам, сани немецкие оказались лучше наших, т. к. они были как телеги, т. е. на шкворне, и поворачивалась легко, и, так как мы в Касторном стояли несколько дней, то мы почти все свои сани заменили и коней также каких надо взяли, а плохих населению раздали вместе с санями.

Как только мы со старшиной приехали с трофеями, я подъехал к своему дому, где спали мои солдаты; мы с часовым, что я привез, разгрузили, лошадей привязали и дали им корма, т. к. они, т. е. немецкие лошади, были голодные. Я зашел в хату, наши ребята спали на полу во всю хату, пройти негде было. Хозяйка и две ее дочери ютились на середине<sup>38</sup>, а мне командир приказал ночь дежурить, т. к. я день спал, и менять часовых. Так вот я попросился у хозяйки находиться на середине, вместе с ними сидеть, так как они не спали почему-то. Я занес свой трофейный будильник на средду и осмотрел его. Он оказался наш, советский, с надписью «Москва, по особому заказу». Завел его, пошел, вот он мне и пригодился, стал по нему посты менять. Менял посты я в сенцах или в коридоре. Как-то споткнулся и оперся на что-то подозрительное, мне показалось, на мерзлого человека. Пошел к часовому, взял его фонарик, пришел в коридор, присветил, и действительно, под серым полотном лежал мерзлый человек, вернее, мертвый. Я зашел обратно на средду к хозяевам и спокойно спросил хозяйку, что у них в коридоре за мертвый человек под покрывалом. Хозяйка негромко заголосила: «Дорогой сыночек, это мой муж, а дочерей моих отец. Мы сидели все в погребке, когда вы наступали, а они отступали, и хозяин вышел поглядеть, что творится, я его не

---

<sup>38</sup> Приподнятая над остальным полом часть избы, место для женщин и детей.

пускала, а он говорит, что стрельба почти кончилась, погляжу и вернусь, вышел, слышу выстрел, и он не вернулся, поняла, убили, наверное, вышла, когда услышала, наши говорят, вижу, а он родимый лежит на пороге мертвый».

Чем я мог помочь бедной хозяйке, и дети ее плачут; поугovarивал как мог, напомнил, что война, и вышел к часовым, так как и я заволновался и понял, почему она всю ночь не спала. Утром захожу к ним, хозяйка и дети сидят так же, но не плачут, я присел на край скамейки, тоже молчу, а хозяйка вдруг говорит: слушай, сынок, вот когда от нас уходить вы будете, то оставь нам этот будильник, он же твой, ты его привез, а то нам скучно; я говорю, что будильник я обязательно вам оставлю, а до Берлина еще далеко, и сколько этих будильников у нас на пути будет, а вам он пригодится; а мы, говорит хозяйка, тебя помнить будем. Я говорю им, посмотрите, девочки, будильник – это нам «Москва по особому заказу», фашист его где-то отнял, да своей фрау не донес, потерял, собака, в Касторном. Рассвело, хозяйка вышла куда-то, а потом заходит и подает мне что-то, в бумаге завернуто, говорит, это тебе, сынок, за будильник, я взял, развернул и удивился – в бумаге завернута была бутылка русской водки. Я верчу эту бутылку водки в руках и думаю, как и где она смогла сберечь нашу бутылку, ведь у ней муж был. Потом встал, подаю эту бутылку назад и говорю: хозяйшкa, возьми эту бутылку, она тебе еще при-

годится при похоронах мужа; она не берет, а вся семья опять заплакала. Я поставил бутылку на скамейку и, сказав хозяйке: убери, вышел.

Рассвело, пошел в хату к командирам, где меня вчера угощали водкой, доложил командиру о трофеях, какие привез, и о благополучном дежурстве. Очень наши командиры смеялись, когда я рассказал, как фашиста дохлого за нос, т. е. нюх, схватил. Командир подошел, налил стопку мне, я выпил, а от второй отказался, он сказал: молодец, сержант; я ушел. Утром два или три солдата наших отпросились сходить за трофеями туда, где мы были ночью со старшиной, у них получилось неплохо. Идут наши ребята по разгромленному обозу и машинам и видят, два солдата не наших набивают чем-то из ящичков карманы, подходят ближе и видят – часы новенькие ручные и карманные в ящичках, и давай себе карманы набивать. Чужие солдаты уже ушли, а наши, пока все не забрали, не ушли и вернулись в часть с часами и почти всю батарею оделили и себе много оставили. И еще принесли каких-то порошков, высыпали один порошок в стакан воды, и напиток получился райский, и в нос покалывает, и вкусный, точно своим офицерам присылали фашисты из Германии.

Кто-то из штаба полка, из начальников, узнав о том, что в 120-м какие-то солдаты в разбитом обозе немцев в Касторном нашли много немецких новых часов, прислали посыльного, чтоб эти часы сдали. Солдаты отдали им ряд часов, но офицер со

штаба обратно присылает посыльного, сдать часы, но солдаты говорят, что мы сдали, оставили себе только по одним. Этих солдат за эти часы, что их ребята якобы не сдают, переводят в другую часть, и перестали ходить в нашу 120-миллиметровую батарею; якобы этот офицер-жадоба, штабист, набрал в Касторенской операции два чемодана дорогих трофеев, сделал проездные документы и направил своего ординарца отвезти эти трофеи домой. Но по дороге домой к офицеру ординарца этого задержали и вещи отобрали в пользу государства. Наши солдаты были довольны этим слухом.

Сколько мы пробыли в Касторном после его освобождения, забыл, но как уходили оттуда, помниться будет до издоху. Мы в Касторном свои сани поменяли на немецкие, я вам уже говорил, они были с поворотом, т. е. на шкворне, как телеги, вот, может быть, этим самым мы и ловили немецкие трупы под сани. Как обычно, двигались мы ночью, вот смотришь, лошади не тянут, Яковенко, мой ездовой, говорит: опять, товарищ сержант, попал. Один Яковенко вытаскивал из-под саней мерзлых битых немцев, остальные солдаты моего отделения гребовали, а столько битых немцев, как в Касторном, я больше не видел за всю войну нигде.

Дисциплина на фронте была сверхстрогая, быть может, мы поэтому и победили. Выполнила однажды наша разведка задание командования, притащила языка, нам дали спирту и 10 дней

отдыху, спирт они попили за 2–3 дня, а остальные дни отдыхали, но только при своем подразделении. У одного разведчика дом его был от места стоянки их части 20 км в нашей стороне. Вот он и решил сходить проведать своих, у него же целая неделя в запасе, его задержали, вернули в часть, он ни у кого не спрашивался и никого не предупреждал, ушел самовольно. Ревтрибунал его приговорили к расстрелу. Молодой парень, кадровик, разведчик, а ведь выстроили в ряд подразделение и публично расстреляли; а второй солдат, из пехотинцев, у него в 20 км был свой дом у немцев от его расположения части, этот хотел сдесертировать. Когда их роту вечером повели в кино, в тыл, он отстал и решил перейти к немцам, а там домой уйти. Комотделения видит, у него не хватает бойца, доложил взводному, взводный – ротному. Комроты развернул роту назад, рассыпались по нейтральной полосе, нагнали ползком и вернули своего бойца. Ревтрибунал приговорил его к расстрелу. Этот преступник копал сам себе могилу, это было под Ливнами, станция Коротыш, ряд бойцов были не уверены в победе, а тут еще немец кидал все время листовки, говорил в рупор, приглашал нас к себе и обещал райскую жизнь. Некоторые солдаты шли на провокацию, т. е. соблазнялись, а у кого семья оккупирована немцем, вот и переходили.

Я по своей неопытности чуть не налетел на большую неприятность под Ливнами, станция Коротыш, как только прибыл на фронт. Стоял

я на посту, начинался рассвет, на небе ни облака, слышно было, как далеко и высоко летит самолет, пролетел, и опять смолкло. Через некоторое время там, где пролетел самолет, заметно стало – вроде образовалось легкое маленькое облачко. У нас в части был приказ: кто найдет листовку немецкую, отдавать только комиссару батареи. То облачко, что зародилось в небе после пролета самолета, оказалось немецкими листовками, одна из которых прилетела ко мне на пост, никого из ребят не вижу. Я поднял и, разумеется, прочитал, фашист продолжает звать в гости, я ее сложил и положил в карман, думаю, что сейчас комиссар спит, а вот встанет, я ему отдам. Немного погодя идет наш разводный, несет в руке мокрую немецкую листовку и говорит мне: вот я, сержант, нашел в ручье листовку; а я говорю, что только сейчас поднял свежую листовку; разводящий говорит: давай, Скрылев, мне, я пойду докладывать, как прошло мое дежурство, и их отдам. Я подумал, все одно комиссару, и отдал ему. Ребята уже начали выходить из землянки к ручью умываться, а разводящий подходит к умывающимся и говорит: вот, ребята, я листовку поднял в воде, а Скрылев свежую поднял только сейчас, несу сдавать комиссару; а один солдат спрашивает: что он там хоть брешет? Разводящий взял да и обе листовки прочел и пошел отдал комиссару. Этому разводящему ревтрибунал пришили активную агитацию, групповую, дали 10 лет с отправкой в Сибирь. А мне

через год парторг сказал, когда уж я сам был коммунистом, что, цenia мою молодость, и [потому] только, что [недавно] прибыл на фронт, решили на меня в ревтрибунал не подавать. Я и подумал: вот так-то приказ не выполнять, приказано комиссару отдавать, так и отдавай, а то влип бы, а за что? Это мне наука.

Так, так, дорогие детки, вот видите, я передохнул и подхожу к вам, чтоб продолжить мой рассказ об моих фронтовых приключениях с улыбкой, а почему, да потому, что я рассказываю вам о том времени, когда поганого немца били со всех сторон и с большой радостью, т. к. немца, главное, лупили, а вернее, добивали под Сталинградом. Надо же, 330 тысяч наши славные войска под командованием Великого Сталина, под городом его же имени, Сталинградом, куда его, т. е. немца, заманули, а вернее, Гитлер туда сам лез, окружили, зажали в русско-советские клещи, смертельные клещи, на берегу великой матушки Волги, посадили на сковороду и жарили, и весь наш советский фронт подбрасывал туда огоньку, т. к. то там, то тут наши войска прорывали оборону немцев, освобождали землю и этим самым помогали дожаривать фашиста под Сталинградом, и к великой нашей радости, радости всего нашего народа, да и всего мира, дожарили 330 тысяч вместе с их командующим Паулюсом, вырвали у Гитлера большой кусок его войск. И вот я сейчас улыбаюсь, вспоминая те прошлые дни войны. Что сделаешь, наших солдат,

тоже вечная память, там много осталось, но ведь для этого война и, главное, мы ее не начинали. Начал, получай. Как сказал Александр Невский в 1242 г.: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». На этом стояла, стоит и будет стоять земля Русская.

После освобождения Касторного, где фашисты также попали в котел, и окончательного разгрома великого сталинградского котла, о котором прокатилась слава по всему земному шару, наш брат еще смелее и увереннее стал драться с врагом и приготавливал: это вам, чертовы фашисты, не 41 и не 42, а 43 начался. С таким поднятым духом и настроением мы били немца и продвигались вперед на запад, освобождая свою землю и народ, который так радостно нас встречал, истосковавшись под немецким кованым сапогом фашистского ига. Эти кованые сапоги нашим врагам дорого достались, их наш славный и по-своему грозный батюшка мороз так хорошо подковал, что фашист вынужден [был] плести эрзац-валенки из соломы, грабить наших бедных мирных жителей и укутывать свои поганые лапы, морды, чтоб не замерзнуть. Но Дедушка Мороз словно выполнял приказ Сталина жечь и жечь их своим огнем по-своему. Спасибо ему.

Мы продвигались вперед, как я уж говорил, в хорошем настроении, огорчались, когда хоронили товарища или товарищей, двигались далеко, уходя от своих тылов вперед, т. е. от боеприпасов, питания, вернее, старались висеть на хвосте

отступающего врага, не давая ему передышки. Иной раз оставались без боеприпасов и еды. Но возвращаться к своим тылам – это значит оставить отвоеванную землю врагу, а потом ее опять брать, людей терять как-то не хотелось. Перебивались как могли, но освобожденная нами наша земля оставалась нашей. Вот так и образовалась в зиму 1943 г. Орловско-Курская дуга. Моя родная 307-я с/д и три ее полка 1019 с/п, это мой полк, 1021 и 1023 с/полки с другими родами войск уперлись в станцию Поныри. Фашист оскалил зубы, значит, немного опомнился, одумался от наших ударов, т. к. тылы отстали, удары наши ослабли, мы тоже утомились, но волю духа не потеряли, вперед мы бы пошли, но они, наши славные командиры, знали, что делать. Немец перешел к обороне. За станцию Поныри подрались, подрались, из рук в руки она попереходила несколько раз, да так и застыли на этом месте в активной обороне до более «веселого» времени. Весна уже шла. Как положено, окопались и начали продолжать усваивать свое боевое мастерство, изучать матчасть своего оружия, а также и некоторого немецкого оружия, если вдруг попадет к тебе в руки, мог [бы] с ним обращаться уметь; в общем, не болтались и не спали.

Не дремал и фашист, этот его двухфюзеляжный самолет по прозвищу «рама»<sup>39</sup>, а он и похож

---

<sup>39</sup> Немецкий разведывательный самолет «Фокке-Вульф» Fw 189.

на раму, почти непрерывно висел над нашими боевыми порядками, значит, наблюдая, чем наши войска занимаются, но враг есть враг. А эта чертова «рама», говорят, была итальянская, бронированная, висела над нами на большой высоте, сильно вооруженная, наши зенитки по ней били, но чтоб сбили – я не видел ни разу. Фашист каждую ночь орал в свой рупор и, наверное, по расписанию, в одно и то же время, звал нас к себе, чтоб переходили, обещал райскую жизнь. Кидал нам с самолета листовки и даже групповые пропуска, только переходили бы. Ведь надо же, мы идем вперед, освобождаем свою землю, радуемся, а он, проклятый Ганс или Фриц, на нашей земле и просит нас, чтоб мы к нему сдаваться шли, дурак.

Как только снег сошел, нашу 307 стрелковую дивизию перевели во второй эшелон, чтоб подремонтировать и вроде отдохнуть, т. к. мы с января 43 г. были без перерыва в первом эшелоне, т. е. в боях.

Вот и начался наш отдых, применили подъем, отбой, распорядок дня, вернее, как в кадровой армии. Я-то в кадровой армии не был, а выпала доля в неполные 17 лет с оружием в руках под Ливнами принять боевое крещение, т. е. был на фронте, воевал. Некоторое время нас поучили, помуштровали, а потом нас в ночь стали водить в поле копать окопы, по десять метров на человека, выкопать в полный профиль, т. е. по всем

правилам, и к утру замаскировать. Бойцы в нашем подразделении были разных возрастов, мне, например, было 18 лет, а у меня в отделении двум бойцам было по 48 лет, так мы друг другу помогали, чтоб вовремя управиться и сдать работу. Офицерам окопы копать было не положено, а только солдатам и сержантам. Но часто и офицеры некоторые, помогая солдатам, брали в руки лопаты и работали, да еще как, он же в своем взводе всех солдат знает, и знает, кому помочь. Вот так мы рыли и рыли каждую ночь. И рыли столько, сколько командованию надо было. Мы знали, что делали, и никто не роптал, никто не обижался и не жаловался. Хотя все руки были в мозолях и горб мокрый.

Вот видите, дети, у меня еще сохранились мозоли и их следы на правой руке, это память о войне. Как только мы приходили с окопов рано утром, а немного погода как рассветет, прилетала эта проклятая «рама», словно принимать от нас работу, и висела высоко в небе. Сколько солдатскими руками было земли перерыто под Поньрями – ни один ученый не высчитает, один только Бог знает.

Вот, дорогие дети, стоим мы под станцией Поньри, два лба, фашистский и мы, и занимаемся вроде бы детской игрой, то мы по нем огневой налет сделаем, то он по нас, а всерьез лбами не стучаемся, а уж пора бы, лето пошло. Немец в 1941–42 гг. всегда наступал и имел успех, т. к.

тепло, а вот 1943 г., что-то немец не лезет, зале-  
нился что ли? Нам, солдатам, стало ясно, что  
фашист что-то выжидает, выгадывает. Мы-то дома,  
и то сидеть надоело, хотя мы не сидели сложа руки,  
учились, но думки у каждого были о предстоящем  
страшном бое, т. к. знали мы: и фашист готовился  
к большому сражению.

К нам уже на пополнение подошли сталин-  
градцы, мы так были рады и горды их появлению  
в наших рядах, расспрашивали их об Сталинград-  
ском окружении и его уничтожении. До нас дошло  
по солдатскому радио, что на совещании наших  
главнокомандующих генерал Рокоссовский сказал:  
«Если мы первые ударим, потеряем Орел, а враг  
первый ударит – потеряет Курск. Надо дожидаться  
удара врага, вымануть его из его окопов на чистое  
поле, расстрелять, а потом перейти в наступле-  
ние». Это так мы слышали и на нашем солдатском  
обсуждении этого слуха оправдывали Рокоссов-  
ского, т. е. поддерживали.

Мы ждали боя, а вокруг нас какие же хлеба  
поднялись: рожь, пшеница уж налились, глаз не  
оторвать, пусть я пацан был, а сибирские бойцы  
как восхищались ими и тут же тужили, зная о том,  
что этот хлебушек ожидает.

Распорядок дня, как его применили, когда  
нас отвели во второй эшелон, куда-то сам по себе  
испарился, по привычке повторяли изучение  
материальной части своего оружия да драили его,  
кажется, несколько раз в день, ведь вся надежда

на него да на нас в ожидаемых боях. Иной раз кто-то скажет: сержант, давай-ка «Кулика» громыхнем, а то что-то скучно, зауныли. При упоминании о песне как-то ребята заулыбаются, зашевелиятся, пойдут шутки-прибаутки, шутейное подшучивание друг над другом, сбегается наша батарея покучней и орут на меня: начинай, сержант, «Кулика»; кто кричит – «С неба полуденного», кто – «Все пушки, пушки грохотали» – это песня моего отца родного, принесенная с войны 1914 г., я у него ее научился с детства, он все ее ходил, дома работал, и мурлыкал под нос, а когда выпьет и вслух пропоеет, вот я ее и выучил и тоже на войну донес, ее ребята любили.

Вот как вышло, дорогие внучки дедушкины.

Дедушка по годам не воевал, а песня его воевала. А вот как закатым несколько песен подряд да еще детский смех устроим, к нам посторонние подразделения, соседи, приходили слушать. А песни я знал подходяще, как я вам говорил, у меня было два бойца в отделении по 48 лет, один из них, Шеховцов, воевал в 14 г., он меня несколькими песнями и научил; после песен ребята становились совсем другими, пойдут шутки, прибаутки. А эта чертова «рама» немецкая или итальянская, нам все одно, тут как тут на тихом ходу ходит над нами, вроде мы приглашали песни слушать. Но а предстоящий бой-то с ума не уходил. Никакая песня его не берет, но все же люди-то веселеют, голова от думок отдохнула.

Как-то нас, младший комсостав, вызвали на совещание в штаб полка, где по секрету предупредили быть начеку в любое время дня и ночи, фашист может перейти в наступление, но солдатам пока ничего не говорить. Возвращаюсь в свой расчет, а солдат Яковенко говорит: товарищ командир, иди каши поешь. А наши бойцы уже несколько дней как шелушат пшеницу, рушают ее на самодельных из консервных банок рушках, получается пшеничная мука. Варят кашу и с удовольствием ее поедают, чтоб курсак<sup>40</sup> жрать не просил. Подошел я к солдатам, сел кашу есть, а Яковенко помолчал и говорит: товарищ командир, скажи, когда немец ударит. Отвечаю: а откуда я знаю. Он говорит: а зачем же вас вызывали; говорю: чтоб оружие свое лучше изучили, в бою его изучать некогда будет, и перевел разговор на «языка». Слух, правда, шел, что наши разведчики никак не могли взять «языка». Слышали, что один немецкий офицер на машине перескочил через нейтральную полосу и приехал к нам, сказал, что вот-вот они, т. е. фашисты, ударят. Опять фашист сказал, а не точно. Но вскорости, как мы узнали уж после Курской битвы, что 15 Сивашская дивизия в ночь под 5 июля взяла «языка». «Язык» сказал нашему командованию, что они делали проколы в проволочном ограждении и в 4 утра немцы по нам ударят, т. е. пойдут в наступление. Наше

---

<sup>40</sup> Желудок, живот.

командование решило немцев предупредить, из дальнобойных орудий открыли огонь по скоплению фашистских войск в 2 часа ночи. Как мы после узнали, немцы растерялись – не пошли ли русские в наступление? Мы, как я уже вам говорил, были во втором эшелоне, но были к бою готовы.

Как только начался огневой налет наших дальнобойных орудий, мы уже были на ногах. Ближняя артиллерия молчала, чтоб не обнаружить себя. Фашист в назначенное время не пошел в наступление, т. к. наши дальнобойные его два часа молотили, чуть отдохнули да еще прибавили. Немец, одумавшись, всей своей мощью обрушился на нас. Все вокруг загрохотало, загорелось, затряслось, застонала земля русская. Только начавшее всходить ясное солнышко, предвещающая погожий день, заволокло дымом и гарью. Все наше подразделение от командира до бойца трясло как в лихорадке 10–15 минут, вернее, мы время не засекали, но с лица все изменились, боевого духа не теряли, все были на ногах и даже подшучивали друг над другом; постепенно наша «лихорадка» прошла. Вокруг нашей огневой позиции и насколько видел глаз все было усыпано листовками, в которых немцы уговаривали переходить к ним, обещая нам все блага, хоть женись, хоть воюй против своих в Русской освободительной армии, а хоть бери земли сколько хочешь и работай, но фашист нас предупреждал, что брать в плен будет только сегодня, т. е. 05.07.43 г., а завтра брать уже не будет.

Листовки у нас собирали доверенные люди. Но в этот день их никто не собирал, да их и не соберешь. Бой разгорался и постепенно приближался к нашему второму эшелону.

Стали организованно появляться наши самолеты, закипел бой в воздухе. Наши славные «катюши», обычно ходившие в чехлах, гоняли вдоль фронта группами совершенно голые, без чехлов. Остановятся, споют шипящим страшным голосом песню немцам и уезжают на другую позицию.

Враг подвинулся к нашему второму эшелону на расстояние нашего минометного выстрела, и мы заняли свои боевые места на огневой позиции возле миномета, который бил на 6 км, мина весила 16 кг, поражала врага на 120 м в радиусе стоящего, лежащего – на 60 м.

Смотрю на своих бойцов, а одного из них, Сашу Пряслва, его еще «малярия» трясет, а он был наводчиком, как же его ставить к миномету, он же по своим стукнет, отправляю его в землянку, сам становлюсь к миномету, а ведь когда-то меня подшучивал, как, мол, в бою будешь, это когда я первенство взял в наводке, а сам боя не выдержал. Подошел вечер, наступила ночь, ну, думаем, дышнем, не тут-то было, прилетели самолеты немецкие, навешали осветительных ракет на парашютах и стало видно как днем; мы ползком маскировали свои огневые позиции, дрались и в воздухе, и на земле, но, дело ясное, с жестокой силой, как днем.

Как майские жуки, налетали наши самолеты кукурузники, опускались до бреющего полета, бомбили, выключали мотор, говорили фашистам на ихнем языке и опять бомбили, даже открывали кабины самолетов и бросали вручную в немцев гранаты, скорость-то небольшая у кукурузника. Немецкие пулеметчики насквозь прошивали траксирующими пулями наших кукурузников, на моих глазах ни один самолет не сбили. Какое же наше было удивление, когда мы узнали, что летчики-то были наши девушки. Кукурузник был обтянут брезентом, вот некоторые самолеты сбивали, т. е. изрывало пулями в клочья, он дотянет до своего аэродрома, его днем обтянут, а ночью опять в бой. На второй день боев наш второй эшелон целиком был втянут в огонь Поньоровской битвы на правом фланге Курской дуги под командованием Рокоссовского.

С утра бой разгорелся с новой силой и в воздухе, и на земле. Вдруг прибегают к нам на огневую позицию два солдата с приказом: назад ни шагу. Враг пройдет только через наши трупы, мы все поняли, без агитации и выступлений. Наступал невиданный Поньоровский бой.

Несколько месяцев готовились как враг, так и мы, вот и стукнулись, а кто кого возьмет? Но мы знали, мы чувствовали, мы должны были победить, так как дрались первый раз летом, и в 1941–42 гг. враг теснил нас летом, а в 1943 г., как один наш старший лейтенант, когда ему

командир приказал отойти, он крикнул: до каких же пор мы будем отступать; но все же отошел. Приказ командира, приказ Родины. Невольно вспоминаются слова нашего великого поэта Лермонтова «наш Бородинский бой». А это кипел, гремел во всей красе и ужасе наш Поньировский бой, в котором стояли насмерть, и умирали, и побеждали прапраправнуки тех богатырей Бородинского сражения. А дрались-то мы за одно, за матушку Русь, за Родину.

За наши боевые действия на Курской дуге под Поньрями военный совет нашей 13 армии и прислал благодарность нам. Это нас ободрило, мы поняли, что за нашими действиями наблюдает наше высшее командование и оценивает. Это нам подняло дух на новые подвиги. А подвиги кругом. Как-то толкает меня мой боец и орет: командир, глянь кверху, – смотрю, а там самолетов полно, то там, тот тут падают, оставляя за собой огонь и дым. Взрываются, разламываются. Чуть в сторону от нас от прямого попадания нашего снаряда разламывается тяжелый немецкий бомбардировщик, а летчик все же выпрыгнул, спускается. Наши два четырехствольные противоздушные пулемета бьют непрерывно по спускавшемуся летчику, изрешетив его в воздухе. Второй фашистский летчик, с другого самолета спускавшийся, все видел. Наши ребята решили его взять живым в плен. Немец приземлился и видит, что к нему бегут русские, застрелился.

Вес этого страшного и славного боя стал вдруг перетягивать в сторону врага. У нас кончились мины, и наши 120-миллиметровые минометы замолчали. Приготовив гранаты и винтовки, у нас появилась возможность глянуть по сторонам. Видим, кое-где наша пехота отступает, за пехотой потянулись станковые пулеметы. Самое страшное на войне – это паника. Мы оставили на каждый миномет по одной мине, чтоб в случае чего, если отступать, этими минами взорвать минометы. С командиром батареи связь потерялась. Прибежал мой ездовой и доложил мне, что коней побилло и повозку нашу разбило. Добыли повозку связи и все же отошли немного, но не успели оглянуться как прибежал посыльный и принес приказ вернуться на свои огневые позиции, т. к. мы отошли без приказа командира. Это все творилось в пыли Поньоровской битвы. Снарядов нет, бить нечем, что оставляли по мине на взрыв своих минометов, мы их выстрелили, остались винтовки и гранаты. В это самое время чуть выше нас через балку перемахнула наша с красными звездами танковая колонна и, не останавливаясь, на полном ходу врезалась в самую гущу боя. Не опишешь нашу радость, это же наша помощь, наша поддержка в самую решительную минуту боя, это наше спасение. Еще больше поднялось копоты, дыма, разрывов бомб, снарядов и свежих горящих танков. Главное, отступление прекратилось. Бойцы воспряли духом. Это же на войне великое счастье – помощь,

оказанная вовремя. Из светлых ясных дней июля 1943 года получились сумерки. В этой танковой колонне был наш земляк ныне здравствующий долгоруковец<sup>41</sup> Королев Николай Григорьевич.

Это когда мы в 1989 г. в мае месяце ездили по местам Курской битвы на экскурсию, я в Понырях рассказывал своим товарищам об этом бое, свои воспоминания, и о танковой колонне. Николай Григорьевич сказал нам, что он был в той танковой колонне, прибывшей к нам на помощь. Я при всех товарищах через 45 лет от всей души пожал руку человеку из той танковой колонны, спасительницы нашей в том страшном, но справедливом бою. Спасибо, Николай.

Во время Курской битвы под Понырями хлеб, наш кормилец, почти созрел, как я вам уже рассказывал, мы его шелушили, ели, дробили на рушках из консервных банок и варили кашу, но это было, когда мы ждали боя. А сейчас нашу святыню, хлеб, мяли гусеницами, жгли огнем, рвали снарядами, минами, бомбами, топтали трижды проклятые немецкие сапоги.

Но мы, родные сыны этой нашей священной земли, стонавшей сейчас под ударами Поньровского боя, грудью закрыли эту землю. Рекой кровь лилась наша русская, тысячами отдавали жизнь наши солдаты за родную землю и тысячами этих

---

<sup>41</sup> Земляк Н. И. Скрылева, уроженец Долгоруковского района Липецкой области. Село Верхний Ломовец, откуда родом Скрылев, относилось к этому району.

проклятых фашистов загоняли в нашу землю на ее удобрение.

Рожь, пшеница гибла, но нам помогала. Смотришь, бывало, американская машина «Виллис», что ли, по ржи тянет 2 пушки и 2 расчета со снарядами, и никто изо ржи не виден, и прямо под носом у немцев. Недалеко от нас сражалась наша полковая 76-миллиметровая батарея под командованием капитана Малинина, по национальности цыган. Когда в наших войсках получилось замешательство и начали отступать, капитан Малинин выскочил навстречу нашим отступавшим пехотинцам с пистолетом в руках и заорал: куда! – так твою перетак. Один из отступавших бойцов сказал: товарищ капитан, вот недалеко стоит наш брошенный станковый пулемет во ржи. Малинин со своим ординарцем Васькой Бобровым тут же ушли за пулеметом. Пулемет притащили быстро, но бойцов у орудия уже не было, они бежали, подумав, что их капитан тоже бежит. Малинин тут же послал своего ординарца вдогонку за расчетами, а сам остался у орудий с пулеметом, который уже опробовал, – исправный, и лента есть. Ординарец вскоре нагнал и вернул только два расчета. Малинин вновь послал бойцов за остальными расчетами.

Как я рассказывал, перед боем немец много накидал листовок, в них также сообщалось, что немцы выпустили в бой непобедимую немецкую технику, танки «Тигры» и самоходные орудия «Пан-

теры». По словам немецких листовок, эта новая техника фашистов неуязвима для наших орудий. Батарея капитана Малинина в конце балки стояла, замаскированная во ржи. Как только вернулись два расчета, Малинин предположил движение немецких танков, только балкой. Оставил одно орудие на месте замаскированным, а второе орудие выкатил на открытую огневую позицию и приказал при появлении танков вести по ним непрерывный огонь, чтоб это стрелявшее орудие заметил танк. Чтоб танку расстрелять обнаруженное стрелявшее орудие, ему надо развернуться и тем самым подставить свой борт замаскированному орудию нашему, а этого только и ждала замаскированная пушка, т. к. в лоб нового немецкого «Тигра» было не взять. Вскорости и гости пожаловали, появились, как и предполагал капитан Малинин, танки врага. Наша открытая пушка, как только увидела танк, а это был, к счастью, «Тигр», открыла по нем беглый огонь. «Тигр» быстро заметил нашу пушку, решив ее расстрелять, развернулся к пушке передом и тем самым подставил бок нашему замаскированному орудию, т. е. ефрейтору Зуеву, который давно уже, выполняя приказ Малинина, держал «Тигр» на прицеле. Зуев тут же всадил в «Тигра» наш советский снаряд. Танк вспыхнул.

Началось уничтожение новой фашистской техники под командованием капитана Малинина. Открылся «поединок воли и огня», так напечатано в книге «В огне Курской битвы», статья за капи-

тана Малинина, за наши действия под Понырями. Как только загорелся «Тигр», тут же пошла из уст в уста, письменно на листочках, из рук в руки, из подразделения в подразделение передавалась радостная весть: «Тигры» горят, хваленая техника Гитлера преклонилась перед нашим оружием. Наши солдаты уже не стали так опасаться «Тигров» и «Пантер».

К капитану Малинину прибыли остальные два расчета, он продолжал бой с танками и следовавшей за ними пехотой, расстреливая ее картечью с пушек и станкового пулемета кинжальным огнем в упор. За 4 дня боев 76-миллиметровая батарея капитана Малинина уничтожила 34 танка, из них 12 «Тигров», а живой силы, которую положил в наших хлебах капитан Малинин, никто не считал, да и зачем, нам битый фашист не страшен, и годен он только на удобрения земли русской. На какие фашист только уловки не шел, чтоб нас одолеть в Поныровской битве – листовками, как я уже говорил, в которых все-все сулил, только сдавайся, через рупор звал и звал, только, правда, рай ни разу не обещал. А то, сволочь, нажрется пьяный и всей стаей разденутся, останутся в штанах да белой рубашке с засученными рукавами, без головного убора, орут черт знает что, упрут прикладом автомата в свой живот, строчат куда попало, прут всей оравой, забыв о том, что это им не 41–42 годы, а 43. Подпускает их наш брат вплотную и из всех видов оружия, кинжальным огнем без промаха с «молит-

вой» в бога и полубога косят фашистов наповал. А если фашисты наступают за своими танками, то был приказ, танки пропускать, кто их боится, к себе в тыл, там их ждет наша артиллерия, отрезай огнем и уничтожай живую силу.

Дорогие дети, я вам не досказал за нашу танковую колонну, что к нам вовремя пришла на помощь, когда мы немного отступили. Я сам узнал о подробностях через 40 лет, когда прибыл в Курск в 1983 г. на 40-летие Курской битвы и встречу ветеранов 307 стрелковой дивизии 13 армии. Мы с Курска выехали на место боев, станция Поньри. Там я и узнал впервые. В самый накал битвы под Поньрями немец решил использовать свой старинный излюбленный маневр, прорвать оборону врага «свиньей», т. е. клином. На участке, который обороняла наша 307 стрелковая дивизия, в расположении, где сражался наш 1019 стрелковый полк, фашист бросил в одном направлении в бой сразу 300 танков, эту самую «свинью». Если бы он прорвал нашу оборону, такое количество танков начало бы громить наши тылы. Недалеко стоял батальон саперов, резерв главного командования с управляемыми минами и автоматами. Вот ему-то и дан был приказ задержать немецкие танки – не 3, не 10 и не 30, а 300 танков. Саперы бросились в бой и смешались с танками врага. Саперы резерва главного Верховного командования, выполняя приказ, шли на все, вплоть до самопожертвования, брали мины и кидались под



Ветераны 307 стрелковой дивизии на воинском кладбище в Понырях; Николай Иосифович на переднем плане. 1985

танки, но приказ выполнили, не дали немцам вернуться и проутюжить наши тылы.

Вовремя подоспела наша танковая колонна, которая завершила бой саперов с танками и ликвидировала прорыв на нашем направлении фронта. Вот почему мы и отступали. Нам об этом ничего не сказали во время боя, так как могла подняться паника, а паника в бою – это смерть и проигрыш боя. Вот, как я вам уж говорил, узнал об этой «свинье» немецкой через 40 лет.

За отличное выполнение приказа воинам-саперам резерва Верховного главнокомандования воздвигнут величественный памятник на станции Поньри, на земле, которую оборонял наш 1019 стрелковый полк и другие части. На памятнике выгравированы три фигуры воинов-связистов с минами и автоматами и подпись стиха поэта Долматовского:

Здесь не было ни гор, ни скал,  
Здесь не было ручьев и рек,  
Здесь русский человек стоял,  
Советский человек.

Едут на эти священные места Поньровского поля боя Курской битвы со всех уголков нашей великой Родины, чтоб отдать дань памяти нашим дорогим товарищам со всех уголков нашей Отчизны, сражавшимся с фашистами и не вернувшимся с кровавых боев Поньровского поля. Вечная им память.

Это я вам рассказал, что узнал через 40 лет после войны, и ужасаюсь, что могли бы натворить 300 танков. Но в то время бой кипел, «рама» все время летала над нашим полем сражения и с такой высоты корректировала огнем, т. к. мы, минометчики, бьем большинство с оврагов, так эта «рама» все же сумела нашу батарею засечь и навела на нас свой фашистский шестиствольный миномет, и не раз нас обстреляли, но удачно, ущерба нам причинили мало; то, что фашист нас потеснил, мы уже свои прежние позиции заняли, а наранее нашу 307 с/д подменили. За 45 дней нашу дивизию потрепали и отвели во второй эшелон, чтоб подремонтировать, но мы, т. е. наша дивизия, была не разбита, а подлатать все же надо. 11 или 12 июля пошли мы в наступление. На Курской дуге немцу хребет переломили. Оборонялся сильно, еще был силен, нашего брата много погибло, но фашист больше уже не воскрес; были и у врага кое-где успехи, но не те, а временные, и мы с боями освобождали нашу землю и народ.

Не узнать было Поныровского поля после отгремевшего боя. Почти созревший хлеб, который так радовал наш глаз, был перепахан снарядами, бомбами, затаптан гусеницами, сапогами, и якобы появились невиданные до боя домики, разбросанные по полю кучками и как попало – это немецкие и наши сожженные и изуродованные танки и самоходные орудия, теперь уже никому не страшные. В одном месте я видел

зайца, пополам разрубленного, и ему деться было некуда.

Среди огромного количества разбросанного немецкого оружия легкого мне приглянулась немецкая десятизарядка, я ее поднял, осмотрел; это винтовка снайперская, но без прицела, заряженная. Опробовал ее, сделал несколько выстрелов в воздух, а потом по цели; бьет неплохо. Разобрал, ознакомился с матчастью, затвор был устроен хитро, сразу разборке не поддавался, но потом изучил, почистил ее, чистке поддается ловко, и, думаю, а дай-ка я буду немцев бить из немецкой винтовки, т. е. его салом и ему по мусалам<sup>42</sup>. Патронов немецких бронебойных, трассирующих, зажигательных, простых полным-полно, да плюс к этому мы идем вперед. Нам теперь открыт зеленый свет, хотя кровавый, но зеленый, после Курской битвы и патронов у меня хватит. А в нашем славном мученом тылу девушка и мальчишка, изготавлившие нам патроны, пусть немного отдохнут.

Через несколько дней, окончательно изучив немецкую винтовку, пристрелялся к ней, зашел к своему командиру, сказал ему о своем намерении бить немца из его же оружия. Командир осмотрел винтовку, спросил меня, изучил ли я ее в обращении и сказал: товарищ сержант, мы прибыли сюда, чтоб разбить немца, бей его чем попало, только

---

<sup>42</sup> Щекам, скулам.

на смерть, а сам чтобы жив был. Через некоторое время мне немецкую винтовку поставили на учет в красноармейскую книжку, а эта книжка и сейчас у меня целая, в которой записана немецкая винтовка и ее номер.

Всех стычек с фашистом не расскажешь, они на войне бывают в день несколько раз, а то ни разу. Освободили мы г. Ветку на реке Сож, выкопали огневые позиции для минометов, для себя укрытия с накатом, сзади дома вдоль улицы. Все мирное население было угнано фашистами с собой при отступлении. А в нашем доме, за которым мы окопались, жила одна женщина лет 30–35 с сыном 12–14 лет. Наше дело солдатское с выполнением приказа. А командиров-то заинтересовало, почему всех мирных жителей с собой забрал, а эту тут оставил с сыном. Спросили об этом женщину, она ответила, что этого дома она не хозяйка, а настоящий хозяин угнан немцами и ее попросил остаться по охранять дом, чтоб его не разорили русские, обещая ей отдать после полдома. Но наши ей не поверили. По пословице нашей – доверяй, но проверяй. С хозяйки не спускали глаз весь день наши офицеры, т. к. она женщина, а они мужчины, вот они к ней вроде и липнут. Однажды к ней рано утром зашел лейтенант Иванов, она уже встала, и сын встал. Было погожее солнечное утро. Иванов поздоровался, сел на табуретку, а хозяйка ходит по хате, работает, и о том и о сем разговаривают.

Лейтенант вроде немного задремал и слышит она говорит сыну: сынок, сходи посмотри погоду. Иванов думает: на улице отличная погода, а она, т. е. хозяйка, заставляет сына глянуть погоду. Заподозрил эти слова, проснулся вроде, с хозяйкой поговорил еще немного и ушел в свой взвод. А потом сообщил эти слова за погоду в особый отдел, т. е. куда надо.

Мы уже стояли на этом месте недели две, немец стрелял по г. Ветка, но по нас не попадал. Самолеты немецкие летали, но нас ни разу не бомбили, мы были как у бога за пазухой. Вскорости хозяйку с сыном забрали и больше домой не отпустили. Через 3–4 дня, как забрали хозяйку, фашист по нашей улице такой артиллерийский налет сделал бешеный, да еще снаряды были его наполненные каким-то дымом, который после взрыва полз по земле, заполняя все отверстия, в том числе и наши укрытия, чуть нас не уморил этим дымом или газом каким-то, правда, никто не отравился. Мы такого дыма на Курской дуге даже не встречали, не нюхали. Стали нас и самолеты проводить, т. е. бомбить. Мы поняли, что это все через хозяйку. Раз от нее не стало поступать немцам условного знака, значит, ее русские обнаружили и ликвидировали. Она писала нашим офицерам письмо, наш адрес она знала, что действительно ее немцы умышленно оставили в этом доме, чтоб она немцам передавала то, что они ей приказали, забрав у ней ее мать в залог. Будет передавать нем-

цам то, что они ей приказали, мать сохранят, не будет – уничтожат.

Второго передатчика для немцев сняли с чердака нежилого дома; этот пожилой человек передавал как-то отблеском стекло; также отправили в особый отдел. В г. Ветка я налетел на неприятность; на войне я научился ездить на велогоне разбитом, а мой комвзвода где-то достал почти новый велосипед; я у него раз попросил прокатиться и сломал, а чинить не умею, второй раз просить стыдно, а прокатиться охота. Так вот я приспособился, как немец бьет по нас, так все прячутся в окопы, а я в это время на велогоне катаюсь, и так несколько раз. Часовой увидел и доложил командиру батареи. Он созвал командиров взводов, парторгов, ряд коммунистов и меня. Таковую мне взбучку устроил, что до сих пор помню и до сих пор себя ругаю. Комбат орет: «Ведь надо же, два года воюет, сам командир расчета, выстоял в боях на Курской дуге, награжден медалью «За отвагу», это уже зрелый обстрелянный боец, и сам фашисту голову подставляет, таких бойцов убивать врагу одна удача, т. е. на руку. Ну а если бы тебя ранило, ты бы валялся по госпиталям, место занимал, за тобой бы ходили, лечили, а за что? За то, что Скрылеву на велогоне прокатиться захотелось. Эх ты, ребенком все себя считаешь». Выступили и остальные мои товарищи и все ругали. Не выступал только мой комвзвода. Наказали меня на удивление мое легко. Предупредили и поставили на вид.

По-моему, командиры учли мои боевые действия, за чужую спину я не прятался, был запевала, песни запевал и в дождь, и в снег, холодный и голодный пел и грустные, и веселые песни про солдат и про девок. Про девок очень любили солдаты петь, да и командиры тоже. В общем, всегда держал батарею в веселом настроении. Командиры наши очень уважали меня за это, а чужие командиры завидовали нашему подразделению, т. к. у нас всегда смех, песни, а на войне веселое настроение солдата дорого ценилось. По-моему, это меня и спасло от сурового наказания.

Как-то после моей прочески за мой поступок подошел ко мне мой командир взвода, долго внимательно посмотрел на меня пристальным, но не сердитым взглядом и ничего не сказал, ушел. А через 2–3 дня не стало велосипеда. Куда он делся, до сих пор не знаю.

Белым днем с г. Ветка началось форсирование реки Сож; на другом берегу реки Сож наши прицепились, т. е. заняли небольшой плацдарм, и началась массовая переправа, пошли в ход лодки, бочки, доски и бревна, были налажены несколько переходных мостов, по которым мы дважды перебегали на ту сторону реки Сож, а на той стороне в нескольких километрах находился город, кажется, Гомель. Фашист несколько раз перебивал переходные мостики, мы оказывались в воде. Живые барахтались в воде, стараясь выкарабкаться на берег, а мертвые солдаты спокойно

плыли, покачиваясь на волнах, некоторые в полном вооружении и одетые. Ужас. Но некогда было ужасаться, старались выполнить приказ командира. А когда выполняешь приказ, то в голове одно стремление – выполнить приказ, за смерть не думаешь, да и если убьет, легче, не ждешь.

Однажды, как только смеркалось, мы по тревоге были подняты, погрузились и оставили г. Ветку. Сколько времени шли, не помню, но вдруг стали чувствовать резкое похолодание, и чем дальше шли, тем все свежее и свежее становилось, т. е. холоднее. Оказалось, что мы продвигались ночью к реке Днепр, понтонный мост уже был налажен через реку Днепр, и [мы] начали организованное форсирование в полной по возможности тишине и маскировке от огня, не курили. Мы шли на переправу в очереди за 76-миллиметровой батареей капитала Малинина. Я, дети, вам рассказывал про него в бою за Поньри.

Ночь, темь, мой расчет вступил первый на понтонный мост. Коней пароконной повозки нашего расчета вели я и мой ездовой Губин, сибиряк, и кто его знает – мы вели коней или кони нас, т. к. мы шли по колено в воде, ногами чувствовали мост, а кругом вода, и видели впереди движущуюся пушку. Мост под тяжестью переправляемых войск ушел под воду, мы вели лошадей и держались за уздечки. Кони жали друг друга, каждая старалась быть ближе к середине моста. Лошади-то лошади, а чувствовали, что рядом пропасть воды.

На середине Днепра вдруг раздался впереди шум, плеск воды, глухие удары, и все стихло. Это оказалось – в батарее Малинина в одном расчете одна лошадь спихнула другую в Днепр. Оказавшейся в воде лошади тут же обрубали постромки, чтоб она не стащила пушку в воду. Оставшаяся лошадь и расчет потянули пушку до берега, т. е. завершили переправу. К великому нашему удивлению лошадь, которую оставили в Днепре с обрубленными постромками, выплыла и сама пришла в расположение своей батареи на фашистском берегу.

Форсировали Днепр удачно, без потерь, фашист не учуял. В г. Ветка на реке Сож ложное формирование было, т. е. [где] Сож впадает в Днепр недалеко от г. Ветка. Если бы немец узнал, где мы переправляемся на Днепре, он натворил бы дел много. Это мы, солдаты, так догадывались. Днепр форсировали, еще темно, и каждая часть стала продвигаться туда, куда ей было приказано. Так что тут вчера был немец, а чуть свет уже мы. Продвигались по обыкновенной полевой дороге, было еще темно, остановились, командиры заподозрили дорогу, стало мало-мальски рассветать, опять тронулись, и вдруг взрыв. Повозка с минометом моего товарища наехала на противотанковую мину. Ездовой погиб, миномет взорван, лошади валяются изуродованные, но еще живы; чтоб не мучились, пристрелили. Продвижение нашей батареи замерло. Вызвали саперную роту, искали мины, и саперы

искали, и мы, несколько штук нашли и разминировали, брался за разминирование только тот, кто понимал.

Рассвело, саперы сказали, что местность разминирована, можете продвигаться. Поступил приказ ездовым вести лошадей на вожжах впереди повозки, с расчетом идти [остальным] сзади них на расстоянии не менее 50 метров. Впереди моей повозки у самых ног лошадей над самой колеей дороги рос куст какого-то растения, и моему ездовому неудобно было обойти этот куст, чтоб вести лошадей на вожжах, он решил около этого куста пропустить свою повозку на вожжах, а потом уже забежать (вперед) и вести коней на вожжах. Я и мой расчет стояли сзади моей повозки. Поступил приказ двигаться. Ездовой тронул лошадей, сам стоит возле куста, чтоб пропустить повозку, а потом забежать вперед лошадей и вести их на вожжах. Только передние колеса моей повозки подъехали под куст, раздался взрыв. Нас оглушило, обдало копотью и землей, обломками нашей повозки. Взрывной волной нас сбило с ног, основную силу волны сдержала повозка. Некоторых ребят зацепило, но это терпимо. Ездового подняло в воздух, отбросило на 30–40 м, всего изуродовало, ни рук, ни ног, подбежал санинструктор саперной роты, осмотрел потерпевшего, сказал, бинты тратить не будем. После второго взрыва бойцы и я ходили и думали: вот шагнешь и на небеса улетишь, переступить было страшно.

Как там ни страшно, а живым воевать надо; тронулись вперед, как было приказано, оставив на берегу Днепра двух своих бойцов, четырех лошадей, две повозки и два миномета; осталось у нас в батарее 4 миномета. Это спасибо немец не учуял переправу, а то бы самолеты да артиллерия добавили бы. Расположились на огневых позициях, недалеко от Днепра, я находился в своем подразделении, как министр без портфеля, так и я без миномета, но без дела не был, подчинялся командиру батареи.

Как-то комбат говорит мне: товарищ сержант, а не желаешь ли ты рыбки половить; я отвечаю, что ни отец мой, ни я рыбу никогда не ловили; он говорит: я тебе дам лодку; я опять отвечаю: товарищ командир, я в лодке никогда не плавал; он опять свое: дам тебе лодку и бойца, который будет лодкой управлять, а ты только будешь рыбу из воды собирать и в лодку бросать. Я все понял, согласился. На второй день наши ребята грузят свой 120-миллиметровый миномет на повозку, и вместе с командиром едем на берег Днепра. Подъезжаем, а там уже много комсостава, нас ожидают, знать, они заранее договорились. Установили миномет, поставили мины на замедленное действие взрыва. Нам командир все объяснил, и я первый раз в жизни сел в лодку с солдатом, поехали ниже по течению воды, а миномет стал бить выше течения воды, чтоб после взрыва глушенная рыба плыла к нам. Прогремел выстрел,

потом взрыв, и смотрим, сколько же рыбы плывет к нам, и вся кверху пузом. Да разве ее всю соберешь, что рукой достали из воды и схватили, даже сачка не было, чтоб рыбу вылавливать. Сколько раз били по Днепру, забыл, но перестали стрелять и позвали нас к берегу. Наловили, вернее, насобирали из воды рыбы подходяще, подъехали к берегу мы с товарищем, вышли из лодки, не взяв даже по одной рыбке. Как окружили нашу лодку главные ординарцы командиров полковых и дизконных<sup>43</sup>. Так я и не покушал днепровской рыбки. Наш командир говорит мне: не обижайся, сержант, я тоже только покушал в другой батарее, угостили. Я говорю: надо было не зевать, на то ярмарка, а у нас она была вся в руках; посмеялись да и разошлись.

В осушительной канаве мы выкопали землянки и огневые позиции, оттуда мы и постреливали по врагу, когда прикажут. Рядом с нами была в буртах картошка, мы ее и брали, когда надо. Один боец пришел с поста ночью и говорит: товарищ сержант, давайте картошек сварим; я отвечаю: дождем до утра; он говорит: сейчас охота; и ушел за картошкой; немного погодя слышу взрыв. Тут же этот солдат Егонкин, сибиряк, вваливается в землянку и орет: ранило. Ночь, темь, буржуйка не горит, заставляю одного бойца жечь спички. Вижу у раненого чуть ниже плеча на обеих сторо-

---

<sup>43</sup> Видимо, дивизионных.

нах груди по отверстию, хлещет кровь. Разрываю его гимнастерку, мои руки попадают в сгустившуюся кровь, т. к. раненый был подпоясан ремнем и кровь скопилась под гимнастеркой. Раздев раненого, вижу, раны ни вдоль, ни поперек перерезать<sup>44</sup> нельзя. Собрав санитарные пакеты, которые всегда у каждого бойца есть в грудном карманчике, как смог, крест-накрест перевязал и отправили раненого в санроту. Из госпиталя Егонкин писал письма и благодарил нас, а мы были рады, что жив он остался.

На этих же самых огневых позициях я как-то в землянке варю котелок картошки на буржуйке и вдруг слышу взрыв, и тут же ко мне в землянку вбегает мой двоюродный брат Сергей и взволнованно говорит: брат, ранило. Я смотрю на его рану в бедро и вижу, можно осколок достать; подлачился, достал, т. е. вытащил его из раны, залил йодом, забинтовал. Вышел на улицу, подошел к месту взрыва снаряда и услышал от ребят. Они сидели и стояли на огневой позиции, беседовали, слышали орудийный выстрел фашиста, снаряд летел в нашу сторону бурган, т. е. рикошетом, ребята видели, как он в воздухе вертелся; украинец сказал, он не взорвется. Лейтенант Иванов, стоявший на краю осушительной канавы, присел, а снаряд, вернее болванка, т. к. она вертелась, упала на полметра ниже его ног и взорвалась,

---

<sup>44</sup> Возможно, наложить жгут, чтобы остановить кровь.

осколки пошли на противоположную сторону канавы на огневую, на ребят. Украинца, который помогал мне петь в строю, убило, второму бойцу перебило сухожилие под коленкой и легко ранило моего брата. Хоронить погибшего в торфе было как-то нехорошо. Вскороости мы поехали по приказу и убитого взяли с собой; везти покойника с живыми вместе тоже нехорошо. Торф проехали, выбрали возле дороги местечко, выкопали могилку, зарыли землей со снегом пополам, воткнули палочку с фанеркой и надписью: «Здесь зарыт боец без документов», т. к. мы их вынули и с собой взяли. Сделали салют из винтовок и ушли вперед.

Как-то и сейчас нехорошо за эти похороны. Но война. Вот так мы и продвигались вперед как могли, ползком и в рост, и в дождь и в слякоть, голодный и холодный. Бог намочит, и Бог высушит, но песню никогда не забывали. Великое дело на войне песня, нужное и чуть не главное солдатское оружие для поддержки духа, настроения ребят.

Под Минском фашисту напомнили Сталинград под кодовым названием «Багратион» нашей операции; по болотам в тех местах наше командование переправило войска не там, где нас немцы ждали, а, наоборот, стукнули его с болота, где он и не мечтал, чтобы мы прошли, а мы тут как тут. Сибиряки какие-то ходили, предложили, в общем, солдат на выдумки способен. Окружили под Минском фаши-

ста да так били, в особенности авиация, фашист бежит по асфальту, и направо и налево болота от дороги, немцы бросали свою технику, т. к. наша авиация впереди их технику разбила, им двигаться некуда, по болоту не обвильнешь, убегали в лес, в заросли, в болота и скрывались.

Чтоб нашим войскам продвигаться вперед, наши танки сдвигали его «Тигры» и «Пантеры» на край дороги, а то и в болото, проделывали дорогу только вперед. Навстречу нашим войскам ни пройти, ни проехать, только воздухом можно было пролететь. Чтобы не отстать от переднего края, нашей батарее впервые дали машины, на каждый расчет по одной, для перевозки 120-миллиметровых минометов. Немцы, окруженные и разбитые, бросив свою технику на шоссе на дороге в направлении на Минск, как я вам уже говорил, разбежались по болоту в леса и заросли, а жрать-то им охота, так вот они по ночам заходили в деревни и побирались.

Мирное население в этих местах уж не с объятиями и слезами встречало нас, как освободителей, а совершенно с другим, вдумчивым и якобы подозрительным взглядом. Не то у нас; я вам, кажется, рассказывал, как мы освобождали г. Новозыбков. Мы нагнали и освободили в этом городе огромное количество наших мирных жителей, угоняемых немцем с собой. Они несли и везли на тележках свой скарб и детей, вели коз, овец, а некоторые в тележку впрягали своих коров и везли свои

пожитки. Так они, увидев нас, в слезах обнимали нас, целовали и причитывали. Старались угостить чем только могли, что у них было, доили коров, тут же нас угощали, позабыв о своих детях, да дети, которые уже понимали, и не просили молока, а, вытаращив на нас глазенки, смотрели и смотрели на этих добрых дядей с ружьями, которые не били ни мам, ни их. Некоторые женщины доили коз в кружку и со слезами на глазах угощали нас. Ну как тут не уважить плачущую женщину, старушку, молодую, и не принять ее скромное, последнее угощение. Обрадовавшись своей родной Красной армии, эти люди целовали нас, и пожилые и молодые, нас, солдат советских, и пожилых и молодых. Плакали и наши пожилые солдаты сибиряки, брали на руки детей и еще пуще плакали, вспоминая оставшихся дома своих детей, и увидят ли они их. Старушки, причитая, вспоминали своих мужей, детей, ушедших в Красную армию, где они и что с ними. Одна старушка, плача, все спрашивала, не видели ли они, т. е. мы, ее сынка Ванюшу и называла его фамилию. Я, например, дорогие дети, да и все молодые солдаты, наверное, растерялись; меня никто никогда не целовал, кроме отца и матери, которую еле помню. Я не плакал, а был вроде парализован, что ли, глядя на эту плачущую толпу детей, женщин, тележки, тачки, запряженных коров, от такой трогательной встречи нас с нашими освободившимися от ига фашизма мирными жителями.

А здесь, за г. Минском, встреча была холодная. Зашли мы как-то в только что освобожденный населенный пункт в хату человек 10 обогреться, поздоровались с хозяевами, заговорили о том о сем. В хате тепло. На примосте, т. е. на лавке на постели, под окном лежит старый дед, штаны и рубаха на нем белые, из домотканой холстины; мы с ним особо поздоровались, он и спрашивает нас: сынки, вот вы пришли, а колхозы-то будут у нас? Мы молчим. Тогда наш парторг Костин подходит к нему и говорит: дедушка, ну а как же, мы без колхозов жить не можем. Дед сказал: лучше бы вы не приходили; и отвернулся от нас лицом к окну. Ему наш парторг что-то говорил, объяснял, но он молчал, молчали и хозяин с хозяйкой. Стали мы уходить, поблагодарили хозяев за обогрев, дед так и не повернулся к нам, но мы знали, что он не спит. Мы поняли, это нам не наши края родные, не Новозыбков. Тут другой дух, не Русью пахнет.

Продвигаясь на машинах вперед уж за Минском, не доезжая реки Неман, стали – кончился бензин, и поэтому отстали от своей части. Стоим день, второй, продукты нам не доставляют, а жрать надо. Собираемся несколько человек и идем в деревню, ищем представителя советской власти, объяснили ему наше положение, что мы голодаем. Он берет человека с повозкой и едем вдоль деревни, где жили западники, и просим съестного, нам давали кто яиц, кто картошки, кто

молока, муку, а кто отказывал, говоря: «вшиска<sup>45</sup> немец забрал», это отказывали большинство богатые.

Вот так нам одна бедная женщина дала ведро картошки, а сосед ее богач сказал: «вшиска немец забрал». Эта женщина подошла к нам и, чтобы не видел богач, сказала, что у него в клуне, или по-нашему в риге, немец спит. Мы окружили эту клуню, двое заходим в середину и видим, фашист спит на соломе в полном вооружении. Вынули у него из кобуры пистолет, из кармана нож и ударом ноги под пятки разбудили его. Он вскочил, растерялся, протирает глаза, лопочет черт знает что и тянет руки вверх. Смотрим на него, фуражка хорошая, френчик тоже, штаны новые, но коленки худые. Наш старшина его сердито спрашивает: почему штаны худые? Фашист поясняет, что есть нечего, он ягоды собирал, они же окружены и по лесу разбрелись, вот ночью и лазают по деревьям ищут жрать, а население здесь западники, немцев некоторые поддерживали, а этого фашиста накормили и даже спать уложили. Заводим этого фашиста к хозяину этой клуни и говорим: вам кольцо золотое нужно? Отвечает: да. Мы договорились, сколько отдаст нам продукции, торговались; Панов, боец мой сибиряк, подходит к немцу, приказывает снять золотое кольцо с руки, тот снял, Панов отдает его хозяину, получаем продукции,

---

<sup>45</sup> Всё (польск.).

укладываем на повозку. Панов предлагает хозяину второе кольцо за то, чтобы он нам дал выпить и накормил, хозяин соглашается, мы сняли с немца, т. е. он сам снял, отдали хозяину. Наставил нам на стол этот западник и выпивки, и закуски. Мы сели за стол, приготовились выпить и поесть, а хозяин вдруг берет этого немца под руку и ведет к столу, чтобы вместе с нами посадить и его накормить. Панов вскакивает, выхватывает пистолет и орет: ты что, сука, бога твою мать, фашиста вместе с нами за стол сажаешь? Обоих как собак постреляю. Накинулись и мы на хозяина. Тогда он немца посадил на примост и там дал ему есть, но выпить не дал, т. к. выпивка была у нас на столе. Мы выпили, но особенно досыта не нажрались, все остальное со стола, а главное выпивку, вынесли на подводу, т. к. она была наша, своих командиров и ребят угостить.

Забрали с собой немца, пошли вдоль деревни. Фуражку, френчик, сапоги с немца мы на продукты обменяли быстро. Вместо френчика ему дали старую немецкую плащ-палатку, а тот, кто сапоги брал, по нашей просьбе вынес ему лапти, босого его вести как-то нехорошо, он же «прославленный немецкий вояка». Прибыли в свою часть. Сдали то, что достали из продуктов, повару Соровацких. Все, что мы привезли, повар проверял, мыл, чистил и клал в походную кухню – яйца, картошку, молоко и т. д., все вместе, и такое варено получилось; кто-то из солдат орет: повар, лей в котел и самогон;

батарея заготовала. Немцу отвели «квартиру» под кустом, он нарвал травы, постлал на нее плащ-палатку, сидит, редкие рыжие волосы, грязная белая рубашка, худые штаны, в лаптях, никто его не обижал, сами ели и ему повар давал, ну, дело ясное, как собаке, и смотрели на него так же. Наш радист подносит к немцу трофейную рацию и спрашивает, т. е. руками, знаками, почему не работает? Он проверил и показал, чего не хватает. Шофера подвели его к мотоциклу немецкому и объясняют ему: почему не заводится? Фашист проверил его и тоже отвечает правильно. Дали мы ему немецкую карту и спрашиваем, где живешь? Он посмотрел на карту и показывает г. Гамбург и лопочет: фрау, цвай киндер, а на глазах у него слезы выступают. Ведь, дорогие дети, он же фашист, собака бешеная, мучитель, издеватель, а и его, сволочь, сделалось жалко, он же тоже человек.

В реке Неман, которая от нас недалеко протекала, при проезде через нее застрял наш бензовоз, его выручать заехал тоже бензовоз и застрял. Вот и приходят к нашему командиру два шофера с застрявших машин и просят, чтобы вытащили их. Наш командир с ними договорился, что он их вытащит, а они заправят наши машины. Вот и поехали мы со своим командиром на р. Неман вытаскивать бензовозы. Прибыли; т. к. мы были только мужчины на берегу реки, разделись все наголо, оружие оставили возле одежды, подошли к бензовозам к реке, обдумывать, как их выта-

щить. Подцепив свою машину со снарядом, одну вытащили, а тут слышим, стрельба в лесу, поняли, что это наши ребята стреляют, т. к. они отправились в лес вылавливать немцев, они же окружены и бродят. Выскакиваю из воды, хватаю свою немецкую винтовку, вешаю ремень с патронташем на шею и в лес, со мной еще 4 солдата выскочили, делаем несколько выстрелов и бегом в лес, изредка стреляя. На немцев напали наши ребята, они стали убегать, но, услышав наши выстрелы и увидев нас, сдались. Ребята их обезоружили и обыскали, складывая все на разостланную немецкую плащ-палатку. Мы смотрели на них, а они на нас, голых совершенно, в особенности на свою немецкую винтовку, которая у меня в руках.

Мы вернулись к своим машинам и ребятам, которые уже вытащили и второй бензовоз, а те ребята повели пленных в свою часть. Между пленных был пленен майор. Просят пленные солдаты закурить, и их майор тоже; солдатам дали, а майору пальцем погрозили. Немцы заулыбались. В то время немцев не конвоировали. Собирали группу, давали одному из немцев записку как старшему, они и шли «на Москву»; из этой группы получалась колонна, т. к. в нее все время вливались свежие силы «прославленных немецких войск». Увидев такую колонну, мы показали ее нашим пленным, и они пошли сами без конвойного, в том числе пошел и наш рыжий с Гамбурга.

Копаясь в немецких отобранных при пленении документах, мы обнаружили фотографии фашистов, на которых были запечатлены наши военнопленные, которых вели улыбающиеся фрицы. У наших были связаны руки и закинута за голову, они были согнуты в три погибели. Очень тужили, что вовремя не нашли это фото и не расстреляли паразитов, а отправили в тыл. До сих пор тужу.

Время идет, мы воюем и продвигаемся вперед в направлении Августовского канала<sup>46</sup>. Остановились, осмотрелись, вырыли огневые позиции, стали в боевую готовность, а НП нет, т. е. наблюдательного пункта, чтоб можно было видеть врага и бить его своей батареей. Командир батареи облюбовал домик, стоящий впереди нас на небольшой возвышенности, приказал мне наблюдать за ним непрерывно. Я окопался, установил стереотрубу для наблюдения, замаскировался и наблюдаю. Через сутки командир спрашивает: что обнаружил? Отвечаю: ничего особенного. Я в это [время] уже был в артразведке. Командир дает мне бойца с рацией и приказывает занять домик и возвышенность.

Проверив все необходимое, мы с Петецким Иваном отправились выполнять приказание, прошли полпути и залегли, договорились к дому вдвоем не подходить, неизвестно, что там нас ожидает. Я пополз первый, он за мной наблюдает, пол-

---

<sup>46</sup> Августовский канал находится на территории Польши и Белоруссии и соединяет реки Вислу и Неман.

зет он, я за ним наблюдаю. Подползли уже близко. Сказал Ивану: если что со мной случится, сообщи по радиации командиру, а я пополз к дому, чтоб его проверить. Подполз, концом немецкой винтовки открыл дверь, тишина. Поднялся, зашел в коридор, молчание, обследовал хату, никого. Дал знак Ивану, чтобы полз в дом. Вдвоем обследовали чердак, подвал, никого, и вдруг громкий шепот: сержант, немцы. Он на коленях у окна, подползаю к нему, снимаю бинокль и вижу по ту сторону Августовского канала, в котором воды почти нет, за кустом стоят три фашиста, у среднего из них бинокль, и наблюдают за нашим домом, который также наверное намеревались занять. Говорю тихо Ивану: на тебе бинокль и с коленок в окно наблюдай за ними. Сам беру немецкую винтовку, сверхосторожно просовываю в створку окна и беру немцев на прицел, не торопясь проверив прицел несколько раз для верности; взял на мушку среднего, выстрелил, все трое сразу же упали за кустом. Всю винтовку я разрядил в этот куст, т. е. сделал 10 выстрелов.

О выполнении приказа по радиации сообщили командиру: дом и высотка заняты. Вскорости прибыл наш командир с бойцами, и стали подходить бойцы к командиру с соседних подразделений. Недалеко от дома стоял сарайчик на стойках, на потолку его было немного сена, мы для наблюдения перебрались в него и окопались. Вскорости немцы зажигательными пулями подожгли

наш дом, что заняли. Со второй стороны к нашей высотке от Августовского канала по кустам стали скапливаться немцы; командир приказал мне с пятью бойцами пойти и поддержать солдат. Прибыл, там собрались с соседних подразделений ряд бойцов, и все с автоматами, строчат по немцам, а они почти не пригибаются, далековато. Говорю: ребята, не тратьте зря патроны, быть может, в упор стрелять придется, а нечем уж будет, дайте я их с ихней же винтовки попробую достать, а вот мой лейтенант в бинокль понаблюдает.

Сделал себе в бруствере бойницу, приступил к стрельбе, немцы, почувствовав прицельный огонь, потишили, но продолжали делать свое дело, т. е. лезть к Августовскому каналу, который был уже полностью наполнен водой фашистами. Я стреляю, а лейтенант наблюдает и считает наповал убитых немцев; увлекшись стрельбой, я демаскировал себя и чуть не поплатился жизнью. Немецкая пуля, посланная в меня, чуть ниже врезалась в бруствер и запорошила мне глаза. Я тут же сменил огневую позицию, Запомнился мне в этом бою последний мною убитый немец, он бег на узловок<sup>47</sup>, а я спустил курок, он так и упал головой назад, а ногами вверх, да так и остался. Лейтенант, что наблюдал, сказал мне, что я наповал убил 7 фашистов из 70 выстрелов. Были присланы 2 снайпера, и мы ушли в свое подразделе-

---

<sup>47</sup> Пригорок.

ние на НП. Вижу, недалеко от нас стоит только что прибывшая 45-миллиметровая пушка и врылась в землю. Повеселело, подкрепление подходит, а то мы заняли эту возвышенность и домик (который сторел) двое с Иваном.

Немцы продолжают продвигаться к каналу, мы даем со своей батареи огонь, а разрывов не видим. Мы были вынуждены дать огонь по себе, и наши взрывы тут как тут. От себя повели огонь по врагу и успокоили его, потишел лезть, но лезет. Около километра от нас белым днем стелют деревянный настил, т. е. дорогу, так как местность болотистая, а фашист бьет по ним из мелкокалиберной пушки, и кажется нам, что пушка где-то рядом стоит. Вот мы ищем ее, где она стоит на прямой наводке, чтоб потом уничтожить ее своим огнем. Мы ищем немецкую пушку, а враг наш ПНП<sup>48</sup> уже нашел и ведет по нам огонь на уничтожение, так как один взрыв был недолет, второй перелет. Помню взрыв над головой, очнулся я в окопе, на краю которого я стоял. Товарищ мой успел нырнуть в блиндаж и сказал: Скрылева убило. Враг повторил еще дважды по нашему ПНП и смолк, решил, что уничтожил, ко мне подполз мой товарищ и помог мне в блиндаж перебраться. Я был ранен в бровь, а главное, контужен, ничего не слышал. Голову мне перевязали, и я продолжаю наблюдать за врагом.

---

<sup>48</sup> Полковой наблюдательный пункт.

В скором времени к нам в блиндаж вваливается весь забрызганный кровью и супом командир 45-миллиметровой пушки. Успокоившись, рассказал. Им принесли обед, его расчет сел есть, тут же в их середину упал снаряд, всех побило, а он остался, и так уже не в первый раз, товарищей бьет, он остается. Я это видел, но не слышал, т. к. был контужен, мне после рассказали. Он все плача говорил, когда же меня убьет, он был казах. И все же погиб при штурме крепости Осовец. К вечеру мне командир приказал идти в расположение части, т. к. я ранен.

Отполз я от своего ПНП метров 100, а потом поднялся и пошел, думаю, что по одному из пушки бить не будет, да еще голова-то забинтована, «пожалееет». Иду, знаю о том, что я у фашиста на прицеле, вижу, идут мне навстречу два солдата, на передовую, и думаю: вот фашист нас сейчас, как мы встретимся, по трем-то и врежет. Не доходя до солдат я ору им: ложись! – и сам упал, упали и они; тут же снаряд фашистский чуть перелетел, рванул потом второй, и смолкло. Нас никого не задело, т. е. пронесло. Встретились мы ползком, они что-то мне орали, но я же не слышал. Так мне стало обидно – ведь видит фашист проклятый, что я ранен, и бьет, знать, добивает.

Враг есть враг, и он не страшен только мертвый. И подумал, ну, я тебя вспомню. Вспомнил, и не раз, хотя сам избит с ног до головы, но фашисту не должен, рассчитался с лихвой. Прибыл на

свою огневую, ребята обрадовались, жив, а сообщили, что убило, и некоторых за упокой помянули. Брат мой Сергей, парторг, и другие товарищи уговорили меня в медсанбат не ходить, а то разлучат, направят в другую часть. Так я решил отваяться в своем подразделении. И отваялся, контузия отпустила, рана легкая зажила. Опять, когда можно было, батарея запела.

Я уже вам кажется говорил, что это я уже воевал в Польше. Как-то раз продвигаемся по лесным дорогам, впереди нас шла 76-миллиметровая батарея нашего полка, она уже вышла на поляну и решила отдохнуть, пообедать; задымилась походная кухня, ребята некоторые развалились отдохнуть. Оказалось, где-то рядом отдыхала и скрывалась недобитая окруженная немецкая часть, и они решили прорваться. Вдруг заревел мотор и на поляну вываливает немецкий танк, а за ним фашистов человек 30, все вооруженные. Наши артиллеристы кинулись к пушкам, они же к бою не были готовы, а враг стал с танка их расстреливать, пушки и прислугу. Некоторые расчеты успели дать несколько выстрелов по танку, но снаряды от танка отскакивали, как мячи. Это говорили сами артиллеристы. Бой был мгновенный, неожиданный, без подготовки. Танк нанес батарее ощутимый ущерб в живой силе и технике, скрылся, увел за собой немцев, остались на поляне два убитых немца. Но недалеко пришлось уйти немцам. Этот бой услышала наша боевая

часть недалеко двигавшаяся, приготовилась, подпустила танк и немцев вплотную, расстреляла всех до единого.

Вот так нас встречала польская земля, да и народ-то встречал нас с объятиями и слезами радости<sup>49</sup>. Недовольны были поляки, по нашим понятиям, нашим советским строем, т. е. колхозами. Как-то продвигалась наша часть вперед в осеннее время, дождь, слякоть, промокли мы все с ног до головы, не говоря уж как жрать захотели, ночь. Командир прошел по улице польской деревни, показал нам, командирам расчетов, дома, где мы должны обогреться, а кто и что в этом доме, неизвестно, и как там нас примут. Мне достался дом добротный, мы такими домами были недовольны – раз богатый, то плохо примет. Я стучу в дверь, и два бойца со мной – молчат и даже свет не зажигают, в окно стучим, все так же, товарища моего уже впустили в хату с расчетом, они греются, а мы под окнами лазаем, просимся, не пускают. Я пошел к командиру, спрашиваю, что делать, замерзаем. Он сам со мной пришел, стучит и объясняет сквозь дверь кому неизвестно, кто мы такие и зачем пришли; молчат. Тогда командир говорит, а ну-ка, Скрылев, стукни своим немецким прикладом в эту дверь. А приклад был у немецкой винтовки новый, кованый, только в танки стучать. Я прикладом, а мои ребята уже камнями в дверь

---

<sup>49</sup> Судя по всему, в этой фразе звучит ирония.

содят, позамерзли. Видим, свет появился в окне, открыли.

В хате теплынь, хозяин сел у стола, по другую сторону стола сел мой командир без приглашения. Решил и я присесть на какие-то тряпки. Только стал присаживаться, меня что-то в зад толкнуло, я оглянулся – рука, а это, оказывается, лежала жена хозяина на пуховой перине и одета пуховой периной, а я хотел посидеть. Ребята в хату не входили, я понял, знать, рыщут, что б пожрать найти. Старая полька вышла на улицу и помешала ребятам в их охоте, но все-таки три гуся и еще кое-чего добыли. За огородами сварили, утром позавтракали. Хозяин, сволочь, ничего не дал из еды. Мы знали, что брать у населения ничего нельзя, за это нас судил ревтрибунал, но что же сделаешь, мы же живые люди, жрать-то охота, а как бы там ни было, умирать не миновать, вот и применяли одиннадцатую заповедь (не зевай). Но хозяин-поляк, где мы обогревались, никуда не заявлял.

Вот так-то, дорогие дети, мы шли не к теще на блины и не к отцу-матери, а шли, шли, шли по дорогам войны, проливая кровь, навеки теряя боевых товарищей, с которыми сдружила и породнила война, а шли, и надо было идти, т. к. нам эта трижды проклятая Германия не нужна была, а нам месть нужна была – мы лично видели, что творил на нашей святой матушке Руси фашист, и лично шли отомстить немцам в его проклятом логове, пусть и он откушает этой кровавой каши, которую

сам же заварил. Шли без ропота и с каждым днем все охотнее, т. к. приближалась Германия, а значит и день расплаты.

Мы двигались в направлении города-крепости Осовец и знали, что нам ее брать, т. к. надеяться больше не на кого. Однажды, прошагав всю ночь, мы остановились и видим артиллеристов, окапываются, т. е. начали копать огневую позицию. Наш командир отдал приказ также окопаться и нам, а сам пошел к другим взводам отдать приказ окапываться. И вот я слышу, а не вижу, т. к. было раннее утро и еще темно, громкий голос на позиции артиллеристов: «Ты что здесь, бога твою мать, окапываешься, зимовать вздумал?» – и слышу, щелк, щелк; понял, бьет по щекам и орет, чтоб крепость штурмом была к обеду взята. Я вижу, дело плохое, может попасть и моему командиру, бегом к нему, нашел и докладываю. Что кто-то бьет и страшно ругается, приказывает крепость взять штурмом к обеду. Командир говорит мне: скажи ему, что я в хозчасти; и бегом в хозчасть. Кто это был – бог дал, я его и не видел, но после предполагали, что это был кабы не Рокоссовский, т. к. слышали, что он ругал и даже бил своих командиров. Он был командующим фронта и наверняка участвовал при штурме крепости Осовец.

А вы что, дети, глазенки вытарасили, удивлены, что на фронте били? На фронте били и расстреливали запросто. Дисциплина была стальная, т. е. сталинская, и правильно, иначе мы не побе-

дили бы. Чуть рассвело, ударили наши пушки, и пошли на штурм крепости Осовец. Я за то время, что воевал, ни разу в штурме не участвовал. Шли во весь рост, падая, когда надо, но тут же поднимаясь. От нас слева с открытой позиции была наша 120-миллиметровая пушка. Немец так ее ударил, что ни пушки, ни расчета не осталось. На это место тут же выходят три машины с пушками, развертываются и, не окапываясь, открывают огонь. Наши самолеты на бреющем полете носились и стреляли над самой крепостью.

Рядом со мной шел на штурм радист с рацией. И орет мне: сержант, на, послушай рацию, беру наушники и слышу, как летчик докладывает своему командиру на землю: товарищ командир, все смешалось, не разберу, где наши, а где немцы. Доклады и ответы сопровождаются страшным фронтовым матом. Командир орет своему летчику: «Так твою перетак, не поймешь, где наши, где немцы, лети в тыл, бей артиллеристов». Я удивился, как это так, быть в воздухе, находиться возле Бога и так жутко ругаться в Бога. Отдаю радисту наушники и продолжаю с командиром продвигаться к крепости. Как бы мы ни двигались, а к крепости подошли к вечеру, и наша славная 307 стрелковая дивизия за один день подтощала. Но штурм есть штурм, ее тут же подменили, и крепость Осовец была взята, завидно. Верховный главнокомандующий т. Сталин нашу 307 стрелковую дивизию не обошел, а объявил ей, т. е. нам, бла-



Николай Иосифович, «отличный разведчик», сфотографирован для праздничного октябрьского номера дивизионной газеты. Через несколько дней он был тяжело ранен. 1944

годарность, а у меня до сих пор цела письменная благодарность т. Сталина.

Вот я вам, дорогие дети, и рассказал, как я за войну только раз был в штурме, крепости Осовец. Наступила осень 1944 года, наши военные действия притупились. Мы пришли, т. е. освободили Польшу, остановились на реке Нарев у местечка Визна. Приближался великий праздник СССР –

Октябрьская революция, 1944 г. В нашей 120-миллиметровой батарее командиры отобрали бойцов отличников своего дела и вызвали дивизионного фотокорреспондента, чтобы нас сфотографировать и поместить в дивизионную газету «За Родину».

Я был сфотографирован в своем подразделении уже второй раз как «Отличный разведчик» в честь Октябрьской 1944 г., а в первый раз я был сфотографирован в 1942 г. как «Отличный разведчик» и также был помещен в газете «За Родину». А так зря на фронте не фотографировали, а только для дела, например, на комсомольский билет, партийный билет и отличников своего дела. Мы не немцы и для своего удовольствия фотоаппаратов не имели. Все фото с войны у меня целы.

Наступила Октябрьская, 1944 г. Нас, бойцов, переобмундировали в зимнюю форму одежды, и, т. к. я был комсорг нашего подразделения, мы с парторгом Костиным пошли в штаб нашего 1019 с/п. К вечеру мы вернулись в свое подразделение 120-миллиметровой батареи. Я очень был рад, что на праздник Октября я встретился со своими ребятами-огневиками, а то все на переднем крае, т. е. на ПНП. Поужинав, мы разговорились и спели ряд песен. Это редко нам приходилось, т. к. я все время на НП или ПНП, а без запевалы какие песни. Ребята меня уговорили, чтоб у них на огневой ночевал. Я позвонил на НП к командиру, он ночевать не разрешил, а приказал прибыть на НП. По прибытии на НП мне командир сказал, что посту-

пили данные, что должна быть немецкая разведка, т. к. Октябрьская, а на праздники к нам фашисты похаживали в «гости» не раз, и встретить ее надо поудобнее. Меня, как старичка войны (старичком меня звали, т. к. я не один год воюю, ранен был, проверен, коммунист, разведчик), и направил мой командир на предполагаемое место появления немецкой разведки, дав мне четырех бойцов.

Обсудив, как будем двигаться, на какой дистанции друг от друга, предусмотрев некоторые возможные случайности, выждав время, мы двинулись выполнять приказ командира. Как и должно быть осенью, темь была непроглядная, тишина, лишь слышно было с вражеской стороны говорит репродуктор, т. е. громкоговоритель, и какая-то баба нас все продолжает уговаривать переходить на их сторону, обещая всякие блага, и так я на нее осерчал – мы уже у стен Германии, а она все брешет, сука. И вдруг взрыв... Я очнулся на руках у бойца Родина и чувствую, что меня под голову и ноги кто-то поддерживает. Принесли меня на НП, откуда мы двинулись, по фронтовому перевязали. Избит был с ног до головы. Ноги, живот, грудь, голова. Как после выяснилось, налетел я на немецкую прыгающую мину натяжного действия. В темноте задел за проволоку, мина подпрыгнула и взорвалась. На НП прибыл наш боец на лошади, чтоб отвезти в медсанбат. Провозили меня через наши батареи. Я сильно стонал. Мучительные боли были в животе. Все бойцы со мной прощались,

т. к. в живот раненные мало выживали. По пути в санроту я стонал, а сука немец на слух поливал из пулемета. Через силу приходилось молчать, т. к. боец и лошадь, которые могут пострадать, не виноваты, что я ранен. А ведь вечером песни пел с ребятами, выходит, напоследок. Вот тебе и Октябрьская 1944 г.

Кончились мои фронтовые приключения, начались мучения, да и до сих пор, до издоху. Привез меня в санроту мой бывший боец Панов Д. А., попрощался со мной и уехал бить фашиста, а я... В санроте мне сделали укол, перегрузили на другую подводу, я уснул. Разбудили или проснулся в медсанбате. Помню, разобрали, обмыли, положили на стол, и первая ко мне подошла и резала женщина капитан Линник. Установив, что у меня кишечник пробит, доложила об этом пришедшему майору, и тот, подойдя ко мне, сказал: операция; я согласился, меня перенесли в другой кабинет, уложили на стол и забегали люди в белых халатах, звякали железки, что-то кипело. Накрыли мне лицо марлей и заставили считать. Я досчитал 27, и моя голова куда-то покатилась...

Очнулся я на койке, вижу, от меня направо и налево койки стоят заправлены, но пустые, а дальше все заняты ранеными. Подошла медсестра, кое-чего спросила, а потом стала спрашивать и писать, кто у меня дома есть, кому я письма пишу, я все отвечал, а потом подходит ко мне с открыткой и говорит: распишись. Расписался

и понял, что она мне домой моему бате написала письмо, т. е. открытку. А потом пристроили надо мной какой-то капельник и сказали: хочешь жить, не трожь его. Койки пустые около меня заполнили. И вижу, приносят санитары на носилках раненого с операции, у него ноги отрезали, но он еще спит, кладут на койку, а направо и налево от него оставляют койки пустые и начинают его ладонями бить по щекам, а он так ругается, руками так мотает; вот почему рядом с ним стояли пустые койки – чтобы не зашиб соседа, он же без памяти, но на вопросы отвечает точно, а его все бьют, будят, и, если не разбудят, то больной заснет навеки. Нагляделся на его проделки и спрашиваю: а что, и меня так будили; а сестра отвечает: а как же, ведь надо, чтобы вы живы были; спрашиваю: и я так же ругался и брыкался; она говорит: нет-нет, ты был спокойный. Но я остался под сомнением, это потому, чтоб я не беспокоился. Так и до сих пор не знаю.

Подходит ко мне сестра и говорит: ну, Коля, пить будем, а то кормить-то мы тебя кормим, а пить еще не давали. Зная о том, что мне пить нельзя, т. к. у меня кишечник в четырех местах пробит, смотрю на сестру и спрашиваю: как; она отвечает: сейчас увидишь. Ставит на тумбочку две пол-литровые банки закрытых, и что-то в них светлое налито, какие-то резиновые трубки к ним подведены со шприцами на концах, с гвоздь толщины, берет руку мою и пониже плеча вкалывает в нее этот ясный гвоздь, аж кожа лопнула, и начала

какой-то резиновый мяч кулаком качать. Вскоре банка опустела. Таким же путем и в другую руку вторую банку вкачали. Сказав: ну вот и попили, – ушла. Я понял, что меня и сонного поили, т. к. на руках у меня были болящие метки от того самого шприца-гвоздя.

Однажды подходит ко мне медсестра и говорит: ну, Коля, сегодня мы тебя перевязывать будем. Перенесли меня в другую комнату. Я вижу – на мне белья нет, сестра, заметив это, говорит: Коля, а зачем тебе белье, ты же забинтованный с ног до головы; и начала разбинтовывать. Со стоном перевязали, положили на свою койку, мне стало благо-благо, и я уснул. Проснувшись, я вижу, рядом со мной на койке лежит раненый человек; оказалось, это местный человек, поляк, после их освобождения его поставили милиционером польским. Он ехал на велогоне и повстречался с нашими разведчиками, которые, выполнив боевое задание, получили от командира 10 дней отдыха и водки на эти дни; они напились, встретили этого поляка и попросили у него велогон съездить в другую деревню за самогоном, он не дал, а один из разведчиков пырнул его ножом. Их наши же солдаты арестовали; кто пырнул, ему ревтрибунал дал 10 лет с отправкой в Сибирь, а поляка лечил наш медсанбат. Что ж, и у нас есть дураки. В семье не без урода. Я все поляку рассказал, как и где меня ранило. Он все выслушал и сказал мне, что меня ранило на его поместовой, на р. Нарев местечко Визна. Место

ранения запомнилось мне на всю жизнь. В медсанбате наши раненые лежали на соломенных подушках и матрацах, но белье и простыни были чистые. А этот поляк по сравнению с нами лежал как барин, он же местный, и лежал весь в пуху, даже одеяло было пуховое, и кормили его – свои носили все время. Поляка звали Богданов Иосиф Иосифович, он же своим наверняка сказал, что я тоже разведчик. Так вот, его родные на меня смотрели чертом, а однажды, глядя на мою постель, да и наши условия фронтовые по сравнению с их поляком, говорит мне [одна его родственница]: «Ну что, довоевался, завоевал?» И такое зло, дорогие дети, у меня на нее, на суку, вскипело, что с великим удовольствием я бы ее удавил не моргнув глазами, своими же руками, но мне даже говорить было нельзя, живот разбит, я только чувствую, лицо мое загорелось. Поляк сказал ей грубо: замолчи. Тут же подбежала наша медсестра и с ненавистью говорит польке: не трожь нашего разведчика, он за вас пострадал; и что-то еще добавила... вышла. Потом входит и говорит: вот посмотрите, что спасло нашего Колю; и развернула перед ними мою вывернутую осколками наизнанку фуфайку при ранении. Я удивился, эту фуфайку я [такой] не видел, она была зеленая, новенькая, т. к. я ее получил под Октябрьскую, а вижу рваную с вывернутой ватой, местами залитой кровью, а потом все понял, что меня спасла фуфайка, приняв на себя лавину осколков от немецкой мины,

и вата, находящаяся в фуфайке. Полячки ушли под злым взглядом раненых и медсестер.

Медсанбат очень много расходовал бинтов и, экономя их, бинты использованные не выкидывали, а кипятили, стирали и вновь скатывали, и они были готовы к перевязке. Бывало, медсестра принесет сухих стиранных бинтов целую выварку и скажет: ну, Коля, давай скатывать. У меня руки были не ранены, и я с удовольствием катал бинты, и, хотя распластывал их, главное, я помогал девушке и она была со мною рядом и разговаривала со мной, а этого я никогда еще не переживал и был этим доволен.

Пришел однажды в медсанбат молодой военный, одет чисто, я спросил у сестры, кто это? Сказали, начштаба 1019 стрелкового полка. Подозвал его к себе и сказал, что меня представили к награде и вот меня ранило, как быть? Он сказал, завтра разберусь. На второй день он присылает мне выписку из приказа, что я награжден орденом «Красная Звезда». В г. Орел я его получил, уже будучи дома инвалидом второй группы.

Как-то поступил к нам раненный в руку наш нерусский солдат, слух прошел, что он самострел. Я спрашиваю у сестры, она сказала: точно не знаю, но за ним наблюдают. Все раненые смотрели на него косо, с подозрением.

Пройдя госпитальную жизнь, я до сих пор ценю и ценил труд медработников; эти уважаемые неутомимые наши труженики – в любое время

суток, позови ее, и она тут как тут. И старается сделать все, что ты просишь. Наш брат раненый, когда его раны мало-мальски залечат, старается пошутить, а с кем, с сестрой. Однажды один раненый зовет к себе няньку, она как всегда занята, но и к нему подбегает, говорит: что тебе? А раненый говорит: няня, дай мне утку, судно, и попить. Няня не обиделась, а улыбнулась и пошла; она довольна тем, что солдат перестал стонать, а начал шутить, и здесь есть заслуга ее адского труда.

И вот я забинтованный полтора месяца пролежал в медсанбате без белья, но не только стоять, а сидеть не мог, голова кружилась, я однажды об этом сказал хирургу, он говорит, что мы тебе крови вольем; я спросил: а чья кровь? Хирург говорит: женская; а я ответил: не нужна; погребовал. Медсестра засмеялась: да мы ж тебе уже вливали. Хирург говорит сестре: так тогда он был без памяти, а теперь окреп. Но кровь мне все же влили, т. к. меня уже пора было отправлять в полевой госпиталь.

Дети, я вам, кажется, рассказывал, что нам с братом выпало огромное фронтовое счастье воевать вместе, т. е. в одном подразделении. Это на фронте большое счастье.

Вот брат Сергей по моей просьбе принес в медсанбат мою полевую сумку, оставшуюся на месте ранения, т. к. осколки мины перерубили на моей груди ремни полевой сумки, и она осталась. Поговорив с братом, он ушел, а меня так потянуло

в свою родную часть к своим дорогим товарищам, ставшими родными, что я позвал к себе хирурга и стал у него проситься на передний край. Говорю: у меня руки целы, ноги целы, глаза целы, вот еще немного поддержите, и на передок. Хирург меня внимательно выслушал и без улыбки говорит: нельзя тебе на передний край, – и ушел. Повторял просьбу несколько раз, но хирург остался неумолим. Однажды медсестра говорит мне: пойдём, Коля, на перевязку; перевязали меня сверхэкономно и в первый раз надели на меня белье, сказав мне: завтра мы тебя отправляем в полевой госпиталь. На второй день меня погрузили в машину и привезли в полевой госпиталь, располагался он в лесу в палатках. Сколько же там нашего брата, в особенности в приемном пункте; отношение совсем другое, сразу же вспомнился наш медсанбат с нашими золотыми медсестрами и передний край с родными друзьями, отдалявшимися от меня расстоянием. В первый раз понесли меня на перевязку, положили на стол; подошли двое, мужчина и женщина, сняли белье и говорят: вот, он весь забинтован. Один с головы, другой с ног, я даже не успел их подговорить, как они меня ободрали, промыли, проверили, все раны перевязали, принесли в палатку, положили на место; и почувствовал я себя в раю, так хорошо, так благо.

А к вечеру эти же самые медработники полевого госпиталя как громыхнут песню «Ехали



Сергей, двоюродный брат Николая Иосифовича. Еще подростками братья вместе трудились на шахте, вместе ушли на фронт, вместе воевали, всю жизнь поддерживали друг друга. 1940-е

цыгане, цыгане с ярмарки...», да так ладно, да так сладко и трогательно, палатки-то стояли в лесу, все слышно. Была зима, но в палатках было тепло и уютно. Где здесь не выздоровеешь, если наши медработники лечили нас и физически, и политически, песни раздавались то с одной стороны палаток, то с другой. Вспоминая сейчас это, редко когда не уроним грубую солдатскую стариковскую слезу, а тогда мне было 20 лет.

В полевом госпитале я начал привыкать ходить, мне дали костыли, и я самовольно имел право ходить, разламываться. Вскорости меня привезли в г. Гродно, с неделю подержали, переброшили в г. Белосток, это все еще была польская или западно-украинская земля. Здесь я увидел одного инвалида, такого я нигде больше не видел, и не дай Бог видеть. Он лежал в одной со мной палате, у него не было ни рук, ни ног. Около него все время находилась одна или две медсестры, уговаривая его, что он будет жить и работать, объясняя ему его будущие работы. Он просил у них одно, дать ему укол, чтобы он не мучился, плакал он, да сестра тоже, и некоторые из нас, раненых.

Наступил день, когда нас начали грузить в вагоны для отправки в Россию. В вагоне я стал передвигаться без костылей, т. к. держался и справа и слева за некоторые выступы. Но костыли у меня были. Нас повезли якобы в Москву, но привезли в Харьков, как мне это было обидно. В Москве жили родственники, а в Харькове никого, и он весь разрушен немцем. Разгрузили нас, поместили в палаты, т. е. подселили нас, двух в живот раненых фронтовиков, к больным, у кого руки, ноги, радикулит, но не бывшим на фронте.

Пока мы ехали в санпоезде, нам давали по 100 г, как на фронте, а тут нет, мой напарник был 40 годов, стал требовать 100 г, но я был молодой, не ходил, не просил, да и мой напарник не добился. А кормили – утром капуста, в обед первое капуста,

второе тоже капуста, и вечером капуста. Лежавшие в госпитале больные все были из Харькова или близлежащих сел, так их кормили свои родственники, а нас кто? Но Бог не без добрых людей. Рядом со мной стояла койка на трех железных ножках, а четвертая из кирпичей, на ней лежал Данила Голоскуб, ему было 37 лет, он инвалид детства, жил под Харьковом, у него ноги еле ходят и позвоночник изогнут, проведывала его жена, детей у них не было. Познакомились, и когда он узнал и увидел, что я избит с ног до головы и что я разведчик, он буквально прилип ко мне как к младшему брату, и, можно сказать, взял меня на довольствие. Я упорно и долго стеснялся, отказывался; он и уговаривал, и ругал, чтобы я ел, говорил мне: ты молодой, весь избит, тебе надо есть, и раны быстрее заживут. Но как бы там ни отказывался, ни стеснялся, а, главное, кормил он меня; и я заметил, что жена его ему сумки стала возить больше, знать, на мою долю. Ну что ж, дай им Бог всего доброго, хоть на этом, хоть на том свете. Жена его знала, что я стеснялся их харчи есть, и не раз уговаривала меня, на украинском наречии, кушать, не стесняться. Я ей пообещал, сказав спасибо.

Я в Харькове в госпитале ходил с волосами, т. к. на фронте разведчикам разрешалось носить определенный размер волос. У меня врач спросил однажды: вы офицер? Я ответил, что разведчик. Он ушел, а дней через 10 подходит и говорит: ну вот что, товарищ разведчик, а волосы-то

придется снять. Я понял, что это для избежания развода лишних насекомых, т. е. вшей, которых на фронте и в тылу было в то время с избытком. Свой черно-сизый волос беречь было не для кого, и я его снял. Приблизился 1945 новый год. Встретили мы его, учитывая фронтовое время, неплохо, кормежка была поудобней простого дня, были мирные «артисты»; помню, старенькая, тощая старушка бодрим чистым голосом исполняла песню «Бродяга», и после исполнения других песен по нашей просьбе эта старушка повторила песню «Бродяга», мы были очень довольны и от души поблагодарили.

По радио каждый день от Советского Информбюро сообщалось о подвигах и отличившихся частях нашего фронта Рокоссовского. Ребята воюют, а я в тылу валяюсь, благо? Опять душевное волнение, тайные слезы от госпитальных товарищей. Все это заметил мой сосед, что кормил меня, Данила. Бывало, отзовет меня от ребят и пробирет меня: ты что, не рад, что жив остался, там же бьют насмерть, а тебе что, мало досталось, ведь с ног до головы избит. Я его убеждаю: но там же ребята мои дорогие, ребята в огне кипят, а ты говоришь, что убьют, а что же, они хуже меня что ли, пусть убьют. Дважды ходил к главному врачу по комиссии, просился на фронт, но только в свою часть. Главврач меня уважал, брал меня с собой, заводил в комиссионный кабинет, доставал мою историю болезни, посмотрит в нее

и говорит: тебе на фронт нельзя, не волнуйся, долечивайся.

Больных к нам в госпиталь все подкидывали, а ложить не на что, койки в палатах стояли собранные кое из чего. Харьков-то был оккупирован не один год. У меня была койка одинарная, а сетка двуспальная, вот ко мне и подложили одного человека. Вообще, кому мало-мальски полегчало, их спаривали. Моего друга Данилу, что кормил меня, вскорости выписали. Так его жена, приехав за мужем, а мне все равно передачку привезла. Провожал я их до госпитальных ворот. Прощались не скрывая слез. Ввиду того, что здоровье у меня улучшилось, я стал приглядываться к тем ребятам, которых комиссуют, и, главное, как их обмундировывают, ведь ехать-то домой. А обмундирование давали старое, наверное, снятое с убитых еще в 41 г. Крючки в шинели в петли не лезли, все ржавые. Во власти стояли большинство евреи и делали что хотели. Раненые фронтовики, истосковавшиеся по дому, плакали, ругались, но домой все же ехали. Видя все это безобразие, я писал своим фронтовым товарищам и горевал с ними, что для наведения здесь, в тылу, порядка я зря не прихватил свою немецкую десятизарядку. И действительно, кого отпустят, еще мало-мальски на воина похож, а кто на побитую рушку. Приведут в так называемый склад, где хранится обмундирование для недобитых вылечившихся вояк, и говорят: хочешь домой ехать,

выбирай, одевайся и езжай. Ну кому было домой неохота ехать с того света. Ведь чудом остались, брали, плакали, но ехали.

Однажды приходит к нам в палату медсестра и говорит: Скрылев, завтра во ВТЭК на комиссию; я ответил: ясно; но меня какое-то волнение охватило, я знал, что домой пустят, т. к. на фронт мне отказали, и поэтому я батю заранее послал письмо и предупредил его, что меня переводят в другой госпиталь, это для того, чтобы батя не тратился к моей встрече, он же был эвакуирован и жил неважно. На второй день в назначенный срок прибыл на ВТЭК. Комиссия определила, что к строевой я не годен и отпускаюсь на три месяца на Родину, т. е. домой.

Вещмешка не было, ребята подсказали отдрать от простыни и из нее кое-как сшить тайно от нянек, без него же нельзя. Позвали и меня в тот «склад» старого гнилого обмундирования для отправки с войны недобитого человека домой, т. е. инвалида ОВ. И мне также сказали: хочешь домой, выбирай и отправляйся. Вижу, наш брат копается в тряпье, некоторые говорят, что мне лишь бы домой доехать, а там есть во что одеться, а я-то знал, что у меня дома ничего нет, да плюс к этому батя пережил эвакуацию. Копаюсь и я, выбираю, домой-то пешком ушел бы на каменный порог взглянуть да попить водички из тех ручьев и колодцев, которые я перепомнил. Будучи ранен в живот, пить хотелось, а пить не давали, нельзя,

умру. Это может понять только в живот раненный, переживший это.

Выбрал я себе в так называемом складе обмундирование из старья, правда, брюки и гимнастерку дали новые. Шинель, наверное, с 1941 г. валялась, от нее, видно, отрезано на обмотки, т. к. она была мне выше колен, и все остальное б/у. Приносят мне в палату и вручают деньги, я спрашиваю: а это за что? Медсестра говорит: ты, Коля, теперь уже не настоящий человек, инвалид, ты ранен и будешь получать пенсию. Я возмутился, говорю: что за инвалид, что за пенсия? Но постепенно понял и заплакал. Документ, по которому меня обмундировали, до сих пор цел. Дали продуктов на дорогу, и медсестра отвела нас на вокзал. Взяла билет мне, сказала, когда поезд подойдет, отдала мне мои документы, приказав мне их строго беречь и по прибытии сдать их в райсобес: «Это твоя война, а теперь твоя жизнь, береги их [как] глаз во лбу». Пожелав мне счастливого пути и даже пожав руку на прощание, ушла. А я остался один на один с нарядом в мирной одежде и сам себе хозяин. Огляделся, нашел уединенный уголок и решил проверить: что за документы мои? Что в них написано, почему их так беречь надо и почему эти бумаги – моя жизнь. Открыл, читал, что понял, а что нет, но главное понял, почему меня на фронт не пускали. В истории о болезни написано, что у меня пробит кишечник в четырех местах, осколок не найден.

Вот, по-моему, меня через осколок на фронт не пустили.

Подошел мой поезд, в большой давке залез в вагон, поехали. Проехали ст. Мармыжи, когда-то ее освобождали. Выходить мне надо было в Касторной, но до нее было еще далеко. В моем вагоне ехали двое в военной форме и в моих годах, но ясно понял, что не фронтовики. Шинели на них не новые, но далеко новей и свежей моей. Я подумал, а что если предложить одному из них обменяться, у него как раз и погоны-то сержантские, как мое воинское звание. Подсел к ним, разговорились, они, оказывается, из госпиталя в госпиталь переезжают, я рассказал им, что я еду домой из госпиталя, комиссовали, т. е. отвоёвался, и что слишком плохо меня обмундировали и что страшно показываться домой после войны. Предложил им обменять мне шинель, т. к. им все равно их сдавать, и сам же сказал, что в придачу им даю половину того, что у меня есть, т. е. деньги и еду, а больше у меня не было ничего. Они меняться отказались, был уже вечер, я ушел на свое место и лег спать, утром должно быть Касторное. Наступило утро, умылся, перекусил и стал ждать остановку. Поезд стал, кондуктор объявила: ст. Касторная. В груди что-то шевельнулось, пошли воспоминания о ее освобождении, т. е. Касторного. Вышел из вагона, смотрю, и те двое военных выходят, подходят ко мне и говорят: надумали меняться, у нас жрать нечего. Зашли в пустое здание, я достал свои

продукты и деньги, поделил поровну, он снял свою шинель, а я свою, поменялись. Вижу, у него ботинки по сравнению с моими хорошие, т. к. мои еще в Харькове промокли, но предложить менять у меня уж добавлять было нечего, я промолчал, да он бы их худые и не взял.

Ребятам было со мной по пути, и мы пошли пешком на Восточное Касторное. По пути я им рассказал, как я участвовал в освобождении ст. Касторной. Пришли на станцию, народу набито, не только лечь, и стать негде. Ребята от меня никуда, тем более узнали, что я эту станцию освобождал. Стало темнеть, говорю ребятам: пойдем проситься ночевать, а то вдруг заболеем, у меня ноги мокрые. Пошли, видим огонек ярко горит, зашли все трое, говорю: пустите, пожалуйста, до утра побыть, а то на вокзале стать негде. Ответили, что негде вас положить, т. е. не пустили. Я говорю: как вас освобождали, мы вам нужны были, а вот раненый с фронта еду, не нужен. Хозяева заволновались, заговорили между собой, а мы вышли. Смотрим, одна из них выскочила, говорит: ребята, вернитесь, где-нибудь найдем местечко; я ответил «спасибо», и пошли вдоль улицы, стемнело. Смотрим направо и налево, горят в домиках огоньки. Говорю: ребята, заходите в этот дом и не выходите, кладите документ на стол, пусть проверяют или власть вызывают, и я так же поступлю вот в этом доме. Зашел и говорю: здравствуйте, я у вас переночую. Вижу, стоит у дверей сундук за столом, я раз-

деваюсь и стелю шинель на сундук. Хозяйка на печи с пацанами говорит: идите к соседу, у него мужики есть, а я одна с детьми. Вижу, в хате девушка приблизительно моих лет, достаю документы и подаю ей, проверьте, она не берет. Кладу на стол, но за ними наблюдаю, чтоб не пропали. Разговорились, я им сказал, что в январе 28 числа 1943 г. мы их освободили. Они ободрились, стали ласковее. Я разулся, портянки мокрые снял и кладу к себе на шинель под бок, но дочь хозяйкина их с шинели забрала и положила сушить в печь. Утром я встал, встала и хозяйкина дочь, подала сухие портянки, помогла умыться, я оделся, и эта девушка проводила меня с крыльца, дав мне по моей просьбе свой адрес; [я] ушел на ст. Касторная. К обеду я уже был в родном Долгоруково. Мысленно перекрестился, что вернулся живым, до родной деревни В. Ломовец было идти 30 км.

По пути домой зашел в Керновский МТС, хотел встретить соседей, они были трактористами; их не было. Встретила меня двоюродная сестра, всплакнула от радости, угостила, и пошли мы с ней в В. Ломовец. Домой. Пришел домой неожиданно, т. к. меня не ожидали, я писал домой, что меня переводят в другой госпиталь; это для того, чтобы батя не тратился при моей встрече. Но как бы там ни было, а народ собрался. И за столом полно, и в хате полно. Да и как было не прийти, ведь у каждого кто-то был на фронте близких или около близких родных, хотя уже получили



Иосиф Михайлович Скрылев,  
отец Николая Иосифовича. Начало 1950-х

с фронта похоронки, а все равно не верили, надеялись на чудо, а вдруг кто-то его видел или слышал о нем что-то, а вдруг воскрес. Ведь было чудо, приходили и после похоронок, ведь шла бойня, да какая...

Батя посадил меня в святой угол, а рядом близких родных. Люди смотрели на меня с удивлением – уходил-то я пацаном, мне семнадцати не было, а вернулся взрослым, закоренелым, избитым с ног до головы, награжденным мужчиной.



Николай Иосифович у отцовского дома; рядом двоюродная сестра Нюся. Середина 1940-х

Награды-то были на виду, а раны под одеждой, только на лбу была видна свежая, но уже зажившая рана. Были на встрече у меня и четыре фронтовика, и, к великому моему удивлению, трое из них были ранены в руку. У меня тут же к ним зародилось недоверие.

Большинство народу, стоящих в нашей хате, были со слезами на глазах. Да было о чем думать людям глядя на меня, вернувшегося с этой бойни. А у них у кого похоронки лежат, у кого еще [близ-

кие] кипят в кровавой бане, добивая немца, и [они] с ужасом дожидаются, не дай бог, похоронка. А некоторые счастливы – хоть избит, изранен, а он дома, так что было о чем думать и ронять горькую слезу людям, глядевшим на меня, вернувшегося с ада. Но ад-то для меня еще был впереди...

С войны я прибыл в конце апреля 1945 г., т. е. под Победу. Как только разошлись гости, встречавшие меня, мы, оставшаяся одна наша семья, по предложению бати присели к столу, выпили по стопке, и пошли семейные разговоры. Батя стал рассказывать, как к ним уже без меня с юга чудом не дошел немец 8 км в 1943 г., а в 1941 г. с запада не дошел 25 км. В 1943 году они эвакуировались, вернулись, было растащено, главное, продукты, погреб пострадал. Я говорю: батя, не горюй, взяли-то наши, я тоже не святой, брал кое-что из съестного; и рассказал, как мы однажды ночью освободили деревню, мирных людей в ней не было, они от фашистов все в лес ушли, спасаясь от смерти. Была осень, да и область-то была наша, Орловская, она как-то тянется холстом, я в ней воевал полтора года. И вот наши ребята учуяли запах яблок, а найти никак не могут, и вот лазили до утра с фонариком по чердакам, а все-таки нашли, да там их и было-то с мешок, запах-то был, вот мы и искали. Тряпки нам были не нужны, мы не немцы, которые даже карандаши и игрушки детские брали и своим фрау отсылали. Это мы видели в их посылках, которые разбивали

для интереса при освобождении нашей родной земли.

На другой день моего прибытия с войны я пошел обходить свою многочисленную родню, так как только моих двоюродных братьев воевало 27, а всего более 40 человек. У матери было семь сестер<sup>50</sup>, у бати семь братьев и две сестры. Идя по своему родному Ломовцу, меня то и дело останавливали, зазывали в свои дома и спрашивали: не видел, не слыхал за моего или моих, как сам жив остался, ох и счастлив же твой отец, глянь-ка, сына с войны дождался. Такие вопросы удивления, разговоры всегда сопровождались слезами за своих близких, родных. Каждый старался хоть что-нибудь услышать, хоть словечко от человека, вернувшегося с войны, на которой еще жив их родный, пишет, а может, уже сложил свою головушку, а его ждут, ждут, и ждать будут чуда, а вдруг вернется.

Однажды по нашему селу Верхний Ломовец утром прокатилось долгожданное слово, слово радости и слез – «Победа». Потянулись люди к сельсовету, в центр села к церкви. Со всех сторон села слышны были рыдания и причитания женщин и детей, слезы стариков и старух. Вскоро слышались голоса подвыпивших моих односельчан. Кое-где прорезали утренний воздух голосистые гармошки, и все двигались к центру, пошел и я, но только без наград, что-то не было настроения. При-

---

<sup>50</sup> Имеется в виду, что мать росла в семье, где было 7 сестер (см. на с. 176: мать «имела 6 сестер, с нею 7»).

шли к церкви, где жили мои родные Буреломовы. Люди идут и идут, пьяные и трезвые, плачут. Смех и песни, идут однорукие и одноногие, пьют на ходу прямо из горлышка и целуются, целуются и поют. Гвалт людской стоит ужасный, гармошки, балалайки, пляска идет артелью, и в одиночку, и даже под сухую. Вернее, и пляс и стон со всех сторон, я такого в родном Ломовце не видел и, наверно, не увижу. Была долго, долго ожидаемая Победа.

Подходит ко мне мой товарищ и говорит: Николай, вон что-то твой отец бежит, а за ним в военной форме с подвязанной рукой человек, тоже бежит. Смотрю, мой батя, знать, узнав меня, стал, дождал этого военного, да как свистнул его с ног. Потом мой батя стал на колени перед церковью, трижды перекрестился, поднялся и идет ко мне. Вижу, отец в дым пьяный. Подошел ко мне и говорит: сынок, пошути с ним, перекажи его, но только не бей, а то убьешь. Смотрю, и тот военный поднялся и идет к нам и, не доходя, он остановился около народа, знать, меня не узнал. А я отца завел в дом Буреломовых. Военный спросил у людей, чей я есть, ему сказали, сын Осиков, только что пришел с войны. Смотрю, и он в дом к нам лезет, тоже пьяный, и подходит ко мне с возгласом: Коля; пришел и целует. Батя, видя это, отошел.

Этот военный тоже недавно пришел с войны, он был старше меня. Я уже еле стоял, схватил живот, ни сидеть, ни лежать, и я решил уйти домой от народа тайно, не замеченным. Но некото-

рые мои родные, заметив, что я заболел, пошли со мной. На огородах меня сломало, я лег, не сдерживая стога. Сообщили батю, он тут же пришел, хмель с него как ветром сдуло. Ползком, котма<sup>51</sup>, волоком, под руки, я еле это помню, но домой доставили, положили на пол, я стонал, орал, метался, не зная, что со мной, рвал с «души». В хате стоял сундук, был закрыт на замок. В порыве приступа попал мне под руку замок и вылетел с сундука, не помню как. Сосед мой всю ночь простоял надо мной со святыми чтениями, т. е. отчитывал. Вот как мне пришлось встретить первый день Победы. До больницы было 10 км, а как я узнал после, что у меня были послеоперационные скобки живота и мне нужен был только хирург, а до него надо было добираться 70 км в г. Елец. Три дня меня отхаживал батя как мог, на четвертый день встал.

Как я вам рассказывал, с войны прибыл в одежде старой (документ до сих пор цел), ботинки тут же выкинул, а в военкомат становиться на учет пошел пешком в чем прибыл с войны, только обут в чуни из веревок. Обува легкая, хорошая для крестьянина, но я-то военный. Шел я со своими односельчанами до военкомата (некоторые живы). В шинели, в шапке со звездой, с палочкой и в чунях обут, встречные смеялись. Зашел в военкомат, на меня посмотрели с удивлением все, но ничего не сказали, поставили на учет, приняли у меня выпи-

---

<sup>51</sup> О значении слова можно догадываться лишь по смысловому сопоставлению с рядом стоящими словами, поясняющими ситуацию.

ску из приказа, привезенную с фронта, о том, что я на фронте награжден орденом «Красная Звезда», но награду не получал, и пошел по остальным учреждениям, где я должен быть, в районе, всюду меня встречали с усмешкой, т. к. я был человек военный, а с ног побирушка.

Вернувшись домой, я пошел к товарищам, которые вернулись с войны по ранению, узнать, как они живут, чем занимаются. Походил я по ним, погоревал с ними, как жить дальше; оказалось, что большинство из них, чтоб не жить, а существовать, ездят по железной дороге и кое-чем перебрасываются, т. е. перепродовывают, а, вернее, спекулируют, их и звали спекулянты. Пришел домой, поговорили с батей и решили занять денег у дедушки Кузи и поехать испытать свое счастье, не ходить же голым. Взял у деда Кузи 900 рублей займа и со своими товарищами, у которых уже был опыт ездить, т. к. они раньше меня пришли с войны, поехал «спекулировать», только зря их так звали. Это были мученики, недомученные на фронте. Прибыли в Долгоруково, и мне ребята посоветовали ехать в г. Валуйки, купить семечек и привезти под Москву, а в Москву не пропускали, это так мне сказали товарищи. Ехать надо было чем хочешь, хоть на пассажирском на крыше, в тамбуре, между вагонами, а хоть на товарняках.

Выехали мы на товарняке в сторону Валук, доехали до Касторного, нас милиция разогнала, а меня как неопытного забрала, товарищей я своих

больше не видел. Меня привели в милицию, не одного, конечно, потребовали документ. У меня, кроме военных документов, не было никаких, а паспорта вообще не было. Проверили и говорят: ты что, только с войны? Я отвечаю: с госпиталя, одеться не во что, пустили голым. Велели отпустить, я опять на товарняк и дальше, язык довел меня до Валук. Купил семечек и в обратный путь, на Москву. Все товарняки и пассажирские поезда были забиты нашим братом, на крышах, конечно, в вагон не пускали. Не раз меня забирали, но, увидев в документе, что я только с фронта, отпускали.

Прибыл, т. е. добрался до станции Ожерелье, дальше ехать нельзя, Москва. Продал свои семечки, получилось неплохо, и долг отдам, и мне остается. Поехал обратно в Валуйки. С огромным трудом нашему брату доставались эти поездки. Погибали, падая с крыши, гибли между вагонами, при посадках и сходах, т. к., боясь милиции, старались сойти на ходу. Мне даже страшно вспоминать, как я, садясь на товарняк на ходу под ст. Ефремово, попал под поезд, чудом остались ноги, но палец мизинец отхватило. Кто-то сообщил в милицию, которая прибыла на машине, забрали меня на ст. Ефремово, перевязали и даже дали билет в пассажирский вагон до Долгоруково.

Однажды удалось пробиться в Москву, нашел своих родных, встретились, а у меня получился приступ живота у них, как раз на день Победы, лежал в первой городской больнице московской



Николай Иосифович после фронта с помощью отца выучился играть на гармони. Середина 1940-х

имени Пирогова. Через некоторое [время] прибыл к ним опять, и обратно приступ, лежал в Коломенской больнице. Родные стали меня бояться, как я к ним приезжал, а вдруг у меня опять будет приступ живота.

С большими трудностями и опасностями для жизни я проездил, т. е. «проспекулировал» лето 1945 г. Где только не снимали меня с поездов при приступе живота, где только я не лежал в больнице, и всюду в спасении моем участвовала милиция, она нас с поездов стоняла, но при

беде с человеком спасала. За лето моих поездок я немного отряхнулся, т. е. купил себе кое-чего из одежды, стало в чем выйти на люди. И даже купил гармошку. Я не умел играть, а батя играл с детства, но во время кулачества все растащили. Я, придя с войны, послушал, как ребята играют, и меня потянуло, а учиться не на чем. Сэкономил денег и попросил батю съездить в г. Елец и купить рояльную гармошку. Батя, я чувствовал, тоже желал, чтоб я играл, поехал и привез старенькую. Сам играл и мне объяснял, а я на ус мотал, и что же? Потянуло, заразила, увлекся, заиграл. Стали пьяные бабы плясать, а потом и трезвые.

Как стали девки матаню<sup>52</sup> бить, то уж меня кое-кто стали называть гармонист, и уже стали приглашать на свадьбу. У меня как-то получалось, как я у кого на свадьбе отыграю, т. е. женю, так эта пара ругаются, бранятся, но не расходятся, об этом по народу прошла молва. А кому охота из родителей, чтоб их дети разошлись, – пошли меня на свадьбу звать играть, хотя это самое последнее дело на свадьбе играть, но просят, и свои же люди. Уважал, играл. А одна женщина приходит ко мне и просит меня прийти на свадьбу, а я говорю: «Ты что, я уж по свадьбам не хожу, постарел». А она говорит: «Дядя Коля, ты меня замуж отдал, т. е. играл на свадьбе, и я с Васей прожила, не разошлась, а сейчас сына женю и хочу, чтоб он тоже

---

<sup>52</sup> Матаня – русская пляска по кругу с исполнением частушечных куплетов.

жил, не расходился». Пришлось уважить, и сын ее живет с женой. Как так получалось, я не колдун, но этим сам был доволен, что молодые не расходятся и свадьбы были веселые, шумные и без драк. И так я, играя, попал в телек «Играй, гармонь».

Дети, я вам рассказывал, как я в Москву от родных, заболев, попал в первую горбольницу им. Пирогова. Ко мне пришел профессор, внимательно выслушав меня о моем ранении, и посоветовал мне: «Больной, это у тебя образовались послеоперационные спайки, которые будут мучить тебя, пока когда-нибудь прихватит и не отпустит, и ты в страшных муках умрешь. Ты в Москве, давай я тебе их удалю, и ты будешь жить, а то тебе трудно придется, ох как трудно, и как тужить будешь, да будет поздно, давай сделаю, благодарить будешь». Я выслушал профессора, находился-то я от дома далеко, у родных, а был голод 1945 г., еще карточная система. Спайки меня отпустили, полегчало, и на авось не согласился, профессор, вздохнув, ушел. Ну а мне пришлось не в далеком будущем такое лихо хватить, таких мук, такой ад пройти, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот оно и авось. Она<sup>53</sup> не на одного сумку одела и в могилу опустила...

Как пришел с войны, сдал документ в военкомат о награждении меня на фронте орденом «Красная Звезда», но не успевши его там получить. Военком отослал мою выписку из приказа куда-то, и я

---

<sup>53</sup> Вероятно, судьба.

ничего об ордене не слышал до начала 1946 года. Первого февраля 1946 г. меня вызвал военком Долгоруково и посоветовал ехать в г. Орел за получением ордена. Подсоединил ко мне с Большой Боёвки Чуркина Павла; выдали нам документы, и поехали мы за орденами в г. Орел. В Орле нам вручили ордена, и мы 07.02.46 г. вечером прибыли в Долгоруково. Чуркин тут же уехал в Большую Боёвку, а мне до Ломовца 30 км надо добираться, а с кем? И тут же прихватил меня приступ живота, спайки. В Долгоруково знакомых никого не было. Знал, где в деревне Екатериновка живет наша ломовецкая женщина с дочерью. До нее надо идти 3 км. Один Бог знает, как я ползком, на четвереньках, согнутый в три погибели, а то и катаясь со стоном и рвотой, пробирался эти три километра ночного пути по снегу и холоду. Ни один человек мне не встретился и не обогнал. Вероятно, слышав эти стоны и мучительную рвоту, люди свиливали. К землячке дополз, она открыла, заплакала, заохала, но чем могла помочь, а я, валяясь и корчась на земляном полу, расспрашивал ее, как бы хотя до какого бы медика добраться; а зачем? Она мне сказала, что у них есть сельский фельдшер, и рассказала, как добраться. Я пополз, добрался, стучал, но на мои стоны, просьбы, мучения никто ни свет не зажег, ни дверь не открыл. Брехал и рвался на цепи один большой кобель, к счастью, не сорвался. Тем же путем и с такими [же] муками я вернулся к землячке и продолжал мучиться на

полу; у нее были козлята, вот они прыгали где хотели...

Ужасная ночь прошла, рассвело, боли не утихали. Вдруг в хату вваливается военный и видит – я на полу валяюсь, стоною и рвусь с «души», а по мне прыгают козлята. Он подошел ко мне, нагнулся и спрашивает: «Скрылев, что с тобой?» Я лежа отвечаю, т. к. встать не мог: «Ранение в живот сказывается». Я достал документы и орден с г. Орла, подал их военному, он проверил, вернул их мне, сказав: «Прибери подальше». Попросив хозяйку понаблюдать за мной, ушел, пообещав вскорости вернуться. Сам не пришел, а прислал женщину с подводой, чтоб отправить меня в меньшеколоденскую<sup>54</sup> больницу. Я был рад, но боли мучили. Кто сказал военному, я до сих пор не знаю. Наверное, хозяйка, т. к. в Екатериновке был военкомат. До саней, т. е. до подводы, дополз сам, лег на солому, меня чем-то прикрыли и повезли в больницу. Возчика я так и не видел. Привезла, сгрузила в палату, боли, т. е. мучения, не прекращались. Пришел врач, Мария Петровна, я ее знаю, она мне не раз делала комиссию ВТЭК. Пришла, села возле меня, все подробно расспросила, я сказал ей, что это у меня приступ, после ранения не первый раз, проходил. Рассказал о московском профессоре, как он предлагал мне операцию сделать. Врач выслушала, ну а чем она мне могла помочь, меня нужно было только

---

<sup>54</sup> В селе Меньшой Колодезь.

резать, а хирургия в г. Ельце, это 70 км, и врач, как и я, решила, ждать пока пройдет. У меня недалеко от меньшеколоденской больницы жили родные, которые, узнав о моем несчастье, стали меня часто проводывать, а отцу сообщить было невозможно, телефона не было, а пешком до Ломовца 10 километров. И ни дороги, ни тропинки нет, все замело снегом, и мороз.

Лежу день, второй, третий, болезнь не отступает. Рвота, ужасные боли, стоны да крики мои наполняют стены больницы. Пришла меня проведать моя двоюродная сестра Катя. Врач ей говорит: любой ценой надо сообщить моему отцу, что меня надо везти в г. Елец, к хирургу, иначе умрет. Сестра решила через занесенные снегом леса и поля, в мороз, пробраться в наш Ломовец и сообщить бате. Переделалась, пошла, долезла, т. е. дошла, сообщила бате. Отец взял в колхозе лошадь, положил соломы, дома взял всякого старья и даже овчины, чтоб меня укрыть от холода, т. е. не заморозить, и приехал в больницу, где я уже промучился 8 суток. Так как я был в очень плохом состоянии, врач Мария Петровна меня отправлять не стала, чтоб не отвечать, заболела. Отправлял ее помощник. Дали сопровождающую медсестру, звали ее Маруся. Батя положил меня на сани, укутал тряпьем и овчинами от мороза, тронулись в путь на 70 км до Елецкой горбольницы.

Как ехали, где ехали, я не видел, да и дорога на Елец эта была незнакома мне. Видел я, когда меня

выводили из больницы, худую колхозную послевоенную лошадь и, в стороне стоявшую, унылую мою сопровождающую медсестру Марусю, которую я больше никогда не видел. Двигались дальше. Батя то и дело проверял на мне мое утепление, разговоров не было. Подошел вечер, стало темно. Батя несколько раз сверялся у встречных и в деревнях правильность на Елец. Слышу, медсестра говорит батю: дядь, давай попросимся ночевать у кого-либо, ведь страшно, и заблудиться можно, дорогу-то переметает; а сама, слышу, плачет. Батя, ничего не говоря мне о просьбе Маруси, говорит мне: сынок, а что если попроситься переночевать. Я чувствую, что вот-вот умру, т. к. боли не прекращаются, мучаюсь, стоною, и ночлег не разрешил. Отец больше не уговаривал. Мне-то было все равно, а они-то живые-здоровые, и лошадь, им жить надо, но я тогда об этом не думал. Да ведь и я-то тоже жить хотел...

Отец двигался большинство впереди лошади, чтоб не сбиться с дороги. Подойдет ко мне, проверит мою упаковку на мне, чтоб не замерз, и опять вперед. И вдруг слышу, отец говорит: волки; и стал бить по оглоблям палкой, орать, в ведро бить, которое наверное брал, чтоб лошадь кормить. Помню, я решил сам с собой, что если накинутся, то хоть одного, но на себе обеими руками удавлю. Маруся вслух плакала, но не кричала, один отец кричал, свистел, бил в ведро, а я ждал схватки...

А какая, дорогие дети, от меня могла быть схватка. Но ведь я был жив и поэтому так думал,

у меня даже кажется болезнь куда-то делась на это время. Но батя в этой ночной встрече с волками вел себя обдуманно и по-солдатски. Волки вышли из леса и стали на дороге, по которой нам край<sup>55</sup> ехать. Отец шумел, кричал, бил в ведро, но все время продвигался вперед на волков, т. е. наступал, не давая понять волкам, что он растерялся, стал. Волки ушли с дороги. Отступили. Это он мне рассказывал далеко после этого, когда я выжил. Очередной раз проверяя мою упаковку в саях от мороза, батя сказал: ну, сынок, терпи, показался Елец, значит едем правильно, и начало рассветать, слава богу, ночь проходит. Когда уже рассвело, наша мученица коняшка подвезла нас к елецкой горбольнице, к великой радости нашей, в особенности Маруси. Раздевая меня в саях, отец беспокоился за мои ноги – не отмерзли ли. Было еще рано, врачей не было, нас принимали дежурившие в ночь медсестра и санитары.

Когда заводили меня в больницу, отец был рад, что довез меня, и, крестясь, благодарил Бога, что и ноги были не отморожены. Но боли и мучения были те же, т. е. эти были цветики, а ягодки впереди. Как только меня больница приняла, моя медсестра тут же убежала на вокзал пешей. Транспорт никакой до вокзала и по городу не ходил. Батя, покормив коня, тут же выехал в обратный

---

<sup>55</sup> Обязательно.

путь, чтоб завидно<sup>56</sup> добраться, лошадь отогнать и обратно вернуться в больницу. Меня положили в больницу, где лежало 46 человек, кто доходил, а кто по палате бегал. Больница не топилась, лежали каждый под своими одеялами, т. е. своим тряпьем. Было 16 февраля 1946 года, утро. Пришла старшая сестра, взяла у меня вещи, документы и орден «Красная Звезда». Прибыл на работу главный врач больницы Иван Дмитриевич Борисов; расспросив и проверив меня при обходе, сказал мне – операция. Я ответил: делайте что хотите скорее; и попросил спасти жизнь. Врач с кем-то только [что] поругался и грубо ответил: это не вязанку дров нарубить; и ушел. После обеда за мной приехали на коляске, везти на операцию. Положили на коляску, повезли, в коридоре стояло много людей в белых халатах, молодых, и вдруг раздаются два девичьих голоса: Коля, ты зачем сюда? Оказалось, эти девочки мои земляки с Ломовца Верхнего, они учились в Елецкой медшколе. Они же меня словами добрыми провожали, когда я уезжал в г. Орел за орденом, а увидели в Елецкой горбольнице, ехавшего на операционный стол. Врач Иван Дмитриевич поставил вокруг моего операционного стола 18 человек учеников из медшколы, стал делать мне операцию и им объяснять, что у меня не так в животе.

Очнулся я на койке в палате, возле меня стояли, сдерживая слезы, эти две девочки, Шура

---

<sup>56</sup> Засветло.

и Ньюра, и обе свои. Одна племянница моей мачехи, а вторая сестра двоюродная моей невесты. Подежурив около меня, сделали что надо, сказались старшей сестре и мне, ушли на квартиру. Через день приехал отец с продуктами, главное, со сметаной и яйцами, сказал, что меня дома поминали за упокой, прошел слух, что дорогой я умер. Был около меня отец, и каждый день проводывали мои девочки. Дело вроде пошло на поправку, и батя уговорил меня, чтоб я его отпустил домой, т. к. дел много, и я согласился.

Как отец уехал, я без него пробыл с неделю, и вдруг у меня открылись те же боли, стоны, рвота, опять спайки. За мои мучения слух прошел по всей больнице, что мучается человек. У нашей старшей сестры Шуры Богатовой лежал дома больной брат, бывший хирург Богатов Тимофей Васильевич; услышал от своей сестры, что в больнице мучается человек, не раз резанный. Однажды старшая сестра Шура подходит к моей койке с мужчиной и объяснила мне, что это ее брат, хирург, пришел поинтересоваться мной и поговорить, сама ушла. Он все у меня расспросил, посочувствовал, что не был при первой моей операции, и ушел.

Я продолжал мучиться. Подходит ко мне при обходе мой хирург Иван Дмитриевич – я мучаюсь и тянет меня на рвоту, я сказал ему. Он говорит: если тянет, рвись, и ушел, я стал рваться и вдруг чую, у меня что-то лопнуло на животе под повязкой, которая тут же стала мокрой и красной. От

боли и страха я заорал. Прибежали медсестры, подошел хирург Иван Дмитриевич. Посмотрел, сказал: лопнули швы на животе, в операционную. Когда у меня разбинтовали живот, я ужаснулся, увидев на животе кровавое месиво. Мои девочки Шура и Нюра все это видели. В операционной забегали, засуетились, я понял, что готовят к операции. Студентов с медшколы никого нет. Медсестры обрабатывают живот, что-то кипит, звякают железки, мой хирург, что меня резал, стоит наблюдает за обработкой моего живота. Бывший главный хирург этой больницы Богатов Т. В. сидит, склонив голову; он же болеет и из дома пришел добровольно, по велению сердца, услышав о таком страшном больном, появившемся в его бывшей больнице, т. е. [обо] мне. А третий хирург, по имени Писаревский, был приглашен как свидетель. Это если не выдержу операцию и умру под ножом, легче было меня списать, он все время ходил по операционному кабинету, все молчал. Я стал упрашивать их, чтобы спасли мне жизнь. Писаревский подходит ко мне и говорит: больной, мы тебя привезли не резать, а спасти. В это время подошла медсестра, накрыла мне марлей лицо, похужело дышать, зазвенело в голове, и куда-то покатилась голова. Рассказывали товарищи по палате, а нас было 46 человек в ней: «Мы тебя ждали с операции всей палатой, но дождались только четыре человека, т. к. играли в карты, а за тебя решили, что ты умер и тебя унесли в мертвецкую. И вдруг в четыре

часа к нам в палату заходит Богатов Т. В., рукава засучены, и просит закурить. Мы дали и спрашиваем: Скрылев жив? Он махнул рукой, ответил: да, пока жив, и быстро ушел, а потом и тебя привезли». Девочки, мои землячки, как только меня оперировали, уехали домой, зашли к моему отцу и все, что видели, ему рассказали. Вернулись в школу и пришли ко мне. Мне ни пить, ни есть нельзя, на фронте поили через шприц, кормили капельницей, наподобие грелки подвешат, а здесь никак. Колят уколы, а что, не знаю. Девочки ко мне ходили, и одна около меня, а другая в коридоре, и так по очереди. Оказалось, что они в коридор выходили по очереди, чтобы плакать, а которая около меня, стоит без слез, чтоб меня не тревожить. Они ни в чем не стеснялись, хотя были мы ровесники, делали все, что мне требовалось помочь; они здоровые, а я доходил, да они и учились на медиков. Шура и Нюра ходили к главврачу, назывались своей кровью дать мне не раз.

Отцу было 60 лет, пошел и он к главврачу, назвался кровью. Хирург спрашивает, какая у вас группа крови, а батя говорит: так я же отец его, при чем тут группа. Проверили кровь отца и мою, оказалось, у нас первая у обоих. В назначенное время отца вызвали, чтобы взять кровь, он мне сказался и ушел. Через некоторое время вернулся, заметно побледневший и ослабший, и тут же меня на тележку положили и повезли, чтоб мне влить отцову кровь. Перелили и привезли на свою койку.

Отец спал на соседней свободной койке крепким сном. Меня начало трясти как в лихорадке, медсестры мне говорили, что это прививается кровь отца к моей крови, какая-то реакция происходит.

Батя проснулся, видит возле меня медсестер, встревожился. Ему сестра объяснила то, что и мне, я спросил у отца: тебе плохо, бать; а он говорит: ты что, сынок, мне хорошо, это я уснул немножко, ты сам, сынок, держись, а я здоровый и уже встал; и стоит возле меня, как и раньше стоял, и день и ночь. Если есть свободная койка, он подвигает ее к моей и ложится отдохнуть, а когда он мне понадобится, я его пальцами за пиджак шубный корябаю, в котором он был одет, если не было койки, то он ложился рядом с моей койкой на цементный пол так, чтобы я его доставал рукой корябать, т. е. будить. Звать я уже не мог, говорил с ним только шепотом, я так ослаб, что не мог сам под легким одеялом согнуть и разогнуть ноги, без помощи бати. Когда их мне батя согнет, то они распадались в разные стороны, держать я их не мог, сил не было, так батя ухитрился их связывать бинтом или провололочкой поверх одеяла и они стояли с горем пополам. Вот как мой батя переживал из-за меня. Через Гитлера собаку. В животе так горело и пить так хотелось, что я все ручьи и колодцы, которые помнил, повспоминал. Батя ваты намочит в воде, понакладет мне на головку койки, а я их беру по очереди в рот, мажу губы, вата согреется, я ее опять на головку койки кладу для охлаждения;

в комнате, т. е. палате, холод, больница-то не топи-  
лась. Чтоб достать стакан воды горячей, надо мед-  
сестру уговаривать, чтобы она на электроплитке  
согрела.

Кровь моя с отцовою очень долго соединялась,  
а однажды утром при хорошей памяти я вижу,  
батьа подержал меня за нос, за уши, а потом стал  
на колени и горько заплакал, говоря: прости меня  
сынок, ты нас дождешь, а мы тебя никогда. Он  
видит, что нос, уши холодные, пульса нет, и заживо  
стал прощаться со мной, а я-то все вижу и слышу;  
подходит к нам нянечка и говорит бате: отец, что  
ты так убиваешься, у людей на фронте погибли,  
а твой тут умрет. Я, хотя тихо, но сказал ей: уйди  
отсюда, ты о смерти говоришь, я умирать не буду.  
Она вздрогнула, говорит: нет, нет, нет, больной;  
и ушла. Я вижу, что вот-вот умру, а пить хочу  
ужасно, и думаю, что умру и там буду пить хотеть.  
Шепнул бате: дай напиться. Отец понял, что я не  
ваты влажной прошу, а пить напоследок. Достает  
из-под койки пустую бутылку, из-под красного, что  
он выпил, смотрит, там немного стеклось, нали-  
вает половину ложки железной и говорит: пей,  
сынок; вылил ее мне в рот. Я глотнул, она дошла до  
горла и пропала, т. е. попитала, и знаете, дорогие  
дети, я сделался пьяный, уснул. Отец опять меня  
за нос и уши потрогал, налили еще пол-ложки,  
разбудил меня за нос или уши и говорит: пей еще.  
Я выпил и так до обхода врачей он мне четыре раза  
поднес, т. к. у меня стал прослушиваться пульс.

На обходе ко мне пришел Т. В. Богатов. Батя ему все подробно рассказал. Богатов сказал отцу: молодец, старик, купи бутылку рябинной и давай ему по ложке вина через каждые четыре часа. А воды я еще не глотал ни разу. Вот так я по инициативе бати стал цепляться за жизнь с рябинного вина.

Однажды отец идет с рынка по коридору больницы ко мне в палату, стоят три хирурга, что меня резали. Отец поклонялся им и завел разговор о моем здоровье, они посоветовали ему кое-что, а потом говорят: знаешь, старик, мы тебе советуем, береги себя, а сыну твоему все равно (это мне батя сказал, когда я вышел из больницы).

Я лежал в нашей палате у дверей и вижу, входит хирург Богатов, подходит ко мне и спрашивает: откуда ты взялся с такой болезнью. Я удивленно отвечаю: с фронта, я разведчик; он удивился, говорит: так это ты воевал? Отвечаю: под Победу пришел, а это я ездил в г. Орел за орденом, на фронте не успел получить. Орден у старшей сестры. Он сказал: так-так; и в задумчивости ушел. Я понял, что хирурги не знали, кого резали и кого спасали. Через некоторое время, час или два, приходят люди в белых халатах, освободили место у окна и осторожно перенесли меня туда на более удобное место. Я понял, что это помогла мне война, будь она проклята.

Так как наша палата была на 46–48 человек, то и больные в ней лежали разные, т. е. тяжелые и легкие. Некоторым скоро умирать, а некоторые

еще потянут, и кому когда умирать, определяли сами больные нашей палаты.

Помню, больные назначили умереть одного пацана, и что же, умер. Вскорости еще один молодой человек заплакал, заохал, его назначили, скоро он умер. Недалеко от меня лежал старичок, больные решили, что теперь он умрет, а решали вслух, в открытую, так что и больной все слышал и знает, что ему умирать. Вот и деда унесли, умер.

Однажды под вечер слышу голос одного больного нашей палаты, который громко говорит: ну, а кому следующему у нас умирать? С другой стороны палаты отвечают: а вот тот в дверях, что черный волос у него, теперь настал черед его. Я думаю – вот и моя очередь пришла... Наутро, как только ушел батя на рынок, ко мне пришли мои девочки Нюра и Шура, справились у меня о моем здоровье, мне кое-чего рассказывают не умолкая и видят – по моим волосам, которые были черные, аж сизые вши ходят пешком, да такие толстые, как будто специально кормленные. И одна другой говорит: ну когда их тут перебеешь, давай вымоем ему голову, а вшей вычешем в воду. Не спрашивая моего согласия, достали где-то воды теплой (с тех пор как в больнице узнали, что я фронтовик, разведчик, относиться стали по-другому), приступили мыть мне голову и вычесывать в воду вшей, т. к. бить их было некогда, не перебеешь. Вскорости пришел мой батя, очень был доволен и благодарил девочек, а больные, как только девочки

ушли, долго и настойчиво расспрашивали меня, которая из них моя невеста. Услышав, что никакая, они не верили, говоря: а почему же они по очереди в коридоре от тебя так плачут? Да потому, говорю, что они знают, какой я израненный пришел с войны, а у Нюры пришел с войны брат, весь избит и дома умер.

Вскорости после того, как мне разрешил хирург Богатов пить по ложке вина через 4 часа, этот же хирург велел бате купить куренка, сварить, мясо самому поест, а мне по ложечке через каждые 2 часа давать бульон, а через 2-3 дня велел отцу через 1 час ложку бульона давать, а потом яйцо одно всмятку, и сказал бате: если желудок будет принимать, давать яйца сырые. Только что было начал кое-чего кушать, как появилась краснота, а потом стрельба под левым ухом, опять стоим. Пришел хирург И. Д. Борисов (хирург Богатов, как только я стал кое-что кушать, слег в постель в своей квартире) и говорит бате: ну все напасти пошли на твоего сына, завтра на операцию.

Утром положили на тележку и повезли в ту же операционную, на тот же стол. Сделали под ухом операцию, привезли на место, а на второй день так же заболело и под правым ухом, опять на операционный стол и под правым ухом разрезали. Проходит день, два, под левым ухом опять «застреляло». Опять в операционную, разбинтовали, вынули из под обоих уш фитили, которые набивали туда, чтобы гной через них сходил, промыли раны, и я

думаю, что сейчас уколы обезболивающие сделает и будет резать. А хирург берет ножницы, подходит да как резанет раз-другой без уколов. Знаете, дети, если б я был в силе, я бы хирурга двинул как и где попало, а то только вскрикнул, а хирург Борисов говорит: ничего, ничего, уже привык. Забинтовали, привезли в палату, а тут еще мой сосед по койке сказал мне, что у него мать умерла от этой болезни. Ну, думаю, опять на очередь смерти поставят. Пришли девочки и ахнули, не узнав меня, т. е. мою голову, лицо так разнесло и в бинтах. Нюра говорит: я рада, что Варю (это ее младшая сестра, вместе с ней училась) не взяла, она так просилась Колю посмотреть.

Как-то мой батя ушел в город на рынок, а мне сказал: как подойдет время, выпей ложку вина из горла, наугад, и съешь мерзлое яблоко талое. Я это выполнил, и оба с батей перепугались, т. к. заболел живот, наверное, вина перехватил. Об этом узнал Борисов и погонял меня, а налить ложку я не мог лежа. Пришли ко мне мои девочки, а около меня врач старается сделать мне укол в вену для поддержания сердца и никак не попадет. Взясась Нюра и тоже не попала в вену, разрежали кожу, достали вену, но все же ввели сердечный укол и так делали несколько раз в обе руки. Швы в руках и под ушами до сих пор видимы, т. е. целы. Как и всем, мне стали приносить из столовой завтрак, обед, ужин, ставили его на табуретку, а я лежа на койке доставал ложкой и ел.

Вдруг скрипнула дверь входная, я взглянул на нее, каждый ожидал: не к нему [ли] кто пришел. Вижу, входит старшая сестра и с ней под руку ее брат хирург Богатов Т. В. Она стала и показывает рукой на меня, вот он, – и ушла. Богатов с палочкой тихо подходит ко мне, говорит: здравствуй, ну, как ты? Я отвечаю: благодаря вам, вот видите, есть потихоньку начал; а палата вся замерла, муха лети, слышно будет. Он говорит: ты, Скрылев, из мертвых воскрес, а я вот пришел с тобой проститься, уезжаю в Москву, лечиться, меня замучил туберкулез позвоночника. На мои вопросы, как мне дальше жить, он дал мне ряд полезных советов. Подошла его сестра Шура, взяла его под руку, он взглянул на меня, кивнул головой на прощание в последний раз, пошли потихоньку к дверям, у меня выступили слезы, палата молчала. Как только закрылась дверь за ними, палата ожила, продолжали обедать. Немного погодя пришел из города батя, сказал, что в коридоре встретился с Богатовым Т. В., он с батей за ручку поздоровался, сказал: ну, дед, благодаря богатырскому здоровью у твоего сына и твоим стараниям, он выжил. И вашим тоже, сказал отец, спасибо. Пожал бате руку, они пошли с сестрой. Я рассказал, как он у меня был, и очень тужил, что я со стула не убрал тарелку к себе на грудь и не посадил его, а руку он мне не подал, наверное, потому, что моя рука была занята ложкой.

Вот, дети, какие люди есть на свете, сам умираю, слышал, что человек умирает, через силу

встал, спас жизнь человеку, т. е. мне, и поехал умирать от своей болезни и умер. Царство ему небесное, но похоронен не знаю где. А Борисов И. Д. умер в 1957 году, с ним встречался и даже по 100 г выпил. Он очень много мне рассказал за мои операции, они не думали, что я выживу. Он похоронен возле кладбищенской церкви в Ельце.

После этого стал я потихоньку поправляться, сам подниматься с костылями, привыкать ходить. Из окна палаты стал смотреть на город, на людей, всегда куда-то спешащих. Рядом с больницей стояла тюрьма, видны были окна, но в них никого не увидишь. Недалеко было кладбище с церковью, где меня батя схоронил бы, если я б не выжил. В окно мне всё показывали и рассказывали мои товарищи по палате, которые меня ставили на очередь смерти. Батя, который возле меня промучился больше месяца, по нашему согласию уехал домой, т. к. весна и вскорости наступит Пасха, шел Великий пост. По суете народа было видно, что подходит великий христианский праздник Христова Воскресенье.

Ко мне стали часто подходить совершенно незнакомые мне люди и сверяться о моем здоровье; но они работали в больнице и дома рассказывали о моих мучениях, так вот, как они приходят с работы, их семьянины спрашивали: ну что, тот мученик жив еще? Вот они со мной говорили, чтобы дома домочадцам рассказать об этом.

Я очень доволен, дорогие дети, что в эти светлые дни нашего праздника я когда-то становился

на ноги в елецкой больнице, а в настоящее время заканчиваю свой печальный рассказ о своих переживаниях в одни и те же дни, т. е. перед великим праздником Христова Воскресенье, только через 47 лет. Жаль, что батя умер. Царство ему небесное. Сколько было б слез и Бога благодарности с нашей с ним стороны. Только мы с ним это помним, а батя помучился и пережил далеко больше.

Хирург Борисов И. Д. при обходе больных спросил меня: ну что, Скрылев, на Пасху домой хочешь? Я говорю: неужели пустите? Он отвечает, если у тебя здоровье не изменится, отпущу, пиши отцу (он был верующим). Я с радостью написал бате об этом, и он под Великий день прислал за мной моего двоюродного брата, тоже Скрылева, Николая. Документы на меня уже подписаны главврачом Борисовым И. Д., и мы с братом пошли на вокзал пешком, т. к. больше не на чем. Живот у меня был забинтован, дошли, народу полно, ни за билетами, ни на посадку не пролезть. Мы пошли прямо на посадку, чую, что люди от меня сторонятся, т. е. дают дорогу, даже проводник посмотрел на меня, ничего не сказал, а посторонился; я пролез в вагон, стал, смотрю, один человек со второй полки, увидев меня, слез и сказал: пожалуйста; помог мне залезть на его полку. Вижу идет проводник и ревизор, проводники говорят, ревизору показывая на меня: а это какой-то партизан; прошли. После я понял, почему меня сторонились, – я был похож на смерть.

Да, дочушки, я вам не сказал, что я, идя по Ельцу на вокзал с братом, встретился со своими девочками Шурой и Нюрой; они так обрадовались, увидев меня на улице города, и узнав, что я еду домой, прослезились. Ну как бы там ни было, я в вагоне, брат на крыше, мы доехали до Долгоруково. Попалась лошадь, я ехал, а брат шел в Ломовец. Вот и прибыл я с Орла с орденом в свой родной дом, к батюшке. Хуже, чем с войны.

На второй день чуть свет пришел брат Николай, что привез меня с Ельца, мы сели разговляться, встречать великий день Христова Воскресенья. Разговорились, вышли на улицу, еще рано, а уж со всех сторон слышны голосистые гармошки, девичьи страдания, матаня, барыня и чудесные присказки и под гармонь.

Мы пришли к центру села Верхний Ломовец. Ко мне подходят все, кто меня знает, как к воскресшему, удивляются, родные целуют, спрашивают, как все это было, как я выжил, ведь дважды поминали за упокой. Но никто не звал выпить в честь великого дня, даже товарищи, инвалиды ВОВ. Видя, что я стою одна душа в теле, т. е. чуть живой. Увидал я и вашу будущую матушку, т. е. невесту, при встрече всплакнула. Праздник продолжался, да и я как воскрес, а фактически так оно и было. Почему-то у меня стала чесаться голова и стал при причесывании выпадать волос, и с каждым днем все больше и больше, а то, что щепоткой возьмешь, то и выдернешь, не больно. Мне

мой брат сказал двоюродный, что тебе надо голову обрить. Это у тебя волос лезет от тяжелой болезни.

Как-то к нам в лес приехали цыгане и стали табором, к ним стали ходить люди. Мы, молодые ребята, собрались и тоже пошли их проведать. Я цыганей уважал с детства, да и меня дразнили цыганом. Пришли мы к ним, цыгане стали нам фокусы показывать, цыганки подошли гадать, уговаривают, но и мы с ними шутим. И говорю им: кто из вас вот сделает так; а потом я снимаю с головы фуражку и говорю им: кто из вас вот делает так. беру щепоткой на своей голове и держу виски клоками; они по-своему залопотали, а один старый цыган подошел ко мне, спросил: что с тобой? Я сказал, что от ранения, показал ему забинтованный живот. Он покачал головой, ушел. Мы еще пошутили с цыганами. Они стали собираться в путь, а мы пошли в весенний пасхальный лес, где все возродилось к жизни. Пели птицы, суетились с постройкой своих гнезд, т. е. домиков, птицы, где будет расти их потомство. Весело и радостно зеленела травка, вернее, возрождалась жизнь, а вместе с ней и я, вчерашний покойник, стоявший на очереди на тот свет. Но люди, настоящие русские люди, Богатов Тимофей Васильевич, Борисов Иван Дмитриевич и батенька мой, не допустили, чтобы я ушел из жизни. Царство им небесное, главный низкий поклон я отдаю Бате. Только он верил в мое выздоровление и победил, не считаясь ни с какими мучениями, за которые,

дорогие дети, я вам уже рассказывал. Весь огонь смертельной беды, обрушившийся на меня, батя принял на себя. Вечная ему память.

При первой же комиссии после двух елецких операций мне ВТЭК предписал носить бандаж на животе, т. к. рубец послеоперационный был и есть очень широкий и [для] жизни опасный. В 1946 году я его получил в г. Орле. Брат двоюродный Митрофан выползавший волос с меня сбрил, вырос новый. Была весна 1946 года, а воевавшие товарищи еще прибывали с фронта. Прибыл и наш ломовецкий полный кавалер Славы Жданов Петр Тимофеевич и привез с собой оружие.

Однажды вечером на улице, где было много народа, он стал некоторым оружием угрожать на мое замечание – Жданов резко развернулся и направил на меня немецкий парабел<sup>57</sup>, крикнул: уходи, застрелю. Забыв, что я забинтован и еле стою, увидев парабел, с которым я воевал, кинулся на него и с помощью брата обезоружил этого кавалера, а тем самым [спас] и народ от опасности. Как я это сделал, до сих пор удивляюсь, знать, фронтовая выучка помогла, т. к. я за чужой спиной не прятался, а лез вперед. После были случаи и ножи и топоры изымать, но все удачно, без крови.

Ну вот, мои «сыночки» дочушки, я выполнил и вам свое обещание, рассказал о своих стежках-дорожках, главное, до конца этой страшной

---

<sup>57</sup> Парабеллум.

трижды проклятой, кровавой войны, развязанной проклятым Гитлером. Но главное, мы победили. Как предсказал нам в начале войны наш великий И. В. Сталин. Запад узнал, что мы за русские советские люди, да и своим потомкам есть что сказать – то, что «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Прав наш великий воин Александр Невский.

Очень доволен я, дорогие дети, тем, что отставать мне пришлось свою жизнь со своим батей в 1946 году, в Пасхальные дни, и заканчиваю свой откровенный, честный и справедливый письменный рассказ тоже в Пасхальные дни, но только 1993 года. Ну что же, я от души рад, что выполнил свое обещание вам. И как-то полегчало.

Ваш батя

## Родные о Николае Иосифовиче Скрылеве

**Валентина Николаевна Швырева,**

дочь Николая Иосифовича

**Сергей Александрович Швырев,**

внук Николая Иосифовича

Спасибо хирургам, чудом вытащившим всего изрешеченного Николая Иосифовича с того света, а еще спасибо его могучему организму и отцу, Иосифу Михайловичу, который все сделал ради спасения сына. Когда девятнадцатилетнего инвалида войны выписали из больницы и он вернулся в родной Верхний Ломовец, односельчане диву давались – мертвец да и только. Но поправился, окреп, постепенно втянулся в работу. Музыкальность у Скрылевых в крови, так что Николай Иосифович со своей гармонью был нарасхват. Женился он в 1947 году на Марии Егорьевне Ждановой. По ней война тоже страшно ударила – оккупанты угнали ее в Германию, откуда она вернулась едва живой.

Иосиф Михайлович отделил сына, молодожены завели хозяйство, корову, сразу пошли дети – тогда в деревне у всех так было заведено. Жили скудно, инвалидная пенсия крошечная, колхоз хромал на обе ноги, выживали за счет приусадебного участка. Николай Иосифович любил заниматься садом, и на его счастье рядом с районным центром Долгоруково был организован плодородческий совхоз. Переехали туда в 1951 году, на новом месте строились с нуля; сначала слепили мазанку и стали обжигаться. Две маленькие дочки не могли взять в толк, зачем



Николай Иосифович с женой Марией Егорьевной в своем саду. Долгоруково, 1950-е

их из Верхнего Ломовца перевезли на это голое место. Отец был краток: «Не хочу, чтобы вы загорали на свекле».

Голое место со временем превратилось в большой ухоженный сад, в него Николай Иосифович вложил всю душу, и сегодня там плодоносят старые яблони и груши, к которым привито по два-три сорта.

Одна за другой рождались дочки. Время голодное, отцу, как инвалиду войны, удавалось старшую, у которой были слабые легкие, определять на несколько месяцев в санаторий, а остальных – в лесную школу, там их хотя



Николай Иосифович со старшей дочкой Вале́й.  
Начало 1950-х

бы нормально кормили. Помогать по хозяйству дети были приучены с малых лет – Николай Иосифович был достаточно требовательным, но мелочами дочерей не допекал. Учил не бегать с жалобами к родителям: «Человек должен уметь постоять за себя». Самому ему в школу ходить пришлось недолго, но к знанию, учению он имел большую охоту, поэтому за успеваемостью детей следил. Сам придумывал им арифметические задачки, причем вполне практические: «На станции пассажир за три стакана крыжовника по 20 копеек и четыре стакана малины по 30 дал вам пятирублевую бумажку. Сколько сдачи ему причитается?»

Все девочки выучились, окончили техникумы, а старшая – пединститут. Постепенно семья становилась на ноги; кроме трудолюбия была у Николая Иосифовича и коммерческая жилка. Построил большую сушильную и возил в Елец на рынок сухофрукты, держали корову, овец, кабанчика, много птицы, разводили кроликов, в саду стояли двадцать ульев. Дом Скрылев перестраивал своими руками дважды, последняя, седьмая дочь росла уже в большом каменном доме, у них у первых в районе появилась стиральная машина.

В совхозе Николай Иосифович проработал многие годы, пока здоровье позволяло. Даже зимой приходилось заниматься садом – отстреливать зайцев, которые объедали кору фруктовых деревьев. В совхозе, да и во всем Долгорукове лучшего, чем Скрылев, гармониста не было. Дома часто по вечерам отец играл, а девочки пели, их то и дело приглашали где-нибудь выступить. Одна из сестер, Татьяна, вслед за отцом выучилась играть на гармонии. Ни одна свадьба, юбилей в Долгорукове не обходились без Николая Иосифовича. Он никому не отказывал и никогда за свою игру денег не брал. Дочери выходили замуж, а в 1985 году дом его совсем опустел – умерла, не дожив до шестидесяти, жена. Зимой он навещал детей, но подолгу не оставался, возвращался домой, к своему хозяйству. Внуки его интересовали больше, чем внучки, растил-то он одних девочек. Старшего внука особенно выделял. Когда Сергей после армии заехал к деду, тот провел его по всему селу – полюбуйтесь, какие у нас в роду Буреломы.

Мысль засесть за воспоминания Николая Иосифовича не оставляла, но руки до этого не доходили. Дело не



Дочери в отцовском саду, нет только старшей, Вали.  
Слева направо стоят: Таня, Вера, Оля, Наташа;  
сидят: Надя, Люба с сыном Веры Андрюшей.  
*Фотографировал Николай Иосифович. 1980-е*

сдвинулось бы с мертвой точки, если бы за него не взялась Нина Александровна Панова, которая жила на соседней улице. У нее на фронте погибли отец и трое родных дядьев, и она считала своим долгом сохранить для будущих поколений память о погибших и выживших. Она печаталась в районных газетах, главные же ее труды – воспоминания «Дитя войны» и «Не без вести пропавшие» – хранятся в музее села Долгоруково. Нина Александровна всю жизнь проработала библиотекарем и понимала, что самому Николаю Иосифовичу, много



Николай Иосифович. 1980-е

читающему, но мало учившемуся, трудно перевести на бумагу то, что хранит его память. И она при встречах стала убеждать чудом выжившего фронтовика, что рассказать о пережитом его долг и что с ее помощью он с этим справится. Решился Николай Иосифович не сразу, но дело пошло – заполнит несколько листов, передаст Нине Александровне, а она их приведет в порядок и включит в единое повествование. Случались и перерывы. Нина Александровна вспоминает, как, встретив Скрылева в магазине, иной раз спрашивала его с укором: «Напи-

сал?» Работа шла несколько лет, и в результате родилась объемная рукопись.

Автор ее – Николай Иосифович Скрылев, но много труда и души вложила в нее Нина Александровна Панова.

Дочери перепечатали хранящиеся в долгоруковском музее воспоминания отца на пишущей машинке, у каждой есть копия. Одну из них передала «Мемориалу» в 2005 году Татьяна Авершина, дочь Николая Иосифовича.

Анфим Игнатъевич Пономарев

## «Меня поняли как работягу»



*От великомученика Пономарева Анфима Игнатъевича 1909 г. рождения, проживающего в городе Берёзовский Кемеровской обл. по улице Куйбышева, д. 16.*

Первоначальное намерение публикатора адекватно перевести рукопись рабочего Анфима Игнатъевича Пономарева (1909–1994) в печатный текст натолкнулось на непреодолимые трудности – в данном случае неадекватным оказалось само понятие адекватности. Автор, уроженец, по-видимому, нынешней Кемеровской области (до 1925 года входила в Томскую губернию), владел лишь самыми элементарными навыками грамоты, и для нас главной помехой явилась почти полная графическая нерелевантность его текста. На письме строчные буквы неотличимы от прописных, расстояние между буквами варьируется, так что порой слова сливаются, а порой произвольно делятся на части, многие слова не дописаны или неразборчивы, точки и запятые часто похожи на случайные штрихи. Чтобы обеспечить коммуникативность документа, доступность его читателю, было решено, не нарушая своеобразия речевой манеры Пономарева, синтаксически обработать текст, снабдив его пунктуационными знаками. Что же касается лексики, ее мы старались сохранить в нетронутом виде со всеми ее диалектными, местными и индивидуальными особенностями. Фотокопия тетрадного листа из воспоминаний Пономарева, помещенная на с. 384, даст читателю возможность составить живое представление о подлинном характере этого документа.

Я родился в большой трудолюбивой состоятельной и самостоятельной семье. Нас было семь братьев; нас грамоте не учили, семья была старого обряда <нрзб> бога. Старший погиб в I мировую в 1916 г., остальные все подрастали да отцу богатство наживали; отец меня направил в город Тайга учеником в кожзавод, я там проработал 2 года, в это время отца не стало. Злые люди из-за зависти его убили; мачеха стала тянуть себе, старшие братья себе, растянули все хозяйство, стали бедные и беспомощные. Мачеха всех разогнала, я остался один пасынок; она дает денег, покупаем оборудование [для] кожзавода, перевозим его в деревню, оборудуем – и открываем завод по выработке кож на юфть.

Дело пошло бы, но тут помешало одно но: ехала с района комиссия закрыть завод в Нефонтово<sup>1</sup>, 1928 г., зашли в наш Сельсовет, говорят, что мы едем по закрытию кожзавода. Кто-то проговорился, а [про наш] кожзавод... они про него не знали, тут же пришли и закрыли, дали сроку один месяц. Тут мы с мамашей загоревали, как быть и жить дальше, за что взяться, как заработать на пропитание. Она находит выход – женит меня на дочери техника, который строил мосты и ремонтировал дороги. Тот меня берет к себе рабочим-плотником, в 1929 г. техника направляют в Горношорию<sup>2</sup> строить мосты от села Кондома до Бийска. Строим мосты на Кайвале,

---

<sup>1</sup> Населенный пункт на карте не найден.

<sup>2</sup> Горная Шория.



Слева направо стоят: Александр Куприянович Чикуров, Анфим Игнатьевич Пономарев. Сидят: Наталья Федоровна Чикурова (Косых) – теща Пономарева, ее дочь Екатерина – жена Пономарева, Куприян Андреевич Чикуров – тесть Пономарева (прошел две мировые войны; во Второй командовал орудием, вернулся израненный, без глаза), Лариса Степановна Чикурова (Фесюкова) (прошла всю войну), ее муж Григорий Куприянович Чикуров (расстрелян в 1938 году как враг народа). На переднем плане младший сын Куприяна Андреевича Федор (прошел всю войну в разведке). На фото нет сына Куприяна Андреевича Георгия (был летчиком, летал на истребителе, в июле 1942 года пропал без вести). Кемерово, ок. 1935

Антропе и Ушлете<sup>3</sup>. В 1930 г. началась коллективизация, меня тесть направляет домой, дает рекомендацию [к] брату его в Кемерово.

Я приезжаю домой, забираю жену, едем в Кемерово, устраиваюсь плотником в горкомхоз, там работали два плотника финны, американские

---

<sup>3</sup> Населенный пункт на карте не найден.

эмигранты. Они присмотрелись ко мне, взяли меня в подручные к себе, изготавливали лодки весловые и моторные, у них я понял, как надо работать плотнику. Они меня уговорили поехать в Петрозаводск, Карельская ССР, там строили жилье, а к осени 1930 г. Финляндия готовилась к войне. Стали забрасывать через Онежское озеро своих людей, привезут на пароходе к берегу, высадят в плохую лодку, они добирались кто как может на берег, наши их принимали, они себя рекомендовали – мы коммунисты, нас разоблачили, мы бежали в Советский Союз кто как мог.

Стало их множество, все они работали, пойдешь в столовую покушать, из них в очереди встанет один, за ним великое множество<sup>4</sup>. Стоишь, стоишь, идешь на работу, не покушал. Это продолжалось с полмесяца, наши русские стали бежать с Петрозаводска, я тоже бежал. Прибыл в Кемерово [в] 1930 г.

---

<sup>4</sup> В 20-х – начале 30-х годов в Карелию (Автономную Карельскую ССР) действительно перебралось довольно много финнов, в том числе из США и Канады. Часть из них – «красные финны» (участники гражданской войны 1918 года в Финляндии), часть – экономические мигранты, часть – поверившие в пропаганду о счастливой жизни финнов и карелов в СССР. Некоторых заподозренных в симпатиях к коммунистам выгоняли из Финляндии на советскую территорию. Отношения с русским и карельским населением у мигрантов складывались по-разному. Были случаи, например, когда руководители предприятий при приеме на работу оказывали предпочтение финнам – иногда по причине национальной общности, иногда отдавая должное их более высокой квалификации и дисциплинированности; может быть, имелись и политические причины. Возможно, в воспоминаниях Пономарева, помимо чисто бытовых межнациональных дразг, отразилось и насаждавшееся мнение о финнах как о предателях в оправдание проводившихся против них репрессий – в 1937–1938 годах от общего числа репрессированных в Карелии финны составляли около 40%, при том что их доля среди населения была всего 2–3%. (Комментарий историка Андрея Бутвилло.)

30 октября устроился на строительство электростанций, работал плотником и бригадиром, в то же время ходил на курсы [по специальности] слесарь-монтажник паротрубопроводчик. Построили здание, начался монтаж котла, все мои товарищи, кто учился со мной, перешли на монтаж котла, а меня не пускает начальник, говорит: ты тут хорошо работаешь, вот смотри, когда понесут кипятельную трубу, тогда я тебя отпущу. Так он получил кипятельную, в котельную я занес. Янушевский сдержал свое слово, отпустил меня на монтаж котла. Монтажником я проработал полгода, товарищи мне помогли. Тут же на монтаже подручным газосварщика. Подручным я проработал всего 4 дня, мой мастер заболел, пошел в отпуск, я стал работать самостоятельно. Работа была таковая – на первое время что-то отрезать, подогреть трубу, которая не подходила по месту. Так мы закончили монтаж первого котла, сдали в эксплуатацию. Переходим на второй котел. Мне работа понравилась, я со временем не считался, потому что нужно было квалифицироваться и понять хорошо сварочные дела, мне старые монтажники подсказывали, как надо работать, они меня полюбили за мое трудолюбие. Сдаем в эксплуатацию 2-й котел, меня берут в эксплуатацию этих котлов сварщиком. Работа шла хорошо, я стал равняться по заработку со старыми рабочими высокой квалификации, еще я работал в машинном отделении, у них не было своего свар-

щика, а работа свое требует, где что отрезать, сварить, подогреть.

Зарабатывал хорошо, купили себе дом, чтобы не тесниться по чужим квартирам, перешли в свою 1937 г. 14-го сентября. А 18 сентября меня забирают с работы, ведут в НКВД, там меня спросили фамилию, имя, отчество, год рождения, я ответил, меня отправили в спортзал. Открыли дверь, я стал на порог и держался за скобу, а там некуда было ступить ногой, нельзя было пролезть дальше. Простоял на пороге 10 или 15 [минут], там много было грэсовских<sup>5</sup>, мне там сказали, что я в тот день 18-й сюда прибыл. Открывается дверь, меня с порога столкнули, и упал на народ. Кое-как поднялся, зачитывают людей на выход. Когда вывели людей 40 человек, освободилось место под столом, я забираюсь под стол и вроде бы отдыхаю, даже уснул от заботы.

На второй день вызывают по списку, попадаю и я, везут в Ягуновку, там 3 дома 16-квартирные обнесены забором и колючей проволокой. В Ягуновской тюрьме я пробыл до 12 октября 1937 г. Нас вызывают с вещами за ворота, мне жена передала 2 передачи – одеяло, матрас, подушку, продукты. Я и тут стал состоятельным.

Догнали до станции железнодорожной Кемерово, посадили в вагон, привезли в Мариинск 14 октября 1937 г., там нас высадили с вагонов, довели до распреда, объявили срок и статью 58,

---

<sup>5</sup> Работников Кемеровской ГРЭС (государственной районной электростанции).

срок 10 лет, продержали нас в распреде двое суток. Наших вызывают на комиссию вроде бы врачебную. Но врачей не было, посмотрят, вроде бы здоров, упитан, не изморен. Набрали 173 человека, погнали прямой лесной дорогой на Тегульдетский тракт в село Николаевка. Ночью подогнали к церкви, чтобы ночевать в церкви, а у колхоза там было зерно пшеница. Пока привезли соломы, закрыли зерно соломой, впустили нас в церковь, там мы ночевали. Поутру следуем дальше, прогнали нас до деревни Рубино, там 2 шалаша из соломы, один большой, 2-й поменьше. Жулики, воришки – все в большой шалаш, [а нас] в маленький.

Немного отдохнули, приходит десятник, говорит: кто плотники, давай записывайся, будем знакомиться со строительством. Я записался третьим, меня тут же избрали бригадиром, дали карандаш и бумагу, подбирай себе бригаду. Набрал бригаду 20 человек плотников, 2 бригады плотников, землекопы, лесозаготовители и лесодоставщики. Землекопы копают котлован, 30 м длина, 12 ширина, 1 м глубина. Плотники обшивают стены, 2-я [бригада] нары и крышу. За 3 дня построили землянку, пошли дальше, на пути еще 2 таких землянки, для следующих этапов; в последней землянке нас догнал новокузнецкий этап в 200 человек, все поместились, ночевали вместе, места хватило всем.

Моя бригада выдалась лучшая на всех землянках. 3-го ноября 1937 г. нас пригнали в лагерь Апкашево, который стоял на берегу реки Четь.

Там до нас работали спецпереселенцы, раскулаченные во время коллективизаций, нам пришлось ихние домики стаскивать в лагерь и строить из них жилье общежития. 6-го ноября 1937 г. меня, со мной 20 человек плотников, отправили в районное село Тегульдет, которое стоит на берегу Чулыма. Мы там должны строить домики для жилья, всего было 14 объектов, а там до нас было 100 человек заключенных.

11-го ноября 1937 г. меня расконвоировали, я имел свободный выход без конвоя. Я работал десятником по строительству, возили с берега лес, приплавленный по реке Чулыму, копали колодцы. Люди работали на совесть за 900 г. хлеба и баланду. 1-го декабря 1937 г. шел этап, с Апкашева в Бобровку – это вверх по Чулыму от Тегульдета до Песчаной. Моих рабочих всех забрали с собой, строительство законсервировалось. Нас осталось 8 человек бесконвойных, я стал работать возчиком на лошади, мои обязанности стали такие – со склада привезти муку, развезти по хозяйкам, которые выпекали хлеб для лагеря Апкашева, собрать хлеб, привезти на базу, съездить на базу, привезти мясо, привезти воды и дрова. Когда возчики приезжали за грузом с Апкашева, говорили мне про все апкашевские ужасы, что людей умирало 18–20 человек каждый день; один возчик привез воз леса на плотбище, ему замаркировали и свалили лес, он сел на сани, поехал на конюшню и дорогой распрощался с белым светом. Лошадь стала

неуправляемая, пошла в конюшню, в калитке застряла в упряжке вместе с санями, подходит конюх, заругался на него, толкнул его, он упал как сноп замертво, я кое-что верил и не верил, но на ус мотал.

18 февраля 1938 г. в 11 часов дня собрали нас и погнали в лагерь Апкашево, определили в бригаду на заготовку леса; мне дали напарника, который плохо шевелился замороженный, не было у него сил. Работали, вроде бы норму выполнили, а завтра получаем пайку 400 грамм хлеба и никакого приварка. Я спросил бригадира, он меня оскорбил как мог, сказал, что у вас был короткий лес, он его забраковал, а в самом деле он наши кубометры записывал тем, кто не работал, дружки его. [Так] продолжалось несколько дней, а голодный человек пилу не потянет и топором сучок не отрубит, а тут поверки. Когда менялись дежурные стрелки, выгонят на поверку; счет не совпал у одного с другим стрелком, по новой выгоняют, и так продолжалось почти каждый день.

Стрелки были малограмотные, а бывало и так, что заключенный спрячется под нары, и тоже недочет, а остальных держат до часу ночи на морозе, а в 6 утра подъем. Встаем, позавтракаем и на работу; на вахте прочитают общую мораль (воспитательную), доходим до работы, начинает светать, до лесосеки расстояние около 5 километров. Бригада была отстающая, хорошего массива

про долей<sup>их</sup> потому разногласии даже <sup>(открыты)</sup> (открыты) <sup>(открыты)</sup> <sup>(открыты)</sup>  
мездреметные, а бывало и так что заговорили  
с трагичею паучеры и тоски. Не даром а  
вспомыных держит до часу. Неги на морозе а  
в в утра предан белаи по заболотилеи и вера  
бугу. Не бехте прочитали обично мери (восточна  
доходни до работы. Неки кем сметет, деласеи  
расходни овал а внаемтрот бригаде бела от  
сталуца харшени <sup>(делан)</sup> (делан) Не делан восточни  
делану же поужилеи редили судобелни.  
Бот оделани подем утраи а преселалеи тресу  
редан деланнеи он мери а следан бригаде  
от же телии его тели где их восточилеи  
а его белае. забелту. Неги фривеллеи телиа  
а Не уби дел стронниа где Неделане восточни  
тронниа делане / стронниа уби бела, в делану

(делянки) не давали, отводили делянку, где похуже лес, редкий, сучковатый.

Вот однажды подъем утром, я просыпаюсь, трясусь рядом лежавшего, он мертв, я сказал бригадир, он мне: тащи его там, где их складывают; я его вынес за вахту, ночь февральская, темная. Я не увидел тропинку, где надо было свернуть, прошел дальше; открытая дверь в сени, а дежурный кричит: что ты так долго. Я слышу в бараке женский разговор, поставил в сени мертвеца в угол, сам скорей бежать на вахту, дежурный меня не приметил; когда пошли на работу, на вахте нас задержали – спрашивали, кто выносил покойника. Я стоял, у меня по спине мурашки заходили, я не признался, меня никто не выдал. Там жил стрелок семейный, его жена выпровожала на службу. Когда он открыл дверь квартиры, стоит перед ним человек. Стрелок до него дотронулся, покойник свалился, упал, а мне наказания не было. Когда выводили нас на работу, всё хотели узнать, кто же надсмеялся над ними, хотели отыграться, но не удалось. Был дежурный по лагерю, звали его батя, он был действительно батя. Если хлеборез не даст ему булку хлеба, он хлебореза отправлял на повал леса, ставил другого, так же и с поварами.

1-го марта 1938 г. меня переводят возчиком на лесовывозку, причем бригадиром. Люди были бессильные, слабые, а лошадям норма овса 8 кг. Лошади овес не поедали, приходишь за лошадьё в конюшню, набираешь овса и грызешь его как

семечки. Тут я ожил. 1-го апреля 1938 г. приезжает с Томска какой-то уполномоченный, за невыполнение плана меня снимает с бригадира, назначает нового бригадира и в эту же ночь [отправляет] в Тазерачевскую<sup>6</sup> подкомандировку<sup>7</sup> на лесовывозку. Приехали в 2 часа ночи, сдали лошадей конюхам; дали нам общежитие в бараке холодном неотопленном; растопили печь, а печь была из железной бочки. Я только улегся, а тут подъем, надо кормить людей. Мы не были поставлены на учет на кухне, бригада-то была моя, я должен их кормить. С завтраком запоздали, я получил баланду последним, прихожу в барак, стал кушать, вбегает начальник подкомандировки, выбивает у меня котелок с баландой<sup>8</sup>; разгляделся, что выбил котелок с баландой, видимо, у него проснулась совесть, повернулся и вышел. Он отбывал срок 10 лет за растрату.

За вторую половину марта нам дали зарплату, я получил 14 рублей. Нам было разрешено покупать пшеничную кашу, 20 ложек порция, привозили в лесосеку, когда кормили лошадей; а во что брать эту кашу, я вначале брал в шапку, потом нашел подходящий подкомелок<sup>9</sup>, стал его прибираться до следующего обеда. Это была моя кормушка, то есть

---

<sup>6</sup> Населенный пункт на карте не найден.

<sup>7</sup> Подкомандировка или командировка – временные лагерные подразделения для решения конкретных хозяйственных задач.

<sup>8</sup> Очевидно, за то, что опоздал с выходом на работу.

<sup>9</sup> Часть ствола дерева со стороны комля.

чашка. С апреля у нас жизнь пошла немного лучше, кто не работал, тех отправляли обратно в лагерь. Нахлебников не стало, остались одни труженики, бытовиков почти не было, одна 58-я, все труженики. Я работал на лошади, возил лес на плотбище. Там его связывали в сплотки по 45-50 кубов, чтобы после ледохода лес отправить по реке.

Когда кончилась вывозка – нас обратно в лагерь Апкашево 29 апреля 1938 г. Наступили праздничные дни 1 мая, нашу бригаду возчиков бесконвойных направили выводить лес в русло реки. 1 мая 1938 г. я иду и задумался, от бригады немножко отстал. Иду мимо пекарни, пекарь Расчупкин, наш, кемеровский, подозвал меня, говорит: Пономарев, помоги принести мешок муки. Я помог, он мне говорит: закрой склад, занеси ключи. Я закрыл склад, занес ему ключи, у него был хлеб, только что вытщенный из печи, накрытый простынею. Он положил мешок, раскрывает хлеб, а хлеб подовый, пшеничный, булка около 4 кг. Разрезает пополам и дает мне, говорит: спасибо, иди. Я вышел с пекарни, разломил пополам, затолкал за пазуху, второй кусок стал уминать, есть. Хлеб горячий, за пазухой жжет. Один кусок съел, вроде бы наелся. Нет, не терпится, взялся есть второй, хлеб горячий, его много не съешь. Мои сослуживцы [пошли] на конбазу за овсом, протолкались до обеда, вода не поднялась в реке. Нас отправили в лагерь; так мне пришлось отпраздновать пасху и 1 мая.

Время шло, весна 38-го года, лес стали вывозить из лесосеки на телегах (бричках). Наваливать на бричку стало труднее, появились навалышки леса на бричку. Подъедешь к ним, навалят воз большой, а кубатуры нет, одни вершины<sup>10</sup>. Я стал заниматься самонавалкой, подъезжаю к штабелю, наваливаю на бричку. А у навалышников-грузчиков бывали и очереди. Бригада навалышников люди были слабосильные, кто им даст закурить или докурить, они ему воз нагрузят вне очереди, а я был некурящий, угощать нечем было. У меня дело пошло, норма с перевыполнением 120–130%. До начальства дошло, что я занимаюсь самонавалкой. Мне стали засчитывать за самонавалку. Если возили лес до километра, норма вывозки была 10 кубов, навалить на бричку [можно было] 18 куб[ов]. Была построенная лежневая дорога, лошадь шла по грунту, колеса катились по дереву. Когда лесосека удалялась от плотбища, это было в моих интересах. Норма вывозки становилась меньше, навалышки бросали крупный неподсильный лес, я тогда не ехал в дальнюю лесосеку, а подбирал которые бревна были брошенные, если оно лежит между пней. Конечно, его трудно взять, я отпрягал лошадь, выкатывал лошадью бревно по покатам, выше пней – и оно у меня на бричке. Люди сделают одну ходку, а у меня две или три ходки. Вот одно бревно лежало недалеко от лежневой дороги, пролежало два лета,

---

<sup>10</sup> Верхняя часть ствола.

кора с него снята, полусухое. Навалил его на бричку лошадью по накатам. Возчики едут на обед, бригады, десятники и рукраб<sup>11</sup>. Я подозвал начальство и 2 пристяжных, они ко мне зашли, помогли выехать, особенно между пней. Выехал на лежневую, в нем в одном бревне оказалась дневная норма.

С конбазы иногда мог выехать один возчик Тимофей Гольцов. Его лошадь стояла первой в стойле, а моя 12-я. На маркировку с лесом я всегда первый. Находились такие ребята, тоже хотели заниматься самонавалкой. Поработает день-два, [и] отказывались от самонавалки. Возчики стали завидовать моим работам, стали упрекать – ты нагоняешь норму. Однажды мне надо было выехать на лежневую дорогу, возчик Орешко поставил мне на дорогу свою лошадь, а сам стоит, улыбается. А сзади идет обоз 12 лошадей, а он меня задерживает. Я его схватил, свалил, подержал немного на земле, отпустил, отогнал его лошадь, выехал на лежневку впереди обоза. Друзья его спрашивают, ударил ли я его нонь. Сказал, что нет, я не собирался его ударить.

Так я и работал; лошади стали болеть от перегрузки, в том числе и моя. Лошадей поставили на карантин, а нас возчиков – на повал леса на полуостров, где можно свалить лесину, раскряжевать ее и скатить в воду. Мне достался напарник Дружинин Николай, работали хорошо, оказались сообразительные. На нашей делянке оказалась сухостой-

---

<sup>11</sup> Руководитель работ.

ная кедра, мы ее до обеда срезали, раскряжевали, скатили в воду. В ней оказалось 14 кубов, по полторы нормы. Мы решили порыбачить, получить<sup>12</sup>, изготовили козу<sup>13</sup>, [о]строгу<sup>14</sup>, запаслись смолем, все подготовили в лодку и поехали. Он у меня правит лодкой, я слежу за костром на козе. Приколол 2 щуки, вижу, большая щука стоит. Я спрашиваю его, что делать. Он мне отвечает: коли. Я ее кольнул, того не сообразил, что щука далеко от грунта стоит. Багор держал крепко, она лодку опрокинула, и мы в холодную сентябрьскую воду. Кое-как выбрались на берег, а посушиться негде, костер на берегу потух. Где стали, была отвесная стена (гора); мы по приезде заготовили каркас, сверху накрыли лапкой хвоей, такое было наше жилье.

Бригадир вез в лодке с лагеря продукты в эту темную ночь по реке Чети, тоже опрокинулся, утопил продукты, сам еле спасся. Я ночью перемерз, наутро себя плохо чувствую. Бригадир едет обратно за продуктами, он меня берет с собой. Плыдем вверх по Чети, я работал шестом. В лодке шли 12 километров, вроде бы хорошо дошли до Мысовского плотбища, а там еще три километра пешком.

Я вышел в гору, упал, потерял сознание. Он меня привел в сознание, сказал: ты тут жди, сиди или лежи, я пришлю за тобой лошадь. Я посидел

---

<sup>12</sup> Полу чить – от лу чить (*диалект.*), ловить рыбу при зажженном огне.

<sup>13</sup> Коза – особая жаровня для огня, устанавливается на носу лодки при лучении рыбы.

<sup>14</sup> Острога – гарпун, разветвленный на конце.

немного и поплелся в лагерь. Он мне попадаетеся навстречу с лошадей. Я в лагерную санчасть, у них обед. Я подождал, обед у них кончился, я объяснился, что я с подкомандировки. Смерили температуру, она показала 41°. Тут же положили в стационар на койку, отдыхал. Наутро просыпаюсь, что-то тело чешется. Я подозвал служанку, она посмотрела на меня, побежала к врачу. Врач посмотрела и тут же меня изолировала ото всех, закрыли в одиночку. Заходил ко мне только врач, признали брюшной тиф, это просто от переохлаждения выступила на теле сыпь. Трое суток пролежал в одиночке, на теле сыпи не стало, температура нормальная. На 6-й день меня на работу, я чувствовал [себя] слабым после болезни.

Бригадир Левин Петр Васильевич меня поставил на ремонт дороги, чтобы возчикам лучше было вывозить лес – где-то вырубить, куст убрать, вершину. Проработал три смены, к вечеру приходит завгуж<sup>15</sup> Ширкан, ему нужен возчик ездить в Тегульдет на базу, привозить фураж и продукты для лагеря. Проработал с 1 октября 1938 г. по 4 мая 1939 г.

Прихожу в зону, там готовятся в этап. Меня с лагеря не выпустили, тут же погнали в Тегульдет, ночью посадили в баржу, повезли вниз по Чулыму. Куда везут, нам неизвестно, в Асино с баржи высадили, пробыли трое суток. 7 мая 1939 г. нас в вагон, потом Томск, Тайга, Юрга и т. д. 3 августа

---

<sup>15</sup> Заведующий гужевым транспортом.

Котлас Архангельской области, там на барже – река Вычегда, Айкино Коми ССР. 17 километров от Айкино, 5 колонна, наш участок 2 километра кюветы, насыпь<sup>16</sup>.

Я работал плотником, готовил тачки. Что-то приболел, куриная слепота; либком<sup>17</sup> мне дал освобождение. Сiju на нарах, подходит неизвестный мне человек, агитирует – за что нас посадили, надо делать восстание. Я на него хорошо посмотрел, что он волк в овечьей шкуре. Потом оказалось, что он стрелок, охранник; он большой, плечистый, картавый, не выговаривает букву р. Мне его удалось встретить в 1950 г., но он мне не признался, [сказал,] что он там не был. Я не обознался, это он; сейчас он Иваненко, живет на улице Центральная, г. Берёзовский.

Закончили работу на 5-й колонне, нас перегоняют километров за 200 по направлению Воркуты, станция Ираэль. Там мы работали плотниками, обшивали водокачку, то есть напорную башню, рубили дома для путеобходчиков. Пришлось доделывать больницу: стлали полы, оконные плитуса, подгонка дверей, врезка замков.

Во время обеденного перерыва заходит к нам стрелок, спрашивает: кто Пономарев, собирайся на пересмотр дела. Дошли до лагеря к вечеру, он меня в зону, а сам в контору. Я там пробыл сутки,

---

<sup>16</sup> Видимо, двухкилометровая насыпь с кюветами по бокам.

<sup>17</sup> Очевидно, «лекпом» – лекарский помощник; так в лагере называли медицинский персонал – врачей, фельдшеров и т. п.

вызывают нас 17 человек, в вагон сажают, привозят на Вычегодский мост. 14 марта 1941 г. нас там приняли двоих, Пономарева [и] Илневского, молодого бытовика. Когда впустили в зону, определили в бригаду кузнецов. Когда я зашел в барак, объяснился, дневальный меня спрашивает: ч[то,] кушать хочешь, иди на кухню скажи, что приезжий. Я постучал в окно, повар открыл, наложил мне каши пшенной и говорит: мало будет, еще приходи. Он мне столько наложил каши, мне хватило под завязку такой каши, что я такой каши никогда не ел. Разгляделся, их тут кормят хорошо, да и монтажников нельзя не кормить. Дневальный мне говорит: вот эта бочка с квасом, наливай в кружку вот этим ковшом, из ковша не пей, освободим эту бочку, перейдем на вторую, хлеба сколько хочешь, на улице 2 бочки горбуши соленой рыбы без нормы. Я приехал с голодного края, а тут просто рай, умирать не надо.

У кузнецов кончился рабочий день, приходят все в барак, все люди самостоятельные, никакого шалмана. Подходит бригадир Булавин Николай Иванович, пытается, чей, откуда, статья и срок, кем работать будешь. Я ему объяснил, он мне дал наказ, как вести себя в ихнем обществе, мне это понравилось. Наутро 15 марта 1941 г. выходим на работу, меня встречает начальник мастерских Дубров Дмитрий Федорович: на сегодня для тебя работа, надо обрезать у рельсовых накладок фартуки. Вот тебе накладки, инструмент и подручный рабочий;

до меня работал парень, его отправили в кузницу молотобойщиком. Мне работа знакомая, подремонтировал инструменты, к вечеру обрезал фартуки у 200 накладок. Они ходят, присматриваются, удивляются, что наш парень. На утро 16 марта дают мне работу сварить газосваркой опорную часть сверлильного станка. Работа сложная, в одну горелку невозможно: чугун толщиной до 40 мм. Когда его демонтировали, оторвали один угол. Разложил под станком костер, разогрел, хорошо сварил. Начальству понравилось, доложили главному инженеру, что труженик попался знатный.

Вот однажды подходит ко мне главный инженер Якушевский Борис Владимирович, спрашивает, что, откуда, статья, срок. Я ему отрапортовал, что родом из Сибири, Кемерово, работал на электростанции газосварщиком в котельном цехе. Узнали в управлении про меня, тут же привозят от гидравлического экскаватора деталь, которая тоже в одну горелку неподсильная. На костер ее, разогрел, на костре сварил, получилось хорошо. Получил от представителя этой детали 1000 устных благодарностей и все.

Стали привозить заключенных с юга, мы узнали, что идет война, бытовиков стали брать на фронт. Нам урезали паек, хлебешек стали делить на пайку.

Когда закончили монтаж Вычегодского моста, людей стали отправлять на Печорский мост на усмотрение бригадиров. Мой бригадир Булавин [поставил] меня первым в списке. Главный инже-

нер меня всегда вычеркивал в списке, не отправлял никуда, продолжалось это несколько раз. 1 ноября 1941 года нас остальных всех со всем оборудованием и с начальством отправляют в Котлас строить мост на Малой Северной Двине. Перед праздником мы приехали в Котлас, стали строить кузницу на 20 горнов. Строили мост временный на Малой Северной Двине, укладывали на льду брусья, намораживали лед, проложили рельсы, пропустили паровоз по обходной дороге. Пошли поезда с Котласа до Коноши и Вологды. Работал наш обходной ледяной мост до конца марта 1942 г. Одновременно строили основной мост; не было ферм металлических, готовили деревянные фермы Гау<sup>18</sup>, длина 33 метра. Оправленные бревна сушили в сушилках и строили временный мост, били сваи, наращивали их в три бревна. Река судоходная, от воды до проезжей части 18 м, должно быть. Работали в кессонах, копали котлованы для мостовых опор. В воде насыпали горку песчаную, ставили кессонный нож 18+12 м<sup>2</sup><sup>19</sup>, делали опалубку из теса, заливали бетоном, получалось как бы на доме крыша. Ставили кессонную трубу очковую, сверху кессонный аппарат под давлением воздуха, воздух воду вытеснял, углублялись на 2 м, снимали верхнюю аппаратуру, наставляли вторую трубу, аппарат, воздух и т. д., шли до твердого грунта. Аппаратура таковая: когда

---

<sup>18</sup> Мостовые фермы особой конструкции, изобретение американского инженера Уильяма Гау.

<sup>19</sup> Видимо, 18 на 12 м<sup>2</sup>.

надо зайти с первой камеры, выпускали воздух при помощи вентиля, открывали дверь, входили, закрывали вентиль, наполняли камеру воздухом, давление воздуха уравнивается, вторая дверь открывается свободно. Дошли до твердого грунта, начинают заливать бетоном. Залили, отставляют головную часть, выбрасывают двухочковую трубу, ставят головную часть и т. д. Когда выходят на поверхность воды, опалубка и бетон 18 м над уровнем воды. Одновременно готовим металлическую ферму 55[-метровую] береговую.

Меня снимают с кессонов, ставят на резку металла. Нас было 10 тысяч заключенных, 8 тысяч немцев трудармейцев. Мне потребовался рабочий подручный, нашелся такой. Немец говорит, что может работать, он в совхозе с котла вырезал 8 лемехов для плуга. Разметчики были немцы, народ грамотный, в чертежах разбирались хорошо. Они размечают, я режу металл. Если я доверю своему подручному резак, работа замедлялась, с резкой не поспевали, я ему не стал доверять резак. На основных работах хлеба получали 900 г, на подсобных 700. Он, мой Давид, ушел сваи бить. Мне дали другого немца, Генриха Ивановича, с ним у нас пошло, дело он знал: зарядить аппарат, подтащить баллон с кислородом. Мы готовили детали, монтажники монтировали, монтаж производился рядом с эксплуатацион...<sup>20</sup> Когда все [было] готово,

---

<sup>20</sup> Не дописано.

ферму Гау стаскивали с опор, а металлическую бросали вниз, металлическую на место ставили<sup>21</sup>. До войны фермы изготовлялись в Днепропетровске, в 42 г. у нас стали изготовлять. В Котласе изготовили стеллажи, оборудовали цеха, подобрали кадры. Разметчики размечают, резчики режут, монтажники комплектуют, клепальщики клепают. Резчиков работало 18, в три смены. Где разметчики ошибались в разметке, вина не разметчиков. Я был старшим резчиком, меня стали часто вызывать и ругать. Я поставил им такую задачу, чтобы разметка была таковая: разметил какую-то деталь, ставь две черты через 4 мм и через 40 мм керн. Если резчик увильнет в сторону, перережет черту и керн, тогда обвиняйте нас. Разметчики стали повнимательней, ошибок не стало, резчики стали всегда правы.

К нам частые гости были с Москвы с гудыэса<sup>22</sup>, главный инженер Багин, заместитель его Богданов Сергей Ильич, часто ко мне присматривались. В Москве давно строился Дворец Советов, его решили разобрать, привезти в Котлас, переделать на мосты. Привозили колонны клепаные в виде двутавровой балки из листовой стали 16 мм. Конструкторы так подрассчитали: перерезать пополам<sup>23</sup>, резать один раз получится две детали для опорного откоса 109-ки. Это значит, что ферма длиной 109 метров. Вопрос, кто будет резать. Якушевский

---

<sup>21</sup> Не вполне понятное место.

<sup>22</sup> Возможно, Управление строительством Дворца Советов.

<sup>23</sup> Видимо, из двутавровой балки сделать две тавровые.

говорит: резать будет Пономарев; а Багин говорит, что он малограмотный. Мой сменщик Василий Галкин, он работал в томском паровозоремонтном институте инструктором по электрогазосварке. Проверили наши личные дела, решили, что резать будет Галкин В. А. В это время я работал днем, он ночью. Мне сказали, чтоб де подготовил аппаратуру на стеллажи. Я: почто резать будет Василий? Зная о том, что у него практики нет, а на теории одной не проедешь. Их с зоны на завод привели, а нас в зону на отдых, Вася приступил к работе, Сергей Ильич тут как тут, это было с 13 на 14 марта 1942 года. Мороз был 14 градусов. Как я ему подготовил инструменты, на резак поставил четвертый номер наконечника, он берет в цехе инструменты, приворачивает редуктор к баллону, давление 12 атмосфер, режет. Провел резак 100 мм, редуктор застыл, давление кислорода прекратилось. Он начал отогревать горячей водой. Редуктор отогрелся; начинает резать, редуктор замерзает. Сквозь всю толщину не пробивает, а только завихривает. Промучились ночь, работы нет. Нас выводят с зоны на завод, их уводят в зону на отдых. А Сергей Ильич меня ждет, заколел за ночь, говорит мне: ты режь, я пойду позавтракаю.

Я ихнюю колонну не стал резать, перешел на вторую. Прочистил редуктор ото льда, сверху прорезал, кранами ее повернули – внутреннюю сторону прорезал, еще краны повернули. 2 крана работало, один кран грузоподъемностью 18, второй 12 тонн. Разрезал удачно. Перехожу ко второму резу, второй

рез, второй перерезал, перехожу на третий, режу. Не довел резак 150 мм, подходит Богданов, спрашивает, почему не крайнюю режешь. В это время мне нельзя отрываться ни на секунду. Он стоит, дожидается, дорезал, прикрыл газ и кислород в резаке, объясняю ему, что сделал 3 реза. Он поднялся на стеллажи, пошел по этим деталям. Станет, покачается – одна половина качается, вторая лежит спокойно. Он убедился, что перерезано. В это время, переходим на 4-ю, время к обеду. 14 марта 1942 г. режу, ходит какая-то женщина, ко мне присматривается с любопытством. Потом узнал, что она наша подшефная, жена начальника строящейся печорской дороги полковника Шемина.

В это время со всей дороги были собраны мастера и начальство, со временем никто не считался, работали на совесть, особенно эта 58 статья. 15 марта 1942, спал еще (по лагерю подъем прошел), приходит ко мне завхоз, приносит мне сапоги яловые 44 размер. Они мне малы, он меня стал уговаривать, что выходи в чунях, я их обменяю на большие в севдвиновских<sup>24</sup> складах. В 9 часов утра на работу приносит мне сапоги 46 размер. Я тут же свои чуни сбросил, одел сапоги. Завхоз мне объяснил, что это позаботилась наша подшефная Шемина.

Я жил в стахановской секции, нас там жило 12 человек, спали на койках в одиночку. Утром

---

<sup>24</sup> Северодвинских.

мне дневальный приносил пайку хлеба и баланду, на работу выходил до развода по пропуску, был расконвоирован, меня и еще несколько товарищей подали в Москву на досрочное освобождение. В апреле 42 года мне сбросили 2 года, несколько товарищей освободили. В конце апреля приехало московское начальство. Богданов подходит ко мне, спрашивает: Пономарев, освободился? Я ему отвечаю, что нет, 2 года сбросили. Меня и еще несколько человек по новой на досрочное в Москву.

В половине мая приезжает начальство с Кирова на дрезине утром раненько, еще не было развода. На работу я как бесконвойный выходил раньше, меня попросил кладовщик, чтобы я ему изготовил дверную металлическую накладку. Я стал приваривать к ней трубу, наставил горелку, стал приваривать резаком. Смотрю, передо мной стоит Сергей Ильич Богданов: ну как, Пономарев, освободился? Я ему отвечаю, что нет. В это время приходит начальник цеха и говорит ему, что он, Пономарев, попросил у Преображенского брезентовый костюм, а тот его вычеркнул со списка освобождения. Богданов: а ну, давайте его. Давидович Захар Абрамович позвонил по телефону, сообщил, что московское начальство приехало, Преображенский дороц<sup>25</sup> одевал штаны и одевался, прибежал в цех. Что у них было, не знаю, знаю одно, что Преображенского не стало на заводе. Через некоторое

---

<sup>25</sup> Непонятное слово.

время прислали Самодурова начальником завода. Меня в третий раз посылают на досрочное освобождение, и еще несколько человек освободили условно-досрочно.

С 5-го октября 1943 г. тут же на заводе работал газосварщиком, но жизнь была хоть и скучная, но вольная (шла война). Я подал заявление в военкомат г. Котласа, чтобы отправили на фронт. Мне тут же повестку дали на фронт. Я в контору за расчетом, узнал главный инженер Янушевский, вызвал меня к себе в кабинет, поговорил со мной по душам, что ты тут больше дашь стране пользы, чем на фронте. Согласовал с военкомом, отправили другого человека на фронт, работаю.

А немцы-трудармейцы в цехе мастера и разметчики. Один из них был резчиком металла, работали с ним на одном инструменте одним резаком в разные смены. Мастера мою работу стали ему приписывать, чтобы он был передовым рабочим. Я поднял шум, они другой выход нашли: подтасовали работу, подобрали норму выработки, знали, какого металла сколько надо отрезать. Получили новый заказ на изготовление фермы. Герман меня вызывает на соревнование. Объявили рекордный день, я утром выхожу на работу, мне говорят, что Герман тебя сегодня вызывает на соревнование, начальник цеха Захар Абрамович Давидович подтверждает. Берусь за инструмент, ставлю редуктор на баллоне, в баллоне 40 атмосфер, переставляю на второй – 30 атмосфер, баллонов стояло в пира-

миде 8. Я еще один баллон проверил – 20 атмосфер. Я больше не стал проверять баллоны, пошел к Захару Абрамовичу, объяснил. Тот дает команду такелажникам сейчас же принести кислород. Кислородный завод был рядом, не дальше 50 метров от цеха. Приносят, прикручиваю редуктор, на манометре 150 атм., как должно и быть. До обеда резал листовую сталь, с обеда такелажники стали в цех подавать металл: швеллеры, уголки, двутавровые балки. Меня заело, за сердце задело, вот она подтасовка какая. Листовую сталь резал на улице, порезал все, что было размечено, перехожу в цех. Разметчики работают упорно, но керны не ставят, размечают и тут же швеллер подвигают вплотную, чтобы затратил время. Романов, бригадир такелажников, видит это дело, берет лом и раздвигает, чтобы прошел резак. К концу смены все отрезал, что было размечено, такелажники еще навозили листовую сталь, разметчики размечают листовую сталь. Я перешел на листовую сталь, режу без оглядки. Смотрю, подходит Герман, мой сменщик, у меня кончился рабочий день. Я иду к Давидовичу, попросил его, чтобы он работу проверил сам.

Наутро прихожу, разметчиков и мастеров еще не было на работе, а Давидович сидит, подсчитывает %. Подсчитал и сказал, что у меня 880%, а у Германа 300 с натяжкой, так что им не удалось мне сломать рога, хотя они долгое время готовились, подготовка ихняя оказалась ни к чему.

Мех. цеху нужно было нарезать для прессы квадраты 300 на 300 мм, толщина 200 мм. Заказ получили в смену Германа, он стал резать, у него ничего не получилось: стал замерзать редуктор. Он его грел горячей водой, чего делать нельзя, пришлось резать мне. Когда упал кран в выемку и закрыл перегон, Герман, он срезал за смену одну стрелу, мне пришлось разрезать весь кран. А 12-тонным краном вытаскивали с выемки разрезанный на части кран, перегон был закрыт на одни сутки, это было в конце ноября 1942 года, когда кран падал в выемку, а выемка была 8 метров, поломал много чугунных деталей в тех местах, где крепились к стальной раме. Нужно было сварить газосваркой, их мне предложили варить.

Я стал требовать брезентовый костюм, так как в ватном костюме работать невозможно, он постоянно загорался и тлела вата, а когда варишь крупные детали до полутонны, да большой горелкой, тут уж тушить костюм на себе нет времени. Продолжалось это несколько дней, приходит на разрядку начальник завода Самодуров, говорит, что Пономарев сегодня будет варить кран. Я ему говорю: когда будет спецовка, тогда буду варить кран. Он мне: ну и не вари. Я ему в ответ: ну и не буду; в этот же день во время обеденного перерыва вызывают меня в пошивочную мастерскую на примерку, да такой костюм сготовили со старой истлевшей палатки, что всем на удивление. Можно

было этот костюм одевать на ватный костюм, даже на бушлат. Когда выходил с завода в столовую покушать, люди попадали навстречу, смотрели на меня как на великана, удивлялись моим костюмом. Начал сваривать чугунные детали, вначале разогрею на костре до нужной температуры, потом варю; провозился одну неделю, пока сваривал эти детали, у меня этот богатырский костюм развалился, стал никуда не годный.

Так я работал в ватном костюме, всегда обгоревший; в клуб не ходил, не хотел позориться. 14 декабря 1944 г. ко мне подходит главный инженер Щекин, говорит: Пономарев, ты должен поехать на Украину, сопровождать вот этот катер. Катер был погружен на железнодорожную платформу, а капитан катера где-то затерялся; [говорит:] будешь сопровождать ты на место. Оформили документы, я расположился в кубрике, жду когда будут вывозить с завода мой вагон. Щекин стучит по вагону, я вылез с кубрика, он мне объясняет, что вот эта женщина должна с тобой ехать до места вашего назначения, у нее 2-е детей, уже муж там работает энергетиком.

Вывозят наш вагон на станцию Котлас, потом на формирующую станцию Котлас, узел. Пока формировали состав, капитан катера тут как тут, стучит, влазит на вагон и в катер, умоляет, чтобы его взяли, а места в рубке только на 2 человека. Но он как хозяин этого катера выход нашел: на ночь убрали лестницу с кубрика, он нашел 2 доски

в машинном отделении и ночевал на этих досточках всю дорогу.

Когда выехали за Москву, днем я в кубрике не находился, смотрел на разрушенное войной; где была деревня, там стояли одни трубы русских печей. Все постройки были сожжены, и станции железнодорожные разрушены. 29 декабря 1944 г. приехали на станцию Лепляво, капитан нас оставил, мы доехали до моста, который был разрушенный немцами. Люди там жили в пассажирских вагонах, контора тут же была в вагоне. Шура спустилась с катера и вагона, пошла искать своего мужа Стасика Хадшипедова. Не могла найти, а он подружил с секретарем-машинисткой, ушли в город Канев, у нее там была квартира. Она все разведала, залазит ко мне на катер, плачет и говорит, что сейчас брошусь с катера и разобьюсь, пусть знает. Мне пришлось много затратить времени, чтобы ее уговорить, чтобы она этого не делала. Наутро приходит ее Стасик, и помирились они. Она баба настойчивая, могла это сделать, мне бы пришлось отвечать за нее.

Наутро я пошел в деревню Лепляво, мне там была подготовлена квартира товарищем Дмитриевым, который от нас с Котласа был туда направленный раньше, в июне 1944 года. Когда я прибыл на демонтаж моста, у них уже была построена котельная с установкой котлов и электрогенераторов. Шел демонтаж на правом берегу на сухом месте. 22 фермы были сбиты с опор, мне было задание

отрезать яблоко<sup>26</sup> у рельсы для клиньев, срубки заклепок. Резал ночью, смотрю, что-то движется по дороге. Дорога была, где я резал, метров 8 от меня. Прикрываю в резачке кислород, горит один ацетилен, газ, ночью очень яркий свет. Разгляделся – шла женщина босая, голова ничем не накрыта, пальто растегнуто. Закончил работу, выхожу на берег, говорю товарищам, что видел чудо какое-то. Они не поверили, а наутро пошли стрелки, проверили, что, действительно, след босого человека доидет<sup>27</sup> до половины реки Днепра. Свернула вниз по течению. По следу никто не пошел, не было надобности, надо мной не стали смеяться.

Изготовили узкоколейную дорогу через Днепр по льду: настилали прутьями кустарник, намораживали лед при помощи насосов, с правого берега на вагонетке перевозили металл. На левом берегу краном вытаскивали, погружали в вагоны, отправляли в Котлас на переработку ферм. Который металл был изогнутый, его правили, которые искалеченные, заменяли другим. Что можно было взять на суше, брали; а как же в воде? Днепр-то широкий и глубокий. Нам прислали 11 военных водолазов, 2 водолазные станции. Нас стали обучать водолазному делу, набрали 11 человек заключенных и трое нас вольнонаемных, подбирали сварщиков. Я болел радикулитом, меня врач Арбу-

---

<sup>26</sup> Так иногда называют головку рельса – верхнюю его часть, непосредственно принимающую давление колес.

<sup>27</sup> Видимо, доходит.

зов не допустил работать водолазом, а Янушевский настоял, что нам без Пономарева не обойтись, потому что он работает на газосварке и дуговой сварке. Арбузов, врач, согласился с Янушевским, меня допустили до водолазной работы.

С 1 марта 1945 г. нам преподали теорию, а с первого апреля 1945 г. практику. Стали отпускаться под воду, конечно, не сразу получалось, но малость попривыкли. Стали заниматься подводной резкой металла. Но у нас была маломощная электростанция, работать было трудно, резали тонкий металл, где потолще, рвали толлом. На опорный раскос нужно было изготовить такой заряд в виде буквы С, спалок<sup>28</sup> прикрепить к нему 74 куска тола. Тогда тол порезал опорный раскос, конечно, с кудрями. Доставали металл до двух метров в песке<sup>29</sup>, куски от фермы лежали поперек реки; река Днепр быстрая – там, где лежали фермы, течение сокращалось, песок и ил оседали на дно, получилось металл под слоем песка. На воде стояла баржа, а на ней стояла насосная установка, через шланг подавала воду, водолаз размывал, где нужно резать, или рвал толлом. Когда достали с-под воды металл, протралили фарватер, чтобы пароход не наскочил на металл и не сделал пробоину.

---

<sup>28</sup> Возможны два варианта толкования слова «спалок». Первое: автор имел в виду – «из палок» изготавливается конструкция в виде буквы С, к которой прикрепляется тол. Второе: к изготовленной раме в виде С прикрепляется взрывчатка – то, что горит, «палится», то есть тол.

<sup>29</sup> То есть металл лежал под двухметровым слоем песка.

На реке работы закончились, меня направляют в Котлас 14 октября 1945 г. сопровождать вагон с оборудованием. В Котлас прибыл 3 ноября 1945 г. в тот же цех, где работал раньше по изготовлению ферм железнодорожных на мосты через реки и речушки. Построили переходной мост на станции Котлас, чтобы люди не лазали под вагоны, а ходили по мосту.

С квартирой устроился у одной старушки, у которой жил до поездки в Канев. К празднику нам выделили пол-литра спирта и бутылку вина на человека. Мои товарищи на праздник разошлись по подружкам, я остался один, выпить не с кем. Моя хозяйка мне говорит, что, Игнатьевич, пойдём-ка со мной в сваты, есть солдатка, у ней похоронка от мужа, она одна живет, у нее свой дом, огород, что ты тут голодаешь один. Приходим к ней, поздоровались, она говорит, что я тебе мужа привела. Невеста сразу же накрыла стол, я выставил бутылку настойки, разлили на три стопки, слышим в дверь кто-то стучит. Хозяйка пошла, впустила в квартиру, входит старушка с сыном, он в военной форме, только что демобилизовался, садятся за стол по приглашению хозяйки. Начинаем выпивать и ворковать как голуби. Эта пара тоже пришли в сваты, я думаю – вот это подтасовали старухи, хотят за мой счет проехать. Хозяйка дома вышла на кухню, я за ней, говорю: ну как? Она отвечает: оставайся. Я иду в комнату, сажусь за стол, говорю, что все в порядке, можете быть свободными, выпить нечего.

Жизнь пошла по-иному, в столовую не стал ходить. Еще существовала карточная система; бывало, придешь в столовую, буфетчица в карточке вырежет талон, в карточке сделает пометку, что я ей остался должен. Продолжалось это несколько раз, у меня лопнуло терпение, высказал ей за все. Сидели люди за столами и говорили: вот какой он мелочный, за 85 копеек спорит, обижает Еву (она еврейка).

Пришла на склад новая режущая машина (трактор), мне ее дали испытать как ведущему резчику металла. Настроился, приспособился, стал резать. Металл был размечен, уложил уголок вдоль реза, поджигаю ацетилен с кислородом. Нагрелся металл, даю струю кислорода, включаю двигатель, трактор пошел. Резал нисколько не лучше, чем вручную резали, потерял время 6 часов, отрезал 8 погонных м. В это время я мог такого металла отрезать около 100 м вручную. Смотрю, идут мимо меня 3 начальника: начальник цеха Давидович, партком и завком. Прошли метров 10 от меня, остановились, постояли немножко, вернулись ко мне, говорят: Пономарев, поедешь на курорт на Черное море (а кто бы отказался). Даю согласие, тут же вручают мне путевку. Я бросаю (оставляю) эту аппаратуру, поехал на курорт. Поездом доезжаю до Одессы, видел все разрушенное. От Одессы 40 километров поездом, потом через лиман катером, еще 40 километров автобусом, курорт Лебедевка на берегу Черного моря. Приняли меня

хорошо, лечение принимал, радоновые ванны, грязь и загорал в песке. Купался несколько раз в море, видел медузу, камбалу. Поймать руками не удалось камбалу, а медуза, говорили, что она ядовитая, опасная. Подружились мы со старичком с Краснодарского края. Он говорил, что он работает главным механиком в показательном совхозе. Он мне предлагал поехать к ним работать газосварщиком. Когда узнал, что я отбывал срок по 58-й, у нас с ним дружба кончилась, он со мной перестал здороваться.

Приехал с курорта 4 сентября 1946 года, работал в том же цехе газорезчиком металла. У меня стали частые командировки туда, где монтировался мост. Зимой 1946 и 1947 было 6 объектов. Деревянные мосты убирали, смонтированную ферму на его место натаскивали. Завод был неусовершенствованный, люди малоквалифицированные на заводе. Где не надо клепать заклепки, они заклепывают, а когда начнут монтаж, там заклепки мешают. Вот и приходилось ездить от одного моста до другого. А бывало и так, что едешь на поезде, на станции меня встречают, что поезжай на другой мост. Везти с собой надо инструмент, бачок, шланги и резак; была-то карточная система – [приходилось брать] продукты и постель. Селектор был для нас с 11 вечера до 6 утра каждого дня. Что участку требуется, звонят на завод, а там дают команду, что и как. Расстояние от Котласа до Печоры 728 км, а от Печоры до Воркуты 461 км.

14 августа 1947 года приезжаю на реку Косью, мост был в эксплуатации, но сильно вибрировал, слабый был. Решено было начальством заменить раскосы на уголки: вместо 120x120, 200 на 200 миллиметров. Работа моя была срезать заклепки: работаю, срежу у одного раскоса заклепки – поставят второй, просверлят отверстия – заклепают. Переходим на второй раскос: пока снимают уголки, ставят, сверлят, клепают, у меня свободное время.

Я занимался рыбалкой, удил рыбешку, а во второй половине августа пошла рыба семга вверх по течению метать икру. Вода в этой реке светлая, прозрачная, реки текут с Уральских хребтов. В солнечный день от моста тень на воде, рыба доходит до тени, останавливается, стоит до заката солнца. Когда нет тени на воде, рыба идет дальше. Я однажды насчитал 186 рыбин, были до двух метров длиной.

Работали, пока изготовили все заказы и поставили все фермы на свое место по Печерской железной дороге – расстояние 1189 км. И до Коноши 400 км, тоже все мосты наши были – дорога с Котласа, Коноши, Вологды.

Начальство со всем оборудованием и рабочими отправились на Игарку, я не поехал, уволился, перешел 7 июня 1948 г. на лесоперевалочный комбинат на погрузку леса в вагоны. С реки доставали приплавленный лес, элеватором доставляли на эстакаду, с эстакады грузили в вагоны. Вот однажды не было вагонов. Нужно было раска-

тать, убрать толстомер от эстакады. Я прорубил ногу – затесывал покат<sup>30</sup>. Проболел 41 день, после болезни меня плотником назначили строить здание под пилораму. Когда закончились работы плотника, меня в инструменталку – править пилы и заготавливать станки<sup>31</sup> для лучковых пил. В марте приезжает ко мне с Кемерово жена. Уговорила; я дал согласие поехать в родную семью. Уволился с первого апреля 1950 г., приезжаем в Кемерово, а в Кемерово прописки для меня нет, город режимный. Мне посоветовали в Берёзовский район, село Кургановка, теперь г. Берёзовский.

Строилась шахта Берёзовская, обратился в отдел кадров. Начальник отдела кадров был Белотелов, бывший прокурор Берёзовского района. Посмотрел мои документы, положил на окно, сам пошел в лес с подружкой. Ждал я его до вечера, не дождался. На второй день пошел работу искать, зашел к Белотелову, он мне отказал, что нам такие не нужны. Я поскучал, пошел в дорстрой, там меня приняли на разные работы плотником, оформился 4 мая 1950 г.

В июне получили сварочный аппарат, я стал работать сварщиком. Работал так, чтоб угодить всем: варил и плотничал, стеклил, не отказывался ни от какой работы, столярничал и маляром был, красил автомашины. Меня поняли как работягу,

---

<sup>30</sup> То же, что покат: бревно или доска, обычно наклонно положенные, для перекачивания тяжелых, громоздких предметов.

<sup>31</sup> Станок – деревянная основа для натяжки полотна пилы.

посылали куда угодно; поняли, что Пономарева куда ни пошли, работа будет сделана.

Управление было в Анжерке, начальник гаража был Каверин Яков Михайлович, он меня посылает в Анжерку поездом привезти тракторный пускатель, он весом 100 килограммов. Приезжаю в управление, объясняю. Начальник управления Исаев покачал головой, сказал: езжай домой, я приеду разберусь. Я вернулся ни с чем, Каверин мой обиделся.

В 1950 году шла реконструкция шахты Ягуновская, там было свободное оборудование шахтостроя. Нас 5-х на тракторе послал Каверин за оборудованием. На тракторе можно ехать 3 человека, нас до Кемерово [отправили] поездом. Я и Бурмистров Митя поехали поездом, доехали до Кемерово пассажирским поездом. Мой партнер вернулся, я пошел искать Ягуновку и тот бывший шахтострой. Нашел по следу: у [нашего] трактора на гусенице не было 2-х башмаков. Нашел в поселке трактор около столовой, а друзья мои в столовой обедают и выпивают, набрались хорошо. Поехали к шахте, где нужно было брать оборудование. Нашли – сторож не давать. Тракторист Птицин сторожа за грудки, сторож тоже. Я смотрю, дело плохо, стал растаскивать их, оттащил я одного от другого, сторож убежал к начальству. Мы зацепили одну емкость, бак, погрузили еще, что нам было положено, поехали. На пути-дороженьке сбили 2 столба электропередачи, провода повисли до земли, а мы

тикать. В столовую не заехали – через Кемерово и восвояси.

Ехали через шахту, пока не наехали на пень, дорога была не чищена. У трактора гусеницы работают, а трактор стоит на пне; ночь, темно, что делать? Мороз 30°. Я ехал в баке, замерз, они-то в кабине, им не так холодно, да они подвыпивши. Я решил срубить тот пень, на котором сидит трактор. Подкопал, стал рубить, согрелся, попросил смену. Они, мои друзья, говорят: полезай к нам, будем ждать рассвета. Я отдохнул немного, полез, на боку лежа дорубил, оставил немножко для страховки, чтобы меня трактор не придавил. Вылез с-под трактора; недалеко была изгородь, добрался до нее, взял 2 жердины, приволок к трактору, упротил своих товарищей. У них пробудилась совесть, натаскали жердей под гусеницы. Тракторист проснулся, включил скорость, пень сломился, поехали дальше. На место приехали к рассвету на 20 марта 1951 года.

Так я работал до 1954 года июля. 1 июля нас объединяют с шахтостроем; начальник – Журавель. Работа пошла вроде бы лучше, чем в дорстрое: управление на месте, не ездить в Анжерку, да и гараж рядом с шахтой – теплый, кирпичный, с отоплением. Сварочными работами не был загружен полностью, готовил сани деревянные и металлические для тракторов, помогал ремонтировать трактора и экскаваторы, многое время работал цеховым проформом.

Когда стали строить первую Бирюлинскую, наш гараж перевезли на поселок Октябрьский – людей и технику. Я жил на станции Забойщик, от работы 12 километров. Вечером конец смены, техника приходит в гараж, одному подварю, второму тоже немножко, подошла машина, рабочие сели в машину и уехали; бывало, что кончил работу, выбегаю, а машина ушла. Автобусов в то время не было рейсовых, пешком домой – это случалось несколько раз.

А когда по новой образовался дорстрой, меня пригласили в дорстрой. А мастерские и асфальтный завод построили на том же месте, где были раньше наши мастерские и гараж. Я решил перейти в дорстрой, работал до 1964 г. 22 сентября. Пошел на пенсию, назначили 93 руб. 54 к. За этот период переводили нас 5 раз: дорстрой, шахтострой...

Был на пенсии, еще отработал 10 лет; работал тогда, когда завод стоял на ремонте, лето работал по вызову, последние 2 года отработал непрерывно.

Сделали пересчет пенсии, назначили 100 рублей, а все из-за моей статьи 58-й. Где бы я ни работал, всегда был передовым, с работой не считался: разгружал гравий, песок, битум. Начальство меня всегда ставило во главе звена или бригадиром, работу требовали с меня, а я с рабочими. Бывало, у меня не просидят, работу всегда найду полезную. Тот, кто не хочет работать, а их много



Анфим Игнатьевич Пономарев.  
1960-е

таких товарищей, начинают меня упрекать, что ты сидел по 58-й 10 лет. Я всегда мирился с ними, но работать заставлял и показывал, как надо работать. Был премирован несколько раз грамотами и благодарностями и на доску почета.

Всегда был передовым, а те, кто не хотел работать, всегда меня упрекали. В то время я мирился со всеми, в споры не ввязывался с теми лентяями, разложителями трудовой дисциплины.

Когда меня взяли 18 сентября 1937, семью мою стали притеснять. Жена не могла устроиться на работу за то, что муж сидит как враг народа, выго-

няли с квартиры, несмотря на то, что свой собственный дом. Соседи смотрели на семью как на врага народа. Что сейчас со мной происходит – от тяжелого и непосильного труда, что работал возчиком и занимался самонавалкой: в ногах тромбы (закупорка) вен, ослеп правый глаз – ничего не видит, оглох – ничего не слышу, за то что много работал под давлением в кессонах и водолазом. Фронтовики носят награды на груди, а я на ногах, мои раны на ногах открыты, не заживают с 1939-го года. Кроме врачей хирургов и моей семьи никто о моих наградах не знает, никто их не видит, и поощрений мне никаких. Фронтовики имеют закрытые магазины, покупают продукты дефицитные, которых недостаточно, имеют бесплатный проезд по области и вообще почетные люди. А мы, лагерники невинные, нас только презирают и упрекают. Как я понимаю, что я строил железные дороги и мосты, был всегда в почете, а получал одни похвальные бумажки да устные благодарности. Если б я был на войне, защитил бы родину не хуже других героев. Мой рост 1 м 84 см, объем груди, подвижен, сообразителен, воевал бы без страха и ужаса. Но не удалось повоевать, защищать родину. Все эта 58 статья, приписанная не виноватому ни в чем человеку.

## Родные об Анфиме Игнатьевиче Пономареве

**Нинель Павловна Жмудова,**

внучка Анфима Игнатьевича

После освобождения мой дед Анфим Игнатьевич Пономарев не сразу вернулся домой, работал в Котласе. Мама говорила, что он не хотел возвращаться. Бабушка съездила за ним и привезла в Кемерово. Но жить в областном центре ему было запрещено, и они купили домик в 40 километрах от Кемерово на станции Забойщик. Дед там работал сначала плотником, потом электрогазосварщиком. Работал он всегда хорошо.

Когда я родилась в 1964 году, он купил корову. Со снабжением было плохо, все полагались на личное подсобное хозяйство. Мои родители, дедушка с бабушкой, которые пережили голод, войну, лагеря, не особенно полагались на государство – считали, что все продукты должны быть своими.

В детстве дед любил брать меня на покос, делал маленькие грабельки, чтобы я ворошила сено. Картошки всегда сажали много, свой огород. С ранней весны мы с дедом любили ходить в лес – сначала за колбой (черемшой), потом за грибами.

В 1973 году семья переехала в город Березовский. В одной половине жили моя мама с папой и со мной, за стенкой – дед с бабушкой. Дед построил огромную теплицу. Всегда выписывал много газет и журналов по садоводству.



Анфим Игнатьевич знал любую работу и все в доме делал своими руками. 1950-е

Был очень сильным физически, несмотря на тяжелую жизнь и голод во время войны. Когда ему было 82, спокойно поднимал на коромысле два бака с землей.

Про Сталина никогда не говорил плохого, даже когда в конце 1980-х пошли публикации. Считал, что все репрессии устраивал Берия. Кстати, и бабушкин брат, Федор Киприянович Чикуров, он всю войну прошел разведчиком, тоже не считал Сталина тираном, несмотря на то, что их брат, Григорий Киприянович Чикуров, отец Нинель Григорьевны Киселевой, был расстрелян на полигоне в селе Ягуново близ Кемерово как враг народа.



Анфим Игнатьевич обшивает свой дом. 1950-е

**Нинель Григорьевна Киселева,**  
племянница Анфима Игнатьевича

В студенческие годы я часто ездила к моей любимой тете Кате, сестре моего отца Григория Киприяновича Чикурова. Жила она с Анфимом Игнатьевичем и дочерью Ларисой в шахтерском поселке. Я тогда училась на инженера-технолога сварочного производства, а дядя, большую часть жизни проработавший сварщиком, в этом деле был настоящим виртуозом. Кстати, поначалу сама я получить такую специальность не мечтала, поступала на энергетический факультет, но, несмотря на высокий балл, туда меня не взяли – дочь расстрелянного «врага народа». Взяли на сварочный (в моей группе у половины студентов отцы были расстреляны), и скоро я поняла, что впереди у меня очень интересная работа. Так что



Анфим Игнатьевич (в центре) на сенокосе. 1974

у Анфима Игнатьевича я много почерпнула профессиональных секретов.

Дядя прекрасно знал тайгу. Брал меня с собой, показывал, рассказывал. Помню, в одном из наших походов наломал хвойных веток, разложил их рядком и подробно объяснил, как определить породу дерева. Мы ведь были городские жители и леса не знали. В школе, даже начальной, Анфиму Игнатьевичу учиться не пришлось, но тяга к знаниям, к профессиональному росту сопровождала его всю жизнь. Высшее образование он ставил так высоко, что, когда я, уже закончив вуз, к ним приезжала, он при встрече целовал мне, совсем еще зеленому инженеру, руку.

Решение написать воспоминания Анфим Игнатьевич принял самостоятельно, писал под иронические замечания родных:

мол, кто их читать будет. Когда воспоминания были закончены, он долго не знал, куда их определить. В это время в Березовском открылся музей боевой славы. Я посоветовала отдать воспоминания туда. Музей их принял, мне выдали копии, которые я передала в Мемориал.

Теперь о характере Анфима Игнатьевича. Был он скуповат, настоящий крестьянин. Постоянно был занят, работал, отдыхать не умел. Находясь на пенсии, сделал зимнюю отапливаемую теплицу и в сорокаградусные сибирские морозы выращивал там помидоры. К 1 Мая у него всегда были красные помидоры, которые сам он не ел, а продавал шахтерам к праздничному столу.

Сберкассе он не доверял и хранил деньги в укромных местах. Когда дочь однажды поехала отдыхать на юг, он дал ей деньги и сказал, чтобы она ездила на такси: пусть не считают, что они бедные. Таким был Анфим Игнатьевич в быту.

*Сергей Красильников*

## Три судьбы – лихолетье одно

Перед нами воспоминания трех наших соотечественников, переживших вместе со страной страшные события первой половины XX века (войны и революция 1914–1922 годов; «Великий перелом» и раскрестьянивание; массовые репрессии; Великая война). Все трое авторов из крестьян. Двое, родившиеся в позднеимперское время, – Евдокия Константиновна Макарова (1907) и Анфим Игнатьевич Пономарев (1909) – успели застать «старый порядок», и хотя прожили основную часть жизни уже при новом, советском строе, им было с чем сравнивать. Третий рассказчик, Николай Иосифович Скрылев, родившийся в 1926 году и прошедший советскую школу воспитания, тем не менее тоже обращается

---

Автор статьи, Сергей Александрович Красильников, потомок столыпинских крестьян-переселенцев из европейской части России в Сибирь; потомок и тех, кто в 1931 году был выслан из-под Новосибирска в Нарымский край на спецпоселение. Историк; тема его исследований в Новосибирском университете – крестьянская ссылка сталинской эпохи.

к своим корням, ему было важно донести до потомков то, что он услышал от отца.

Их судьба – судьба выживавшего, но понесшего невосполнимые утраты крестьянского мира, раздавленного государственной системой, которая смотрела на крестьянство как на неисчерпаемый ресурс для своих грандиозных строек, как на расходный материал. Эти «осколки» крестьянства с разодранными семьями (Евдокия одна с детьми надрывается в колхозе, муж – отходник на заработках в городе; жена Пономарева мыкается с ребенком по углам, муж в лагере; мать Скрылева, «кулачку», выгоняют с малыми детьми из дома – муж в бегах) не столько жили, сколько выживали. Грань между свободой и несвободой была стерта. Везде – в лагере, в колхозе, под немецкими оккупантами – властвовали надзирающие и наказывающие. Если что и выручало, так это личная смекалка и «защитый» в их генах опыт выживания многих поколений землепашцев. Сравнить, по кому из трех авторов воспоминаний жизнь ударила сильнее, вряд ли имеет смысл, при том что судьбы их во многом сложились по-разному – под оккупантами была только Евдокия, в лагере – только Анфим, на фронте – только Николай. Другое дело, что Евдокия, в отличие от Скрылева с Пономаревым, на протяжении своего повествования отвечала еще и за детей.

Безусловно, за каждым автором стоит не только личный опыт, но и опыт многих поколений, передававшийся от старших младшим. Поддерживать традиции они считали своим долгом.

В частности, церковная традиция, скорее даже христианское устройство жизни – это то, от чего они отталкивались, ведя свой рассказ. В послереволюционный период, особенно после 1930 года, церковь была выдрана из крестьянской жизни, однако декретами можно упразднить что угодно, но обычаи и нравы декретам не подвластны. Христианство продолжало существовать в бытовых, повседневных формах, ритм крестьянской жизни по-прежнему задавали православные обычаи и праздники.

Глубоко верующим никто из авторов этой книги не был, но даже верившему в кремлевского вождя Скрылеву обрубить православные корни власть не смогла. Жил и воевал он не по советским лозунгам, а следуя тем же жизненным принципам и устоям, что и его глубоко верующий отец. Евдокию во время бегства от войны случайно жизнь свела со священником. Об этом христианине она мало хорошего могла сказать, что не помешало ей отдать имущество, оставленное сбежавшим батюшкой, его невесть откуда взявшейся родственнице. А ведь могла с полным правом оставить его себе, – но Бог не простит.

В отношении к власти имущим Скрылев, Пономарев и Евдокия используют отнюдь не советскую, а все ту же христианскую шкалу – нет плохих или хороших постов и должностей: как внизу, так и наверху есть плохие или хорошие люди (правда, о верхах они мало что знают, так как порог общения с властью у них низовой – райуполномоченный, начальник цеха, командир батареи). При этом

Евдокия, человек ответственный, лидер по своей природе, фактически руководившая колхозом при никчемном председателе, категорически отказывается занять его место. Она понимает, что лидер и советский начальник не одно и то же. Начальника волнуют только приказы сверху, а это плохо сочетается с ее жизненными принципами. Пономарев и Скрылев об этом особо не задумывались, власть в их представлении что-то вроде погоды – какая есть, такая есть. Начальников, с которыми они имели дело, измерять политической меркой им тоже не приходило в голову, и к себе, и к ним они прикладывали одну линейку – человеческую. И все же что-то им подсказывало: лучше отвечать за себя, за свою работу, чем стоять над подчиненными, а значит, давить на них. Достигшему высочайшего профессионального уровня сварщику Пономареву часто приходилось выполнять роль бригадира, но от того, чтобы занять эту должность, он неизменно уходил. Сержант Скрылев, командовавший минометным расчетом, предпочел перейти в разведку, чтобы отвечать только за себя.

С крестьянским смирением авторы относятся и к тому, что жизненные обстоятельства, от них мало или почти не зависящие, всякий раз отбрасывают их с достигнутого уровня, будь то социальное положение, достаток, уважение, на самые нижние ступени: Евдокия, до войны поднявшая свой умиравший колхоз, после войны и до пенсии проработала техничкой в школе. Пономарев, в лагере ставший одним из лучших сварщиков на строящейся Северной железной дороге, выйдя на

волю и вернувшись к семье, работу того же уровня найти не смог – не брали как отсидевшего по 58-й. Пришедший с войны Скрылев, весь израненный, награжденный орденами и медалями, вынужден был, чтобы не пухнуть с голоду, закупать семечки и «хоть на пассажирском на крыше, в тамбуре, между вагонами, а хоть на товарняках» везти их для перепродажи в большие города. Народ-победитель оказывается на периферии самой Победы. Даже мизерные выплаты, которые фронтовику Скрылеву полагались за знаки боевого отличия, власть вскоре упразднила. Пособия за многодетность и за погибшего на фронте мужа в деревне были подспорьем, но в Ленинграде, куда Евдокия перебралась с детьми, жизнь это не облегчало. Пономарев за свой тяжкий, рабский труд, за потерянное здоровье никакой помощи от государства не видел, только «похвальные бумажки да устные благодарности».

Выживание, если не за счет кого-то, само по себе героизм. Но авторы не склонны героизировать свои поступки и действия, даже такие, которые готова превозносить власть. Фронтовик Скрылев пишет не столько о своих боевых заслугах, сколько о повседневных тяготах: «...есть совсем нечего, это, наверное, нас умышленно морили, чтоб на фронт веселее шли и оттуда в тыл не манулось». Выгнанная оккупантами из дома семижильная Евдокия чудом спасает от голодной смерти детей и мужа: «Стали шкуры из снега выгребать и резать их кусками. И потом палили и варили», – но выносливость, изобретательность, сердечность

она себе в заслугу не ставит. Для Пономарева главное в жизни – трудолюбие, мастерство, но о своем героизме, более чем реальном, он вспоминает только на последней странице: «...никто о моих наградах не знает, никто их не видит, и поощрений мне никаких».

Авторы не могли обойти вниманием прямо ударивший по ним «Великий перелом», то есть форсированное, принудительное, в значительной мере репрессивное раскрестьянивание. Евдокия с семьей, несмотря на огромные налоги, до последнего держалась за свое хозяйство, пока власть не решила силой загнать ее в колхоз – единоличнице запретили пасти скот. Бабы за «палочки» (учет трудодней) трудились в колхозе, мужья уходили на заработки в города, на их деньгах и посылках семьи в основном и держались. У Пономарева, устроившего в деревне небольшую мастерскую по выделке кож, большевики все отобрали, и пришлось крестьянскому парню податься на стройку. Скрылевых «раскулачили», отец несколько лет скрывался, пока инвалид, бывший красноармеец, с которым они вместе воевали, не обратился наверх с ходатайством. И чудо – дом вернули, редкий по тем лихим временам случай.

К началу войны крестьянство худо-бедно притерпелось к колхозной системе, выбора-то не было. И все же значительная часть тех, кто работал на земле, видели во всем этом государственную повинность и отчуждение труженика от земли и собственности. Про Скрылева, ничего кроме колхозов не видевшего, этого не скажешь,

но когда он приходит вместе с армией в районы, захваченные СССР после 1939 года, ненависть местных крестьян к коллективизации вызывает у него сочувствие: «А здесь, за г. Минском, встреча была холодная. Зашли мы как-то в только что освобожденный населенный пункт в хату человек 10 обогреться, поздоровались с хозяевами, заговорили о том о сем. В хате тепло. На примосте, т. е. на лавке на постели, под окном лежит старый дед, штаны и рубаха на нем белые, из домотканой холстины, мы с ним особо поздоровались, он и спрашивает нас: сынки, вот вы пришли, а колхозы-то будут у нас? Мы молчим. Тогда наш парторг Костин подходит к нему и говорит: дедушка, ну а как же, мы без колхозов жить не можем. Дед сказал: лучше бы вы не приходили; и отвернулся от нас лицом к окну».

К концу войны надежда, что колхозы будут распущены, вспыхнула у вынесших на себе главные тяготы войны крестьян (они составляли две трети населения) с новой силой. Послевоенные сводки спецслужб фиксируют такие настроения у подавляющего числа деревенских жителей. Сегодня не только официальные лица, но и немалая часть профессиональных историков не устают повторять, что именно колхозная система позволила в 1930-е годы создать мощную индустрию, а в годы войны обеспечить нужды тыла и фронта централизованными поставками сырья и продовольствия. На самом деле обеспечивала плохо, гораздо хуже, чем в Первую мировую с этим справлялось крестьянство, еще не вкусившее прелестей кол-

лективизации. Если в первые полтора года войны определенный спад аграрного производства наблюдался (работники мобилизованы в армию), то далее и вплоть до 1917 года оно росло. Относительно быстро сельская экономика восстановила свой потенциал и после Гражданской войны, гораздо быстрее, чем с этим справились после 1945 года колхозы.

Чтение этих нехитрых воспоминаний возвращает нас к важнейшему вопросу: каково место крестьянского мира в судьбе нашей страны в первой половине XX века, да, возможно, на протяжении всего столетия? Даже малой части бедствий и страданий, которые пришлось на долю жителей России (далее СССР), хватило бы, чтобы обрушить среднюю, да и крупную страну европейского континента, включая и саму ее государственность. Во вселенских катастрофах наиболее хрупкие и уязвимые – городские урбанизированные пространства. И в нашем случае войны и революция уничтожали городской мир, но страна выжила – прежде всего за счет мира крестьянского. Почти все 30-е годы существовавший на пределе выживания этот мир до такой степени к нему притерпелся, что смог выстоять и победить в Великую Отечественную (армия, по сути, была крестьянской), а потом восстановить страну, воссоздать общий строй жизни. Наши авторы принадлежали этому миру.

Архив и музей Общества «Мемориал» собирают свидетельства о судьбах узников ГУЛАГа и их родственников. Мы будем благодарны всем, кто поможет нам в этом, кто передаст в наш музей и архив подлинные вещи и произведения искусства из мест заключения, фотографии и письма. Уходит время, гибнут уникальные документы и свидетельства. Вместе с вами мы должны их сохранить.

**Архив и музей  
Общества «Мемориал»**

127006, Москва, Каретный ряд, 5/10

Тел. +7 (495) 650 78 83

e-mail: [nipc@memo.ru](mailto:nipc@memo.ru)

[www.memo.ru](http://www.memo.ru)

**На сердце пали все печали.** Судьбы крестьян  
в XX веке. Воспоминания / Ред.-сост. А. Щербаков;  
сост. А. Козлова, И. Островская.  
М.: Издательство Agey Tomesh, 2019. 432 с., ил.

ISBN 978-5-9909766-1-0

18+

**Адрес редакции**

Москва, Малая Дмитровка, 24/2

Тел.: +7 (495) 913 62 95/96

[www.ageytomesh.ru](http://www.ageytomesh.ru)

*Директор* Наталья Корнеева

*Дизайн* Иван Ветров, Никита Терехин

*Редактор* Лариса Казарьян

*Корректор* Светлана Поварова

*Верстка* Галина Зайцева

*Цветоделение* Владимир Семенов

Тираж 1000 экз.

*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.*